

Тошен свет,
Хлеба нет,
Крова нет,
Смерти нет.

Н.А. Некрасов

common place

СЕРЫЙ МУЖИК

народная жизнь
в рассказах забытых
писателей XIX века

Москва
2017

УДК 329.14(100)+316.723

ББК 66.62 (0+7105)

С 32

С 32 Серый мужик. Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века / под ред. А. В. Вдовина и А. С. Федотова — М.: Common place, 2017. — 398 с.

ISBN 978-999999-0-12-7

«Серый мужик» — понятие, выработанное публицистикой 1880-х годов, для обозначения среднего представителя народа, не иконы, не животного, а скорее жертвы – обстоятельств, произвола власти, собственных заблуждений. «Серому мужику» посвящена целая литература. Эта книга представляет современному читателю забытую, оставшуюся за пределами высокого канона литературу о народе за последние полвека имперской истории.



ISBN 978-999999-0-12-7

Публикуется под лицензией Creative Commons
Разрешается любое некоммерческое
воспроизведение со ссылкой на источник

Оглавление

Предисловие	7
-------------	---

В деревне

Н. В. Успенский. Сельская аптека	14
А. И. Эртель. Поплешка	28
Н. Е. Каронин-Петропавловский. Деревенские нервы	38
П. В. Засодимский. На большой дороге	62
С. Г. Петров-Скиталец. Полевой суд	88
С. П. Подъячев. Про себя	104

Город и завод

М. А. Воронов. Ад	124
М. А. Воронов. Тишина	130
Н. А. Благовещенский. На литейном заводе	140

Каторга и ссылка

Ф. М. Решетников. Шилохвостов	162
Н. И. Наумов. Поскотник	184
В. Г. Короленко. По пути	216
В. Я. Кокосов. Решенный	246

Женская доля

И. В. Федоров-Омулевский. Сибирячка	256
А. И. Левитов. Блаженненькая	274
С. В. Слепцов. Питомка	286
Н. Н. Златовратский. Белый старичок	302

Крестьянские дети

И. А. Куцевский. Наши дети	318
Г. И. Успенский. Голодная смерть	332
Ф. Д. Нефедов. Перевозчик Ванюшка	364
С. Т. Семенов. Шпитонок	380

Предисловие

Вошедшие в эту книгу тексты созданы во второй половине XIX — начале XX вв. и посвящены одной теме — народу, его быту и психологии, его характерным типам. Объем литературы о народе этого периода огромен, и представленное под этой обложкой — лишь наиболее яркие образцы жанра. Мы отобрали тексты, оставшиеся за пределами русского литературного канона и показывающие народ с несколько непривычной для широкого читателя точки зрения. Можно сказать, впрочем, несколько огрубляя, что неканонические авторы изображают народ, находящийся в гораздо более бедственном (экономическом и моральном) положении, чем мы привыкли видеть по текстам, включенным в школьную программу. В этой книге не встретятся ни толстовский Платон Каратаев, ни тургеневские Хорь и Калиныч, ни некрасовские благородные и величественные крестьянки, ни тем более лесковские «праведники» и умельцы. Эти тексты должны напомнить про ту линию русской прозы о крестьянах и рабочих, которая ведет к «Мужикам» и «В овраге» Чехова — вещам мрачным и почти безысходным.

В то же время мы полагаем, что наша подборка весьма репрезентативна: она включает тексты разных литературных и публицистических жанров 1860—1900-х гг., авторы которых придерживались подчас полярных идеологических и эстетических взглядов. В составе книги отчетливо выделяется блок текстов писателей-«шестидесятников» (Н. А. Благовещенский, Ф. М. Решетников, Н. В. Успенский и др.), народников (В. Г. Короленко, Н. И. Наумов, А. И. Эртель и др.), особую

группу составляют писатели-сибиряки, образовавшие нечто вроде литературного землячества в столичной прессе второй половины XIX в. Согласно современным историко-литературным концепциям* к 1880—1890-м гг. в русской публичной сфере сложилось несколько конкурирующих представлений о характере русского мужика, и ни одна из них подолгу не доминировала и не была консенсусной. На смену целой галереи благородных крестьян из «Записок охотника» Тургенева пришли этнографически реалистичные образы крестьян у разночинцев 1860-х годов; в 1870-е годы их сменили либо идеализированные народниками земледельцы и община, либо, напротив, развращенные новыми капиталистическими отношениями «кулаки»-одиночки. Мы считаем, что предлагаемый читателю сборник во многом отражает широкий диапазон этих представлений: здесь встретятся и невежественный, пьяный мужик, и «кулак», и «блаженный», и крестьянин-судья, и рациональный земледелец, и, разумеется, вынесенный в заглавие сборника «серый мужик» — среднестатистический крестьянин, не обладающий никакими характерными чертами, кроме того, что он становится жертвой всевозможных трагических обстоятельств. Многообразие и полярность крестьянских типов, созданных в беллетристике конца XIX в., как нам представляется, сформировало те стереотипы восприятия «простого народа», которые циркулируют в современной России.

Слово «забытые», вынесенное в подзаголовок книги, следует понимать несколько условно. Мы отдаем себе отчет в том, что в советское время многие из представленных авторов (особенно Г. И. и Н. В. Успенские, В. А. Слепцов, Ф. М. Решетников, В. Г. Короленко) издавались многократно. Однако устойчивость и стабильность верхнего среза русского литературного канона такова, что даже существование отдельной издательской и исследовательской традиции не делает периферийных авторов менее «забытыми». Многие из публикуемых нами авторов занимали вполне заметное место в современном им литературном процессе, имели свой звездный час, пользовались популярностью у читателей. И все же, как нам кажется,

* См.: Frierson Cathy A. Peasant Icons: Representation of Rural People in Late Nineteenth-Century Russia. Oxford University Press, 1993.

чтение их произведений сегодня есть опыт скорее историко-социологический, а не эстетический. Заметим также, что само литературное «качество» собранных в книге сочинений весьма разное: изготовленные ради гонорара и на злобу дня очерки и репортажи соседствуют с вполне отделанными рассказами.

Мы далеки от мысли, что внутри русской литературы последнего имперского периода можно выделить какое-то отдельное литературное течение — «литературу о народе». Несмотря на то, что для критики этой эпохи в целом было свойственно говорить о народнической литературе, мы предпочли не выносить термин «народнический» в заглавие, чтобы избежать ненужной омонимии с узким пониманием этого слова, сложившимся в советское время, и, кажется, общепринятым до сих пор.** В то же время мы считаем, что наших авторов при всех их отличиях многое роднит, и это общее читатель книги обязательно почувствует. Бросается в глаза единая для всех установка на правдоподобие, стремление работать прямо с жизнью, фактом (значимое исключение — «Полевой суд» Скитальца, напоминающий притчу или легенду). Отсюда часто встречающаяся форма повествования от первого лица, рассказчик здесь — не сочинитель, а наблюдатель или жертва жутких обстоятельств, подлежащих фиксации («Про себя» С. Подъячева). Объединяет авторов и сочувственное отношение к своим героям, симпатия к ним, стремление идентифицироваться с ними, во многих случаях комплекс «вины перед народом». Писатели экспонируют в своих текстах социальную близость к своим героям, создавая подчас мелодраматическими эффектами ситуацию «сопереживания» крестьянскому горю, которое читатель приглашается разделить. И это не случайно. Из кратких справок, которыми предваряются произведения, видно, что в большинстве случаев (еще значимое исключение — В. А. Слепцов) наши авторы недворянского происхождения***,

** См., например: Сабурова Т., Эклоф Б. Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

***. Особенно выделяется группа «поповичей» — Н. Н. Златовратский, А. И. Левитов, Н. А. Благовещенский и др. О «поповичах» см. новейшее исследование: Манчестер Л. Поповичи в миру, духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

многие испытали материальные лишения и голод. Изображаемое было знакомо им не понаслышке.

Сборник разделен на тематические рубрики — «В деревне», «Город и завод», «Каторга и ссылка» — традиционные топосы литературы о народе, — «Женская доля» и «Крестьянские дети» — отчетливо выделяющаяся тема страданий наименее защищенных представителей народа. Внутри рубрик тексты публикуются в хронологическом порядке, по дате первой публикации. В справках приводятся краткие сведения об авторе и публикуемом тексте.

Алексей Вдовин, Андрей Федотов

В деревне

Н. В. Успенский. Сельская аптека

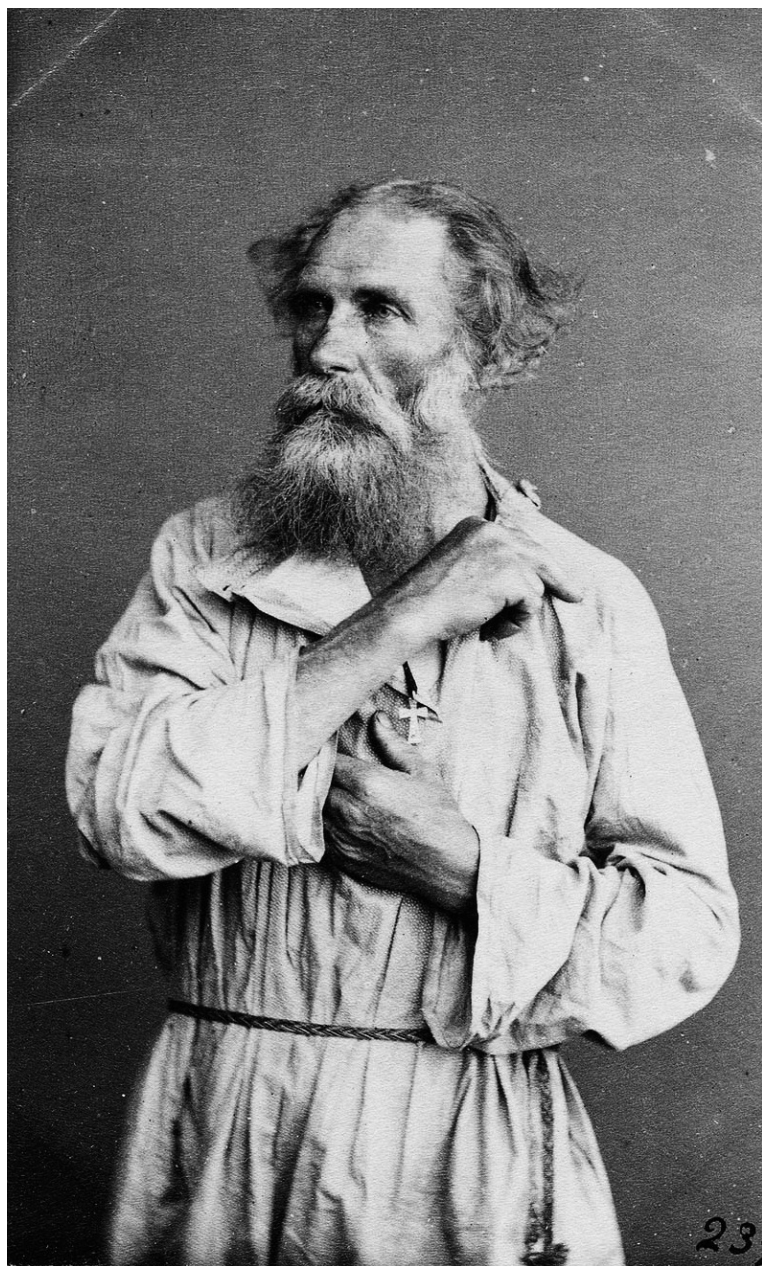
А. И. Эргель. Поплешка

Н. Е. Каронин-Петропавловский. Деревенские нервы

П. В. Засодимский. На большой дороге

С. Г. Петров-Скиталец. Полевой суд

С. П. Подъячев. Про себя



Н. В. Успенский

Сельская аптека

Н. В. Успенский (1837—1889) — один из ярчайших разночинцев-шестидесятников. Двоюродный брат Г. И. Успенского. Родился в семье священника и закончил духовную семинарию, а затем учился в Медико-хирургической академии и Петербургском университете. Литературную деятельность начал в 1857 г. и вскоре сблизился с редакцией «Современника», которая финансировала двухтомник его «Очерков народного быта», имевших большой литературный и общественный резонанс. После конфликта с Н. А. Некрасовым порвал отношения с журналом. В 1870-е гг. сблизился с писателями, разрабатывавшими «московскую тему». С 1884 г. склонный к алкоголизму писатель стал бродяжничать, давал уличные представления, голодал, но продолжал время от времени печататься. Окончил жизнь самоубийством. Рассказ «Сельская аптека» — одно из ранних произведений Успенского, опубликован в журнале «Современник» (1859, № 4).

I

При черепахинской аптеке есть все удобства: есть подвал, в котором хранятся химические и фармацевтические препараты; чердак для трав, комната для посетителей; есть даже лаборатория, где изготавливаются decoкты, припарки, сиропы, а иногда — яичницы.

Черепахинский приказчик чрез каждые два месяца извещает своего барина, живущего в Москве, что аптека стоит благополучно на прежнем месте, рассыпает дары свои щедрот на недужных и в соседях помещиках возбуждает зависть.

Как всякое полезное заведение, сельская аптека была с радостью встречена народом. В день ее открытия в Черепахино наехало множество телег с калекami, параличными, кликушами — и благотворительное заведение, будто Овчая купель, кругом обложилаь больными. Много добра было сделано в этот день. Фельдшер (дворовый человек, учившийся в московской фельдшерской школе) осматривал больных, делал операции, ставил банки, пускал кровь. В полдень два хора певчих пели молебен. Приказчик, в честь торжества, произносил своим мужикам речь, которую слушатели приняли с первых же слов за объявление «вольной» и, волнуясь, зашумели: «Она, матушка!» — но были долго упрекаемы оратором в легкомыслии.

Долго и пламенно молился народ за основателя аптеки: всякий желал ему многих лет, счастья, блаженства на земле, — невиданное, неслыханное чудо он совершил, выстроив аптеку. Живо в памяти народа ее открытие.

Мысль построить аптеку пришла черепахинскому помещику совершенно случайно. В бытность свою в имении, он задумал за какую-то провинность отдать одного молодого лакея в солдаты; намерение свое он открыл жене, которая советовала ему лучше продать лакея. После небольших колебаний помещик согласился на это; но покупателя не нашлось, хотя лакей имел в себе некоторые достоинства, например умел читать и писать. Однажды помещик, кончив письмо к одному из своих московских знакомых, расходился по комнате, позвал к себе старосту и приказал ему как можно скорее снаряжать подводу и запрягать пару лошадей.

— Кому прикажете? — говорил староста.

— Знай запрягай! — отвечал барин.

— Сколько кормочку приладить?

— Запрягай! — твердит помещик, весь объятый задуманным планом.

Лошадей запрягли, подкатили к барскому дому и посадили закутанного лакея.

— Вези в Москву... вот тебе письмо к его превосходительству.

— Слава Богу, — уладив дела, говорил помещик, — кабалу свалил! Теперь я знаю, что делать: у меня все рты разинут, что я устрою в имении!..

— Куда это везут, Степанида Ивановна? — спрашивала на сельской дороге одна женщина другую, видя, как неслась подвода с лакеем. — Уж не в солдаты ли?

— Нет; говорят, в московскую цирюльню, в доктора...

Через месяц черепахинский помещик получил из Москвы письмо: «Ваш лакей Андрей принят в фельдшерскую школу. Прилагаю вам устав о приеме, содержании, образовании и выпуске фельдшеров».

Прочитав письмо и поблагодарив своего знакомого, помещик стал читать устав, в котором говорилось: «При избрании питомцев в школу должно обращать особенное внимание, имеют ли они здоровое телосложение и достаточные умственные способности».

— Все это Андрюшка имеет, — воскликнул помещик и бросил читать устав. — Дай-ка ему образование-то: это выйдет законодатель!

В скором времени помещик отпраздновал закладку аптеки и уехал с семейством в Москву.

II

В одно ненастное, осеннее утро на крыльце аптеки стоял народ. Дверь в аптеку была заперта. Посетители от дождя жались в кучку; некоторые из них садились на лавку, некоторые стояли молча и смотрели на село, где мужики подсобляли на грязной дороге лошадям везти мокрые воза, а бабы насильно гнали скотину в поле.

— Что, не вставал? — шел разговор.

— Не вставал. Вчера, должно быть, воротился поздно. Кровь Захару пускал.

— Захар упал с возу-то?

— Захар.

— Ох, видно немного нам жить осталось. Что-то уж жутко приходит!.. Мертвецы опять стали ходить... За что это Господь наказывает?

— Ночью ныне покойник Давыд ходил. Скланицу все с собой держит... видно, от ней помер.

— Собаки, милая ты моя, до зари до самой лаяли, словно ловили кого, и-и-и заливались: мы с невесткой совсем не спали; приложишь ухо к окну, слышишь — ногами хляскает; да вдруг загудет и захохочет, и всё туда... к лесу-то идет...

— Говорят, война подымается.

Шершавый, худощавый мальчик отворил дверь и впустил народ в аптеку.

В аптеке, не имевшей особенной чистоты и порядка, стояли со стеклянными дверцами шкапы, наполненные штофами, бутылками, банками, мензурками, ступками. На стенах висели картины.

Фельдшер, лет двадцати пяти, в коротеньком сюртуке, причесанный, с белыми воротничками, сидел за столом и вписывал в книгу расходы и приходы по имению. (На нем лежала обязанность помогать земскому). Близ него сидел, с гармоникой в руках, сельский кузнец, угрюмо глядевший в угол и слегка скрипевший инструментом. Мальчик, помощник фельдшера, у окна делал из тряпиц корпию.

Кончив работу, фельдшер раз пять хлопнул пером об край стола, выгибая спину встал, взглянул на посетителей и пошел к окну набить трубку. Посетители приготавливались говорить свои болезни. Одна баба выступила вперед, держа на руках ребенка, который, улыбаясь, тянулся к склянкам.

— Не балуй, Вася... в хоромах разве смеются? — шепотом говорила баба.

Позади толпы, у двери, старуха другой старухе тоже шепотом рассказывала:

— И в живых, ягодошка моя, не чаяла я быть: это — грудь, и ноги, и руки совсем измаяли!.. Только ономеднись, голубушка, стою я, слышу будто глас: «Ты бы, Федоровна, сходила в баню, растерлась...»

— Что пригрезилось...

Закурив трубку, фельдшер подошел к бабе.

— Что у тебя?

— Здравствуй, Андрей Егорыч, как поживаешь? Вот посмотри-ко, — заговорила баба, трогая голову ребенка.

Один из солдат, сложа назад руки, смотрел на больную голову.

— Скрофулезис, — произнес фельдшер, — гипертрофия... поверни-ка сюда: cortex naroslo...

Фельдшер выпустил изо рта дым.

— А отчего, родимый, эти ухабы-то?

— Это Fossa naucularis... Да ты тут ничего не понимаешь: что ты спрашиваешь.

Фельдшер обратился к другому больному; но его баба спрашивала:

— А ворковская ворожея, Андрей Егорыч, не так эту болезнь называла.

— Ты что?

— Дедушка ногу расшиб, — начал мальчик, вылезая из толпы и вытаскивая за собою большую шапку, — в лесу березой... дюжо схватило...

— Скажи, чтобы он лошадь прислал сюда; а так я не пойду. — Ты, бабка, опять пришла?

— Вот грудь у меня, желанный... промежду сердца-то и...

— Я сказал тебе: tuberculosis! Болезнь неизлечимая.

— Помоги, кормилец! — задыхаясь и держась за грудь, промолвила старуха.

— Ты трефоль пила?

— Я пила тряхволи.

— Ну, когда-нибудь банки поставлю, — сказал фельдшер и отнесся к солдатам. Старуха уныло пошла в дверь; ее кашель глухо раздавался за порогом...

— Мне, — начал солдат, надвигая на плечо шинель, — позвольте, Андрей Егорыч, прежнего, то есть, ку...ку... потому — дело оказывается плохо.

— А, по-прежнему? — затягиваясь, спросил фельдшер.

— Еще хуже...

— И мне уж того же, — прибавил другой солдат, — да нельзя ли на минутку одолжить симфончика. И ротный просит этого...

Фельдшер достал из шкапа пузырек с белой мазью, взболтал ее и сказал бабе:

— Unguentum! Мажь ребенку голову; три раза в день, запомнишь?

— Как же, родимый...

— Смотри, внутрь не дай: вы глупы!

— Глупы, касатик.

— Пропусти-ка меня, бабка, дай достать лекарство.

— Пройди, пройди.

— Ты чем нездорова?

— Сынок у меня болен, соколик мой, четвертые сутки лежит недвижимо: травкой его хочу попоить.

— Что же, Андрей Егорыч, кашицы-то!.. — вскрикнул солдат.

— Сейчас! — доставая с полки лекарство, проговорил фельдшер. — Алеша, да ты сыграй что-нибудь на гармонике, сдействуй: «Что ты, Катя, приуныла...»

Кузнец тряхнул головой и заиграл на гармонике, выделявая разные колена. Получившие лекарства и не дождавшиеся их выходили из аптеки.

Фельдшер закурил новую трубку и опять подошел к оставшимся больным.

— У меня, — говорил хворый, худой мужик, — рана на ноге, Андрей Егорыч... Нельзя ли вам замолвить словечко приказчику, чтобы погодили маленько меня гонять на работу?

Фельдшер обратился к другому.

— А ты?

— Для Захара пришел попросить лекарства.

— А он еще говорит?

— Как же. Говорит: зачем мне кровь пускали?

Фельдшер снял трубку, продул чубук, помахал им по комнате и начал смотреть в его дырочку.

— На что кровь пускали? — спросил он. — У него, верно, голова болит... Васька, принеси проволоку: в чубуке застряло... А ты, Алеша, с басами-то двинь!..

— Однако до свидания! — сказал фельдшеру кузнец, укладывая под мышку гармонику.

— Куда же ты? Да посиди... Скука, брат, одолевает...

— Нет, пойти шкворень поправить.

Мало-помалу аптека опустела. Фельдшер остался с одним мужиком, которому для больного пальца начал готовить пластырь. Мужик глядел, как он готовит, и между прочим спрашивал:

— Небось, Андрей Егорыч, в вашей школе трудно было учиться?

— У кого резвые способности — не трудно!

— Каким там наукам учат?

— Всяким. Мы разглядываем у человека внутренности...

— То есть внутре-то? А что, и trebухa у человека есть, как у скота?

— Разумеется! Но она благороднее; потому что человек — не скот!

— А вот, Андрей Егорыч, я хотел вам все сказать: нельзя ли вам попросить обо мне приказчика? Видишь, у меня тягло одно; а я правлю за два...

— Держи-ка пластырь-то; мы с тобой до вечера не кончим... Посмотрю я, у вас в голове-то *sped es pectoralis!*..

В аптеку вошел кучер с кнутом и рукавицами за поясом.

— Здравия желаем, Андрей Егорыч.

— Здравствуй, Семен Титыч, — сказал фельдшер. — Что ты?

— Да наши журавлевские Господа просят вас к себе. Несчастье маленькое стряслось.

— Какое?

— Да барыня своей дочке ставила пиявки и не сумела — кровотечение крови показалось, так еду за доктором. А в город Ливны опять за доктором поехали, и будет у нас наподобие докторского совещания.

— Консилиум?

— И, к примеру, все доктора будут говорить на разных языках и мы будем их слушать.

— А не знаешь, отчего кровотечение-то?

— А вот извольте: наметили они изо всей мочи в самую жилу этими пиявками... Вы, будем говорить так, ежели, положим, вы делаете операцию, то уж вы ее делаете с размаху; ан и легкость от этого... Али так возьмем: заметили вы у кого больной член, то вы норовите его выдернуть, а не оставить на месте. До свидания, Андрей Егорыч!

III

У крыльца журавлевского барского дома теснились дворовые люди, собравшиеся смотреть консилиум. Впереди толпы стоял кучер. Он упрашивал лакея, выносившего на улицу медный таз:

— Фаддей, скажи, пожалуйста, барыне, нельзя ли посмотреть? Ты скажи — кучер желает. Главная вещь, ежели уж затеялось представление, то надо, чтобы его все видели.

— Погоди, — отвечал лакей. — Я пойду налью в таз воды, а ты его снесешь в детскую.

— А мы-то не увидим? — заговорили дворовые люди, глядя с завистью на кучера, который тотчас же принялся убеждать их:

— Вам тут, по душе скажу, любопытного малость. Разочтите: ведь двенадцать языков! Машина аль нет?

В доме помещика около постели больной девочки лет десяти сидела помещица, ее муж, с трубкой в зубах, и доктор. На стульях, на полу были разбросаны полотенца, которые собирала горничная. В углу стоял фельдшер в сюртуке нараспашку и в белом жилете. Помещица утирала остатки слез на своих глазах и спрашивала дочь:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Это скоро пройдет, — выговорил доктор, — я такие же муки сам на себе испытал.

— А вы были больны, Лука Лукич?

— Да, в молодости: я был очень резов...

— У Сашечки, Лука Лукич, — прервала помещица, — сначала под шейкой зоб был.

— Это опухоль, — сказал доктор.

— И отчего это у ней?

— Причин много может быть, — отвечал доктор, — определить их трудно.

— Известно, — в свою очередь заговорил фельдшер, — от разных причин делается эта болезнь: от ушибов, от простуды... Например, у млекопитаемых лошадей тоже под горлом бывают шишки...

— А ты, любезный, помолчал бы, — перебил помещик. — Вы, доктор, знаете: ведь это он назначил пиявки к шее дочери; по его милости мы испортили артерию...

Доктора пригласили в столовую закусить. Помещица осталась с дочерью в детской. Фельдшер тоже был в столовой.

— Ты, почтенный, назначил пиявки к самому нежному месту, — сказал доктор.

— Так точно: промеж стерноклей до мастоидными, — отвечал фельдшер.

— Да, между этими мускулами.

Доктор выпил.

— Вот видишь, — начал он, — это нехорошо. Почему? Пиявки ставить должно; но при такой организации детской, так сказать, и нервной, какова у больной, — этого допустить нельзя. Ты назначил их *ad arteri amcaroti dem*, причем открылось сильное кровотечение.

— Вот что ты сделал! — завопил помещик. — Пиявка прокусила артерию...

— Надо полагать, — сказал доктор, — пиявка артерию... повредила...

— Что к шее! — выпив наливки и заткнув бутылку, воскликнул помещик. — Он вот какую штуку удрал, Лука Лукич: приставил дворовому мальчику мушку к виску... ушам не верю! В первый раз слышу такую чепуху! Что ж вы думаете? Мальчик окривел!.. Вот что ты сделал!

— Варфоломей Игнатьич, — сказал фельдшер, — всякий

человек может окриветь; этим шутить нельзя... А радикальное пользование мушки уже нам доказано; следовательно, мы были вправе ее присадить.

— Но, однакож, — заметил доктор, — мальчик окривел!

— Как же-с, — сказал фельдшер, — одним глазом ничего не видит, даже матери своей не узнает...

— Отчего же он окривел?

— На это, ваше превосходительство, сказать мудрено-с: мы в практике часто встречаем не такие случаи, однако лечение свое продолжаем.

Явилась помещица.

— Вы, кажется, Андрея браните здесь? — сказала она, садясь за стол.

— Заметить надобно, Анна Ивановна.

— Нет, Лука Лукич, я всегда готова оправдать Андрея; он, право, услужливый такой. Нынче весной со мной дней пять мучился...

— Нездоровы были? — спросил доктор.

— Полнокровием страдали, — ответил фельдшер.

— Врешь, воспалением, — перебил помещик.

— Я не знаю, — заговорила помещица, — но мне кажется, что полнокровие причиной: душило меня... Сначала он мне поставил банки, потом сорок пиявок — не унялось! Потом кровь пустил — опять сорок пиявок, опять банки.

— Легче стало? — спросил доктор.

— Гораздо легче!

Помещица тихонько подозвала к себе горничную и шепотом дала ей приказание, чтобы фельдшеру дали обед в кухне. Горничная, сделав фельдшеру мину, повела его за собой.

— Много легче! — продолжала помещица.

— Но кровопускание вредно, Анна Ивановна.

— Знаю, Лука Лукич... Нынешние медики не одобряют кровопускания; но я не боюсь: у меня кровь не истощится... Заметьте, как только я отворю кровь, сейчас чувствую невыносимый аппетит; стало быть, когда я поем, у меня потеря крови вознаграждается, — не так ли?

— Так, — усмехнувшись, сказал доктор и прицелился вилкой в колбасу. — Вы как будто, Анна Ивановна, учились фи-

зиологии. Ваша правда: все, что ни поступает в наш организм (доктор опустил колбасу в свой организм), перерабатывается сначала желудком: что называется — делается каша...chilus... Это chilus, представьте себе, переходит в кишечный канал. Далее, все жидкие части посредством всасывания поступают в кровь; и вот, когда вы покусаете, пища превращается в кровь.

— Ну, вот видите? — торжествующим голосом произнесла помещица.

— Вы, верно, когда-нибудь читали медицинские книги?

— Кажется, читала, Лука Лукич, когда еще была дитятей.

— Лука Лукич! — возразил помещик, раскуривая трубку, — растолкуйте мне: отчего, например, на ране или так где-нибудь вдруг нагноение является?

Помещица шепнула что-то мужу на ухо.

— Что ж такое, если меня интересует этот предмет? — ответил помещик.

— Можете себе вообразить, — начал доктор, — нагноение бывает двух родов: доброкачественное, во-вторых — злокачественное. Гной под микроскопом...

— Лука Лукич, Лука Лукич! — заголосила помещица, простирая к доктору руки.

— Что, вам неприятно? Но скажу — чрезвычайно важная вещь этот гной: в медицине у нас даже его вкус определяется.

Помещица ушла в другую комнату. Доктор встал из-за стола с красными щеками.

IV

Перед сумерками в Черепахине шел проливной дождь, заставивший фельдшера сидеть в своей аптеке. К нему снова прибежал мальчик от лесника и просил посмотреть ушибленную ногу. Фельдшер обещался прийти, как скоро дождь перестанет. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Против аптеки под поветью крестьянского сарая стояли две мокрые бабы, захватив полы своих зипунов, и молча глядели на ручьи по дороге; среди улицы на траве мокла спутанная кляча с хвостом, похожим на горсть пакли. Широкая река усеялась частыми брызгами, у плотины дружно рылись утки, уткнувши носы в воду; вдали

на горе, будто в тумане, дремали леса, один другого темней; все имело скучный, пасмурный вид.

Около пяти часов дождь перестал. На улице посветлело. Фельдшер отправился к леснику. Было холодно; река сильно волновалась, и у берегов скоплась пена. Навстречу фельдшеру попадался народ.

Фельдшер остановился на краю села, недалеко от изб, и смотрел на бежавшую к нему из проулка сторбившуюся бабу; ее головная повязка трепалась длинными концами. Она, запыхавшись, очутилась близ фельдшера: на лице ее было беспокойство.

— Ну, что ты? — крикнул фельдшер.

— Кормилец... — начала баба, едва переводя дух, — что ж, родной... болезнь-то моя... полечи, касатик...

— Я вам не раз говорил, что туберкулезных я не лечу: нет спасения...

Баба смотрела в землю и кашляла; фельдшер заключил:

— Дом тебе пора строить, — дом!..

— Какой, родимый?

— Из четырех досок... сосновый...

Фельдшер пошел. Баба, закрыв глаза тряпицей, зарыдала.

Темнело; народ расходился по домам; улица пустела. Фельдшер направился к гумнам и к пустынному кладбищу, с покосившимися крестами и голобцами, на которых в разных местах сидели крошечные птички со взъерошенными от ветру перышками, не зная, куда приклонить свою голову; над некоторыми из могил лежали неправильные, большие камни; иные могилки не были обложены даже дерном, другие готовы были сравняться с землей или скрывались в колыхавшейся крапиве. По одну сторону от кладбища тянулся густой, черный лес; впереди над полями, распластав крылья, усиленно боролся с ветром ворон. По узенькой тропинке фельдшер пришел в чащу леса; в нем было темно: справа и слева сновали трепетавшие своими сухими листьями осины и березы. По всему лесу равномерно распространялся широкий, плавный гул, — точно где вблизи шумела вода; ни одного птичьего голоса; кругом полумрак, вместе с гулом располагавший к тяжелым думам. Ровные березы уныло покачивались и тихо шуршали своими верхушками.

Далеко слышался мерный, замирающий стук топора; неохот-

но лаяла на пчельнике собака... Опять стонет лес; отрывать слуха не хочется ото всего, что слышится вокруг...

Фельдшер пришел к леснику. У стола, с опухшим от слез лицом, сидела молодая баба и втыкала в светец зажженную лучину. На хорах стонал лесник. С появлением фельдшера баба встала с своего места, а больной начал принимать полусидячее положение.

Фельдшер снял фуражку и обтер на лбу пот.

— Что ты? — сказал он, приступая к больному.

— Отец родной!

— Ну-ка, покажи, где это ты так?..

Лесник развернул тряпицу и обнажил ногу.

— Мне недосуг к вам ходить-то... Акулина, посвети сюда!..

Акулина поднесла к хорам лучину и вдруг, взглянув на рану, зарыдала на всю избу.

— Держи, держи лучину-то, — сказал фельдшер.

У лесника на глазах показались слезы.

— Андрей Егорыч, больно, батюшка! — вскрикнул старик, хватая его за руку.

— погоди! (Фельдшер скинул с себя верхнее платье). Надо растереть...

Больной затрясся, с ужасом глядя, как фельдшер начал засучивать свой рукава. Он взял склянку и налил себе на ладонь мазь.

— Держись!

— Ой! Государь мой!

— Акулина! Бери за ногу...

Лесник упал в бесчувствии навзничь.

V

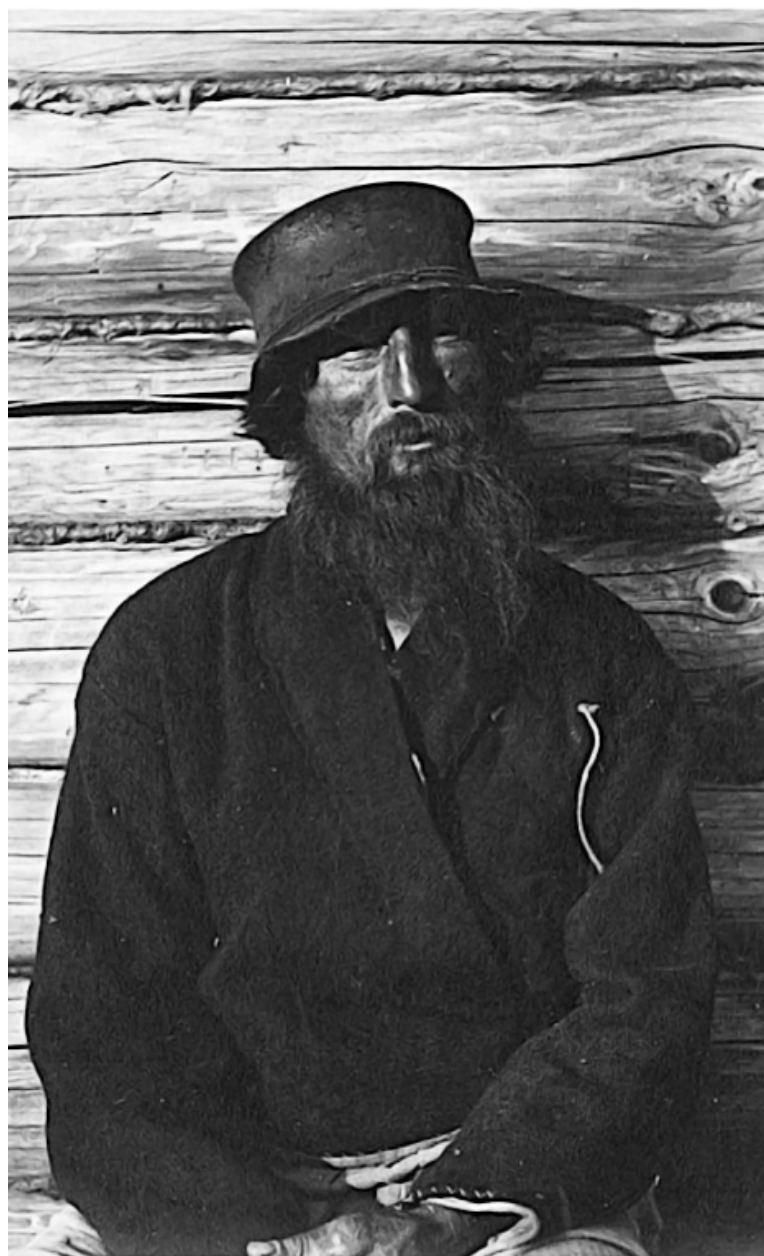
По прошествии двух дней посреди сельской улицы несли гроб. Фельдшер возвращался с практики. Позади гроба в отдалении шли бабы; раздавался плач.

— Кого это несут? — остановив одну бабу, спросил фельдшер.

— Лесника, — произнесла она.

Фельдшер задумчиво перекрестился.

— Верно, антонов огонь; забыл тогда пиявок-то припустить!..



А. И. Эртель

Поплешка

А. И. Эртель (1855—1908) родился в семье управляющего дворянскими имениями в Воронежской и Тамбовской губерниях. Сам Эртель продолжительное время служил конторщиком в имении крупного землевладельца. Началом литературной деятельности обязан писателю П. В. Засодимскому, с которым сблизился в середине 1870-х гг. В 1878 г. переехал в Петербург, где по поручению Засодимского заведовал народнической библиотекой. Был связан с революционной организацией «Народная воля». В 1884 г. арестован, содержался в Петропавловской крепости, затем отбывал ссылку в Тверской губернии. В середине 1890-х гг. Эртель отошел от литературы и вернулся к управлению помещичьими имениями. Очерк «Поплешка» опубликован впервые в журнале «Вестник Европы» (1881, кн. 7).

...Лошади устали и пошли шагом. Я откинул воротник шубы и огляделся. Кругом распространялась снежная степь. Кусты там и сям выделялись на ней серыми пятнами. Был сильный ветер, и несла поземка. Растрепанные тучи быстро бежали по небу. Из-за туч, неверно и трепетно, светил месяц. Прихотливые тени мелькали вдоль дороги. Дали то озарялись молочным блеском, то покрывались клубами свинцового мрака. Торжественный гул ветра доносился из кустов. Колокольчик звенел редко и уныло.

На перекрестке поравнялись и затем потрусили за нами убогие дровнишки... Взъерошенная лошаденка в веревочной сбруе, тяжело отдуваясь, торопливо переступала маленькими ножками. Она беспрестанно вздрагивала всем своим худым телом и при малейшем шорохе вожжей пугливо вздергивала голову.

Из дровней выскочил мужичок. Незнаком для чего ударив кулаком бедную лошаденку, он побежал с ней рядом, вслед за нашими санями. Трепетный свет луны иногда скользил по нему фантастическими пятнами, иногда озарял его явственно и резко. Мужичок поражал убогим своим видом. Одежда его, начиная с шапки и кончая онучами, была одно сплошное лохмотье. Утлые руки болтались вяло и беспомощно. Тонкие, как спички, ноги копотливо переступали по снегу, спотыкаясь и заплетаясь друг за друга. От всего существа его веяло какой-то слабостью и уничтожением.

Он на бегу поклонился мне, и по его лицу, в этот миг освещенному луною, расплылась неопределенная улыбка. Он, видимо,

очень озяб. Сжатые губы его дрожали, сморщенное в кулачок лицо было бледно. Отсутствие всякой растительности на этом лице придавало ему какой-то бабий вид.

— Чей ты? — спросил я.

— Ась?.. — торопливо отозвался мужичок и побежал рядом с моими санями, от времени до времени хватаясь за задок.

Я повторил вопрос.

— О-ох, чей-то я?.. Вот уж и не умею тебе, матушка, сказать... Чей, чей... — в каком-то раздумье повторил он. — Допрежь барские были... Козельского барина, с Козельцев... — и добавил поспешно: — Козельский я мужичок, матушка, козельский... Поплешкой меня звать. Отца — Викторкой, меня — Поплешкой...

— Что же это за имя? — удивился я, — может, дразнят тебя так?

— Нет, зачем дразнить, — настоящее званье: Поплешка*.

— Чудное имя.

— Ох, правда твоя, матушка, — чудён у нас поп... Самовластительный, гордый поп. Это что — Поплешка, — у нас Бутылка есть... Ей-же-ей, матушка, — Бутылка!.. Мужик как есть во всех статьях, — и видом, и все, а — Бутылка... О, самовластительный поп. Допрежь того, вот что я тебе скажу, матушка: барин у нас мудёр был. Такой мудрый барин, такой мудрый... Тот, бывало, не станет тебя Иваном аль Петром звать, а как пришли кстины, так и велит попу либо Аполошкой, либо Валеркой кстить... А то вот еще Егешкой кстили. Мудрый был барин!.. Ну, барин перед волей помер — поп замудрил: Поплешка да Бутылка, Солошка да Соломошка, так и заладил...

— Ну, а кроме-то имен ничего себе поп? — поинтересовался я.

— Он ничего себе... В кабале мы у него, матушка! Как лето придет, он нас и забирает: того на покос, того на возку, того на молотью... Поп гордый, поп богатый. Поп не то чтоб спуску давать, а всячески в оглобли норовит нашего брата. Свадьба ежели — три десятины ему уберешь; кстины — полнивы; молебен — свезешь ему десятину; похороны ежели — молоти десять дён... Человек тяжелый, немилосердый человек.

* В святцах: Поплий. — *Примеч. авт.*

А. И. Эртель

— И давно он у вас?

— А давно уж, матушка... Меня кстил, а мне вот двадцать пятый год идет...

В это время луна осветила Поплешку, и лицо его показалось мне очень старым.

— Да ты старик! — невольно воскликнул я.

— А ты как думал, — с некоторой гордостью произнес он, — я женат седьмой год, у меня вон трое детей, матушка, да два дитенка померли летось...

— Ну, вы и не жаловались на своего попа? — спросил я после маленькой паузы.

— На отца Агея?.. Нет, не жаловались, — и, внезапно придя в веселое расположение духа, добавил: — Хе-хе-хе... А поди-ка пожайлуйся на него... Попытайся-ка... Он тебе, брат, таких... Он тебе таких засыпет!.. Нет, нет, матушка, жалоб чтоб не было. Поп он гордый, не любит жалоб.

— Мы довольны, — заметил он после некоторого молчания, — поп он жестокий, а мы им довольны. Он вызволяет нас. Работаеть ему — он рад. Он работу помнит — придешь к нему, сейчас он тебе водки... Добрейший поп!.. Кабак-то у него свой, — таинственным полупшепотом добавил он, — попадьин племянник в нем. Племянник — попадьин, а кабак — попов! — и мужичок с лукавством прищурил правый глаз.

Мы помолчали несколько минут, в продолжение которых мужичок, проворно переплетая своими ножками, раза два подлетал к лошадке и бил ее кулаком по морде, причем сердито и отрывисто кричал.

— За что ты ее?

— Э... одер!.. — неопределенно произнес мужик и неизвестно почему рассмеялся жидким, тщедушным смехом. Впрочем, несколько годя, как бы в оправдание, прибавил:

— Замучила, ляда...

— Откуда ты едешь?

— Хутор тут есть, матушка, — оттуда. Чумаковский хутор-то.

— Зачем же?

— Хомуточка, признаться, на шейку добывал...

Поплешка снова рассмеялся.

— Какого хомуточка? — не понял я.

— А работы бы мне. Работки ищю.

— Ну что же, взял?

— Э, нет! Не дали, матушка. Скуп стал Чумаков-купец, не дал работы.

Он несколько помолчал.

— Да, признаться тебе, матушка, бедовое их дело, этих купцов... Знамо, я так рассуждаю — скуп купец. Но только и наш брат мудрен стал... Ты теперь возьми меня вот: лошаденка у меня одна, и тут... — мужичок с какой-то детской злобой замахнулся на лошаденку, отчего она так вся и шарахнулась в сторону, так вся и затрепетала. — Работник я один, бабу ежели считать — хвора я, ребятишки малы... Вот я летось взял у Чумакова косьбу, а пришло дело, меня и с собаками не отыскали... Ох, мудрен ноне народ стал!

— Отчего же ты не косил?

— Косить как не косить... Косить-то я косил, да только у другого... Другой позверовитей... Другой взял меня прямо из клети да и поставил на полосу: коси, хошь издыхай...

— Да как же ты это?..

— Эка, матушка!.. У двух-то по зиме взята работа, а то еще наемка была — прямо на деньги. Тут взят задаток. Да попу еще... А там сама собой своя нивка осыпается... Бедность-то наша, сокол мой, непокрытая!

— Что ж, и все такие бедняки в вашем селе?

— Ну, нет... Есть дюже поскуднее... Вот у Бутылки, у этого, опричь двух овец, и скотины нету — должно ноне на подушное пойдут. Есть и еще мужички... Есть и такие — окромя рубахи и портков ничего нету... Ну, те уж в батраках. Ох, плохие, матушка, есть жители...

— Что же у вас — земли мало?

— Маловато, маловато. Да мы ее, признаться, и не видим... Раздаем мы землицу-то. Есть у нас такие мужички, — нечего сказать, богатые мужички, — они нас выручают: землицу-то за себя берут, а нам деньгами... Много раздают денег.

— Но чем же вы кормитесь?

— Кормимся-то чем? Ох, трудно, матушка, по нонешним временам кормиться... Страсть как трудно!.. Работкой мы больше кормимся... Заберем, бывало, по зиме работку и кормимся.

А то опять землю сымаем, у купцов сымаем, у господ... Как хлебушко поспеет — платим за нее. Хорошие деньги платим!.. — и мужичок добавил с легким вздохом: — Ох, трудно кормиться, матушка!

А спустя немного продолжал, впадая в таинственный тон:

— Ты вот что скажи, матушка, купцы-то что затевают... О, великое дело затевают купцы!.. Я вот поехал, признаться... Прошу работки, а Чумаков мне в окно кажет: «Смотри, говорит, Поплешка... Вы у меня, говорит, Поплешка, душу вынули своей работой, — шабаш теперь!» И смотрю я, матушка, в окно и вижу: сметы нет сох наворочено... Сохи, бороны, плуги, телеги... «Это что же, говорю, означает, Праксел Аксеныч?» — «А то, говорит, означает — будет вас баловать-то... Наберу теперь батраков и шабаш... Мы вас, говорит, скрутим... И я, говорит, завожу батраков, и иные купцы заводят, и господа сох понакупили...» О-ох, хитрый народ купцы!.. «Как же нам-то, говорю, Праксел Аксеныч? Ну, мы в батраки, а детки-то?» Смеется... «Обойдетесь... говорит. Мы, может, говорит, и фабрики заведем — всем работа найдется, не робейте...» Вот оно что, матушка!.. Робость, какая робость... Робеть нам нечего, но только и хитрый же народ эти купцы! — добавил Поплешка.

— Как же вы теперь жить-то будете без земли и без работы?

— А уж не знаю, как жить... По миру ежели... Да плохая тоже статья стала. Обнудел народ, немилостивый стал, строг... Ходят у нас по миру — половина села ходит... Только плохо... А вот я тебе, матушка, скажу: хорошо это купцы удумали — батраков заводить. Заведут себе батраков — как важно работа у них пойдет! Народ — купцы — строгий, хозяйственный народ!..

— Вы-то чем жить будете, вы-то?

Мужичок промолчал.

— Что вам-то делать? — настоятельно повторил я.

Но мужичок снова не ответил и неожиданно вымолвил:

— Хорошие есть места на Белых Водах!

— Ты почему знаешь?

— Ходили некоторые.

— Что же, там и остались?

— Э, нет, — воротились. Не способно, матушка... Земли там

свободной не стало. Придешь — гонят. Купить ежели — достатков не хватает... Воротились.

— Вот урожай опять, — помолчав, произнес он, — оченно стали плохи урожай. С чего это? — и, не дождавшись моего ответа, сказал: — А с того, матушка, нечем нам стало работать... Ни навозу у нас, ни лошадей... Ледащий мы народ.

— Ну, надеетесь же вы на что-нибудь, ждете же чего? Чего вы ждете? Ну, чего вы ждете?

— Может, нарезка какая будет... Может, насчет земельки как... — робко и неуверенно предположил Поплешка.

— Да если вам и дать-то еще земли — вы небось и ее мироедам отдадите...

Поплешка подумал.

— Ежели прямо вот как теперь — отдадим, — сказал он решительно, — нам один конец — ее отдать... Потому, насчет пищи у нас недохватка. Большая недохватка насчет пищи. Ежели так будем говорить: нарежь ты мне теперь, ну, хоть бы три сороковых, — прямо бы я их Зоту Федосеичу заложил. Куда как нужно тридцать целковых!.. Это тридцать, матушка, ежели не подохнуть... А там окромя еще: там долгов за мной более двух сот — вот за одра за этого шестьдесят целковых Зот Федосеич считает, — с ненавистью указал он на лошаденку, — там недоимки семнадцать, там скотинёнки надо! — и, как бы охваченный наплывом непрестанных нужд, он с безнадежностью воскликнул: — Э, нет, и нарежут ежели, то не поможет!.. Умирать нам, матушка... Один нам конец — умирать!

И переполнив тон свой назидательностью, продолжал:

— Я тебе расскажу — знаменье тут было. В селе Тамлыке вот... Вот, матушка, слышат люди — плачет ктой-то под престолом в ихней церкви... Поговорили с попом, тот и бает: надо покараулить, говорит... И сел на ночь в алтаре. Только, матушка, сидит он, и вдруг с-полночь приходит белый старец. «Что ты, говорит, сидишь, — это попу-то, — ты хоть не сиди, я тебе ничего не скажу, а скажу я, говорит, отроку или отроковице...» Думали-думали — посадили на другую ночь отроковицу. Ну, сидела-сидела эта отроковица и заснула. Только слышит, кто-то будит ее, смотрит — белый старец. «Скажи ты народушке, говорит — и говорит таково грозно, — быть беде до исходу...

Быть беде до исходу, быть голоду до пяти годов... есть народушке друг друга...» И пропал. Вот оно что, матушка, вот о чем надо поразмыслить. Аль опять тебе порассказать: у мужика на копнах птицы говорили. Где, не знаю, но только в округе. Он подкрался и слышит — говорят... Одна птица большая, белая, другая поменьше и вроде как с красниною. И говорят они человеческим языком. «Ой, много беды на свете! — говорит меньшая птица, людское горе что море стало...» — «Это не горе, — горе впереди, — отвечает большая птица... — И такое горе, что супротив татарщины али француза вдвое боле!.. Много, говорит, беды впереди...» Вот оно что, матушка!.. И вид у птиц вроде как звериный, очи светлые, и нос широкий...

Он опять замолчал. Колокольчик монотонно позвякивал под дугой. Шумел ветер. Тучи нескончаемой вереницей бежали по небу. Свет месяца бросал на них янтарный отблеск. Безграничная степь расстилалась окрест.

— Народ болеет, матушка! — неожиданно воскликнул Поплешка. — Дюже болеет народ... Так болеет — даже ужасно!.. Ребятишки теперь это — валом валят бедняги... Захватит горло, заслунявеет, и готов миляга. Квелый народ. Али теперь болеть дурную взять — и нет тебе двора, и нет тебе семьи, где бы без ней... Насквозь изболели!.. Али горячки... Э, трудные времена, матушка!.. Такие-то трудные, такие-то горькие времена — беда!

— Но что же вы будете делать! Что вас ждет-то впереди! — подавленный ужасным простодушием Поплешки, воскликнул я, но он повторил: «Горькие времена!» — и замолк в раздумье.

— Может, урожай хороший будет? — старался я ослабить угнетавший меня призрак грядущей беды.

— Урожай?.. — как бы спросонья отозвался мужичок. — Э, нет, матушка... Посылай Бог урожаю, давно урожая не было, ну, только нам это плохая подсоба... Увязли мы, сокол мой... Так увязли, так увязли... И родится ежели — отберут у нас хлеб-бец-то... Зот Федосеич отберет, отец Агей отберет, в магазине отсыпят, на подушное продадут... А долги-то? мало их, матушка, долгов... Ох, нет у Бога такого достатка, чтоб народушко вызволить... Изболел народ, истомился...

И он внезапно каким-то дрожащим, дряблым голосом затянул: «Господи сил с нами буди...»

А меня охватила какая-то неизъяснимо мучительная тоска. Под наитием этой тоски и снежное поле, и трепетный свет луны, и быстро убегающие тучи, и шум ветра в лесу показались мне чем-то до ужаса унылым... Душа проникалась суеверным страхом. Слабенький голосок мужичка принял в ушах моих какие-то торжественные ноты и слился с могущественными аккордами ветра.

...Лошади рванулись и побежали. Колокольчик зазвенел надоскучным звоном. Я оглянулся назад. Отставший Поплешка кропотливо трусил около своей лошаденки, от времени до времени угощая ее ударами кулака. В небе клубились тучи. Сумрачные тени мелькали вдоль дороги. Печальная степь убежала в смутную даль... Подземка мела. Серебристая пыль струилась над сугробами...

Тоска... тоска!..



Николай Елпидифорович Каронин-Петропавловский

Деревенские нравы

Н. Е. Петропавловский (1853—1892, псевд. С. Каронин) родился в семье священника в Самарской губ. и получил духовное образование. Участник народнического движения. В общей сложности 12 лет с небольшими перерывами провел в заключении и в ссылке. Проходил по «процессу 193-х» и «делу о 58-и», знаменитым судебным процессам над народниками. Писать начал в заключении во второй половине 1870-х гг. Печатался в «Отечественных записках», «Слове», «Эпохе», «Северном вестнике», «Русских ведомостях» и др. повременных изданиях. С симпатией встречен критикой. В конце жизни бедствовал, странствуя по русской провинции — Казань, Пермь, Нижний Новгород, Саратов. Умер от туберкулеза горла. Рассказ «Деревенские нравы» впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» (1883, № 9).

Воздух, небо и земля остались в деревне те же, какими были сотни лет назад. И так же росла по улице трава, по огородам полынь, по полям хлеба, какие только производила деревня, проливая пот на землю. И та же речка, зеленая летом, омывала навозные берега, теряясь вдали, посреди старинного барского леса, из-за которого виднелись небольшие горы. Время не изменило ничего в природе, окружающей с испокон веков деревню. И жизнь последней, кажется, идет своим predetermined тысячу лет назад чередом; как тогда от деревни требовался хлеб и трава, которые она производила, так и теперь она добывает хлеб и траву, для чего предварительно копит пот, навоз и здоровье. Все по-старому. Только люди, видимо, не те уже; изменились их отношения друг к другу и к окружающим воздуху, солнцу, земле. Не проходило месяца, чтобы жители не были взволнованы какою-нибудь переменой или каким-нибудь событием, совершенно идущим в разрез со всем тем, что помнили древнейшие в деревне старики. «Не бывало этого!..», «Старики не помнят!..» — говорили чуть не ежемесячно про такое происшествие. Да и нельзя помнить того, чего на самом деле не было. Не видела, например, деревня такого случая: приехал из учения, прямо из Москвы, сын батюшки-священника, чтобы погостить лето на родине, взял да и застрелился по неизвестной причине. Или вот такой случай: жил один крестьянин, Гаврило Налимов, скромно и честно, никому не мешал, но вдруг ни с того ни с сего взял да и озлился на всю деревню, запылал к ней ненавистью и закуролесил, без всякой причины...

Совершившаяся с Гаврилой перемена произошла не вдруг,

хотя все последовательные степени ее остались до последнего момента совершенно необъяснимыми для соседей. Не только никто не знал, когда и отчего он вздумал безобразничать, но не знали и того, в чем именно состоит его беда. Соседи ограничивались тем, что каждую степень его ошалелости отмечали с величайшею аккуратностью и необыкновенно верно. Сперва Гаврило обратил на себя внимание явною задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался, — сейчас заметили соседи, заметили потому, что в деревне задуматься по нынешним временам не безопасно; задуматься в деревне — значит предчувствовать беду.

— Чувствует, что ни на есть, — тонко догадывались другие соседи.

Далее соседи констатировали, что Гаврило стал лаять на всякого без разбору.

— Почему бы это?

— Пес его разберет, так надо сказать: осатанел. Ему доброе слово, а он лает.

В деревне скоро все, от мала до велика, убедились, что с Гаврилой нет никакой возможности разговаривать: брехает, как чистый пес.

После этого вскоре передавали, что Гаврило, встретив священника, облаял его на чем свет стоит.

Факт, действительно, передавался верно, и священник пожаловался волостному начальству.

Не успело это дело забыться, как соседи, ближайшие и отдаленные, подметили в Гавриле новую перемену.

— Гаврило, слышь, плачет. То есть вот как плачет! Уткнул бороду в траву подле реки и ревет.

Было и это. Несколько человек из соседей своими глазами видели и обратились с успокоительно-ласковыми словами к рыдавшему, но, не дождавшись ответа, пошли прочь, пораженные.

Но, вслед затем, вдруг все услышали, что Гаврило за облаянье старшины попал в волостной чулан.

— Гаврило-то уж в чулане сидит, — передавали соседи, глубоко изумленные, узнав, что Гаврило не только словесно оскорбил начальника, но и полез было в драку. Все поняли, что Гавриле плохо придется, и действительно, вслед за тем,

в самом непродолжительном времени, по деревне прошла уже молва, что Гаврилу увезли.

— Гаврилу-то, сказывают, увезли! Судить, вишь, будут!

На несколько месяцев Гаврило канул, как в воду, но вдруг в деревне снова увидали его.

— Гаврило-то уж дома сидит... худо-ой! — передавали соседи и моментально собрались вокруг избы Налимова, взволнованные внезапным окончанием его небывалых приключений. Наконец все убедились, что Гаврило ослаб и сделался окончательно хворым человеком. Тут только все стали догадываться, что он и всегда был хворым, по крайней мере, с того начала, когда он только еще «задумался» и затем позднее, когда он стал выкидывать разные непонятные штуки.

Но, тем не менее, никто не знал, отчего на него напала такая хворь, что за причина? Какой случай подвел его под такую неслыханную болезнь, наружные признаки которой выражались тем, что он сперва задумался, потом начал лаять без разбору, на кого попало, после чего плакал навзрыд, и, наконец, полез в драку и набезобразничал, за что влопался в острог без всякой настоящей вины? Видимого случая не произошло никакого; несчастья с ним не случилось — вот что удивительно. До того времени никто и не думал интересоваться им, как никто не станет интересоваться вообще человеком, который живет тихо, никого не тревожа и ничем особенным не отличаясь; про такого человека говорят, что он живет и хлеб жует, а что касается других проявлений его, то их никто не замечает. Он был именно средний человек. Что такое средний человек? Это, прежде всего, существо, которое всю жизнь из всех сил копошится и не любит, чтобы ему мешали. Для того он старается всеми мерами, чтобы не замечали его существования, чтобы не трогали его и чтобы ему, в свою очередь, не пришлось кого-нибудь задеть. Средний человек поэтому отличается крайнею живучестью. Он трудолюбив, терпелив, неуязвим. Настоящей жизни в нем нет, а та, которою он обладает, наделена необыкновенной цепкостью. Он живет или, вернее сказать, существует и тогда, когда для других пришел уже конец. Выше его, над ним, стоят люди, которые, не удовлетворяясь полужизнью, рвутся на простор и по большей части разбивают свои головы о каменную

стену; ниже его, под ним, находятся люди, которые от непосильного напряжения падают и умирают. А он — ничего, существует, хотя мучения его иногда невыносимы. Довольствуется он всегда тем, что по обстоятельствам дозволяется и что дает случай, а если случай ему во всем отказывает, то и тогда ничего, существует, прилаживаясь к чему-нибудь неизмеримо малому. Если у него отнимут кусок хлеба, он съест вместо него камень. Если его лишат света, он закроет глаза, обходясь без него. Если его лишат воздуха, он сократит дыхание и сделается холодно-кровным земноводным. Слепой и холодный, он все-таки будет считать счастьем существовать. Когда его, среднего человека, бьют, он залечивает раны. Когда на него наденут цепи, он сделает их удобными для ношения. Он выходит из себя только в том случае, если покушаются на ту крошку бытия, которая пребывает в нем, но выражает свое негодование тем, что теряется и мечется, но не борется. Он скромнен, общежителен и в своем роде страшно энергичен, ибо гонит свою линию до конца, и честен. Впрочем, обстоятельства делают из его честности скверные шутики.

За некоторыми исключениями, таков был и Гаврило Налимов. Коренной земледелец, он жил бы и копался в земле, если бы последней у него было достаточно и если бы ему не мешали; копался бы неутомимо, вечно, до той поры, когда предстанет естественный конец. Тогда он ляжет на лавку или на траву, если его застигнет в поле, скажет: «Господи, прости!» — икнет и перестанет дышать. Так умер и его покойный родитель, проживший восемьдесят пять лет и в последний, смертный час саживший репу и огурцы. Такого конца Гаврила тоже желал. Но ему в этом мешали сильно расстроенные дела деревни, ежедневно напоминая ему, что и он может пропасть, как пропадали поочередно, на его глазах, здоровенные мужики.

Тем не менее, он цепко держится за свою линию. Вообще, в деревне не было более прочного мужика. По отношению к несчастьям он вел себя чрезвычайно дельно, быстро оправлялся от самых тяжелых оплеух. Его страстью, его ремеслом, его задачей была земля, и он добывал ее всякими средствами у ближайших к селу владельцев, получая свое во что бы то ни стало. Никто его не замечал, и он мало обращал внимания на

что-нибудь помимо своей задачи. Словом, жизнь его проходила в том, что он сперва обрабатывал землю, потом ел хлеб, вслед за тем снова обрабатывал землю и опять ел хлеб и т.д. От него убежал сын Ивашка, поступил в трактир половым. Но Гаврило собственно не этим обстоятельством был огорчен, а лишь тем, что с исчезновением сына для него труднее стало добывать землю и есть хлеб. Он гораздо больше страдал из-за бычка, которого он должен был потерять, употребив его, как взятку, для приобретения земли. Зять, к которому перешел этот бычок, впоследствии заплатил за него Гавриле ничтожные пустяки и Гаврило долго не мог забыть этого несчастья. Сын же в его мыслях был только рабочей силой, о пропаже которой он сильно жалел, как истый землерой. И ни разу ему не приходилось сильно страдать в те годы, когда у него рожались, но умирали дети. На своем веку он родил человек двенадцать, из которых только двое уцелели: Ивашка да дочь. Все остальные взяты были многочисленными деревенскими болезнями. Такая смертность не убила Гаврилу. Воля Божья! Он, как ни в чем не бывало, после каждого смертного случая копошился и хлопотал, занятый текущими делами.

Погруженный изо дня в день в хлопоты, он был доволен. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что для Гаврилы составляло счастье? Земля, мерин, телка и бычок, три овцы, хлеб с капустой и многие другие вещи, потому что если чего-нибудь из перечисленного не доставало, он был бы несчастлив. В тот год, когда у него околела телка, он несколько ночей стонал, как в бреду, а отдавая зятю бычка, выглядел вроде как полоумный. Но такие катастрофы бывали редко; он их избегал, предупреждая или поправляя их. Хлеб? Хлеб у него не переводился. В самые голодные годы у него сохранялся мешок-другой муки, хотя он это обстоятельство скрывал от жадных соседей, чтобы который из них не попросил у него одолжения. Мерин? Мерин верно служил ему пятнадцать лет и никогда не умирал; в последнее время только заметно стал сопеть и недостаточно ловко владел задними ногами, но, ввиду его смерти, у Гаврилы был двухгодовалый подросток.

В тяжелые времена деревни на Гаврилу нападал страх; соседи его вели жалкую борьбу, и целые семьи пропадали, а он ничего,

жив оставался. Заглянет в амбарушку, видит собственными глазами хлеб. Заглянет в хлев — там стоит неумирающий мерин, чавкая солому. Войдет в избу — чисто везде, прибрано, пахнет жилым духом. После этого он успокаивался, довольный своею долей. Старуха его была славная женщина, веселая, горластая и живая. В избе всегда был порядок. Сама она не ходила неряхой, растрепанной и неумытой, подобно большинству соседок. Потеря детей и другие невзгоды не потрясали ее, она оставалась бодрой и светлой. Гаврило уважал ее. Она его вовремя накормит, поможет в работе, подаст хороший совет, а в праздник наденет на него чистые панталоны и ситцевую рубашу, после чего Гаврило сидит на завалинке и хлопает глазами. Чего еще больше? Его душевная и телесная крепость зависела от умения сжиматься во время деревенских невзгод, от умения сокращать себя до последних пределов. Иной на его месте, вроде Чилигина или Савоси Быкова, добыв, с Божьей помощью, десять фунтов муки, мигом ее съест, а после того впадет в отчаяние, но Гаврило те же десять фунтов разделит на пригоршни и так их распределит, что не будет сыт, но и не помрет от недостатка пищи. Или если у Савоси остается в кармане капитала всего-навсего три копейки, то он бросит их куда-нибудь невпопад, а Гаврило те же самые три копейки прижмет и употребит их именно в то мгновение, когда уже подходит смертный час — еще один миг, и нет человека! А три копейки спасли! Мудреная жизнь, но жизнь. Гаврило именно умел вести такую жизнь.

Самый плохой момент в его году — весна. Денег нет, земли не дают. Оттого он в первый месяц после Святой вел себя спокойно; ходил по соседним владельцам, просил Христом Богом у Шипикина, назойливо надоедал таракановскому «управителю», подвергая себя всяческим унижениям. Затем, заполучив сколько успел земли, он должен был отдыхать, для чего валялся несколько дней, как больной, утомившийся борьбой с жестокою хворью. Потом уже выезжал в поле. Неизвестно, верил ли он в более радостную, светлую жизнь? Верно одно: никогда он не тяготился отсутствием широты и простора. Ему было ладно и так. Он устал и, видимо, делался хворым, а кругом, «по соседству», утопали.

Когда хворь его началась — с точностью нельзя определить.

Ближайший человек — жена — долго ничего особенного не замечала, а когда взгляделась в мужа, то последний уж «задумался». Добрая женщина сильно удивилась, увидав, что Гавриле «чтой-то не можется». Часто он скреб себе без всякой причины поясницу и имел сердитый вид. Работая, он кряхтел и делал продолжительные отдыхи. Иной раз и примется за дело, горячо примется, но быстро осядет. Идя куда-нибудь, он понуро опускал голову, никого, по-видимому, не замечая. Сердобольная жена раз предложила ему полечиться, думая, что он как-нибудь сорвал с пупа, для чего советовала в жаркой бане, которую она истопит, поставить на живот горшки. Тому, кто не знаком с медицинским употреблением горшков, следует пояснить, что это нечто вроде банок для вытягивания крови, только несравненно действительнее; человек, которому поставили горшки, кричит как под ножом. Средство, кажется, убийственное. Но Гаврило не воспользовался им. Мало того, он вдруг осердился, вышел из себя и выругал свою старуху, как самый последний солдат.

Когда вскоре после этого пришло время выезжать в поле, Гаврило по привычке отправился копать землю. Весна стояла теплая, влажная. День-два светило солнце; следующий день лил дождь, потом опять стало светло и радостно. Бывало, Гаврило в такие дни оживал и весело ходил за сохой, веря, что на земле тепло жить... Лес зеленел молодыми, яркими листьями. По полю поднималась свежая трава; на озимых пашнях проглядывала уж рожь. Гаврило принялся за работу как следует; съел кусок хлеба, выпил бурак квасу, покормил мерина, и еще солнце хорошо не засветило, как он уже медленно шагал по бурьяну. Сначала работа шла успешно, но чем дальше, тем все тише, тише лошадь с хозяином подвигались вперед. Не слышалось понуканья и хлопанья кнута, не выходило слова из уст Гаврилы. И в поле царствовала тишина, как среди спокойного моря. Слышался лишь неопределенный шум, производимый шепотом листьев ближайшего леса и колебанием травы. И все тише, тише тянулись лошадь с хозяином. Мерин оглядывался по сторонам, улучал минуту сорвать верхушку прошлогодней травы и с удовольствием жевал ее; еще немного, и лукавое животное остановилось бы совсем, чтобы немного соснуть, пока очнется от дремоты сам хозяин. Но хозяин не спал. Он опустил голову

и бессознательно шел за лошадью. Он имел вид человека, который глубоко задумался. Гаврило что-то соображал.

«Кар-р! кар-р!» — вдруг закричала хрипло ворона. Гаврило вздрогнул. На лице отразилось раздражение. «Я тебе дам, подлая!» — крикнул он, махая кнутом. Он не верил разным сказкам насчет ворон, но карканье и вид вороны теперь почему-то моментально вывели его из себя. Он заторопился, задержал мерина, а когда тот с первого разу не послушался, заорал на него что есть мочи, отчего тот дернул, и соха выскочила из борозды. «Кар-р! кар-р!» — вдруг опять над самым ухом, но с другой стороны, хрипло заболтала ворона, отлетела подальше и потыкала носом в ком земли. Гаврило пришел в ярость. «Кар-р! кар-р!» — хрипела подлая птица, не унимаясь. Бог знает, что сделалось с Гаврилой; он схватил с слепою яростью ком земли и пустил его в птицу. Он принялся ругать птицу, потом мерина, потом неизвестно кого, бессмысленным набором слов, и долго не мог прийти в себя. Только хворый человек мог прийти в такой необузданный гнев из пустяков и вспыхнуть злобой к глупому животному. Но как бы то ни было, а Гаврило в этот день больше уже не мог работать. После странного раздражения он ослабел и еле-еле тащился по пашне, пока эта немощь, в свою очередь, не раздражила его. Тогда он поспешно собрался и явился, к удивлению старухи, домой. Несколько дней он маялся с этою полосой. На другой день, например, он попытался поехать, но также отчего-то взбесился и с шумом двинулся домой, где лег на дворе, закрылся шубой и так пролежал до вечера. На третий день также вернулся. На четвертый совсем не поехал. На следующий день жена боязливо посылала его в поле, но он ответил:

— Ну ее к ляду!

— Да ты очумел, что ли? Разве уж пашни совсем не надо? — удивленно возразила жена.

— А зачем ее... пашню-то? Наплевать! — с невероятным легкомыслием сказал Гаврило.

Жена была поражена. Да и сам Гаврило как будто испугался своего голоса и застыдился своих слов; не говоря больше ничего, он с шумом собрался и поспешно бросился на поле. На этот раз, сам не зная как, кончил.

По утвердившейся косности, работы шли своим порядком, но ничтожнейшие случаи приводили Гаврилу в отчаяние или в необузданный гнев. Вспомнив какую-нибудь работу, он порол горячку, волновался от каждой неудачи, но быстро ослабевал, делаясь мрачнее ночи, и вслед за тем лаялся со старухой или с меринком. Если бы кто посмотрел на него в это время, то счел бы его самым лядащим хозяином, подобно Савосе Быкову. Разъярившись, он стегал мерина, гонял по двору телушку, разбрасывал куда ни попало вещи. Иногда от его бушевания стон стоял над двором. Телушка ревела, куры кудахтали, собака лаяла, старуха с недоумением ругалась, а на дворе, как после пожара, разбросаны были: там хомут, там кадушка на боку, а посреди всего этого расхаживал сам Гаврило и куролесил, вымещая на бездушных предметах какую-то боль своей души. Вокруг жилища его завелся страшный беспорядок — кучи сору и навозу нагромождены были против самых ворот; ворота стояли открытыми; хлев провонял от нечистот, телега мокла под дождем на улице; мерина забывали, и он жрал с голода прутья березовые.

Но иногда Гаврило внезапно затихал. Выражение его было тогда мучительное. Он пытался заговаривать со старухой, желая высказать ей, что у него болит, ему хотелось поговорить с кем-нибудь, чтобы облегчить себя от непосильной тяжести, ни с того ни с сего обрушившейся на него, но высказаться толково он не умел, особенно с близким человеком, с которым приучаются говорить полусловами и намеками. Именно старухе-то своей он и не мог путно рассказать свою хворь. А между тем, сам сознавал, что хворь напала на него и гнетет немилосердно.

В это время он ходил к батюшке поговорить по душе. Просто-яв в воскресенье обедню, он прямо пошел к поповскому дому. Батюшка принял его сухо, но не прогнал, а велел обождать. Он считал деньги, собранные сейчас за крестины и молебны. Сидя за столом, он с глубокомысленным видом раскладывал медные монеты, скоро на столе в порядке разложены были кучки, в одном месте возвышались толстые пятаки, в другом — гривны, подле гривен рядом тянулись двухкопеечные, а позади всех поместились тощие копейки. Пересчитав все это тленное богатство, батюшка нахмурил брови и сурово взглянул на Гаврилу.

— Ну, говори, зачем ты? — строго спросил батюшка. Гаври-

ло не мог сразу найти ответ. Он тревожно кидал глаза на пол, по стенам и на свои сапоги, и в нерешительности перекидывал с одного места на другое свою шапку, положив ее сначала на колени, потом на лавку подле себя, и засунул ее наконец за пазуху кафтана. Лицо его к этому времени уже сильно изменилось, оно осунулось, а в глазах была неотвязная тревога.

— Что же ты мнешься? Говори.

— Я будто нездоров. Мне бы по душе с тобой покалякать... Можно? — заговорил Гаврило слабо, но быстро оправился. Батюшка поморщился в ответ на это, однако приготовился выслушать.

— Я бы перед тобой все одно, как перед Богом. Мне уж таить нечего, деваться некуда, одно слово, хоша бы руки на себя наложить, так в пору. Значит, приперло же меня здорово!

— Что ты говоришь? Разве можно иметь такие греховные мысли? — недовольным тоном сказал батюшка, который еще не мог до сих пор забыть самоубийства сына.

— Грешно — это справедливо. Потому, против Бога. Вот я и пришел насчет души поговорить... Болит у меня, прямо надо сказать, душа, тоскую, а об чем, об каких случаях, того не знаю... Дивное дело! Жил-жил, все ничего, а тут вдруг вон куда пошло!... И хотел бы дознаться, отчего это бывает?

— Как же она у тебя болит, душа-то?

— Да так, сам не знаю, в каком роде... А вижу, что главная сила в душе. Отчего это бывает?

— Тоска, говоришь?

— Не одна тоска, а все. Иной раз ску-учно станет и до того уж дойду, что сам как есть не в своем виде...

— Трудись хорошенько. Скука происходит от праздности, — посоветовал батюшка.

— Так ведь я допреж этой пакости не отлынивал от работы, и сейчас бы рад работать, да не могу. Скучно! Тошно мне смотреть на все... И рад бы приспособить себя к делу, а, между прочим, скучно... Отчего это бывает?

— От различных причин бывает, — многозначительно отвечал батюшка, но в полной мере недоумевая.

— А то случается, что я все думаю разные мысли, — продолжал Гаврило.

— Какие же мысли?

— Да мысли-то, по правде сказать, не настоящие, а все больше предсмертное мне приходит в голову...

— То есть как это предсмертное? — спросил батюшка, побледнев и с сердцем.

— Да так, о смертях, вишь, я все думаю, — пояснил Гаврило.

— Дуришь, я вижу, ты!.. Что же ты думаешь?

— Разное. Живет, например, около меня Василий Чилигин, колотится кое-как со дня на день, по зимам мерзнет, а то так по два дня без пищи ходит... Я и думаю: скоро ли же Чилигин кончится?

Батюшка неодобрительно покачал головой.

— Или, например, Тимофей Луков. Дом бросил, жена убегла от него, а он безобразничает... И думаю я: лучше бы Тимошке помереть!

— Это, брат, грешно, зла желать ближнему, — возразил батюшка строго.

— Сам вижу, грех, а не могу... Вижу которого, например, человека и думаю: «зачем ты живешь?». И про себя у меня такие же мысли. Делал бы, работал бы с удовольствием, а не знаю, что к чему... Потому я и спрашиваю, как бы хворь эту вывести?.. Очень она меня убивает!

— Да я не понимаю, какая хворь? По-моему, дурь одна... Какая это хворь? — нетерпеливо сказал батюшка, которому стал надоедать этот разговор.

— Жизни не рад — вот такая моя хворь! Не знаю, что к чему, зачем... и к каким правилам, — упорно настаивал Гаврило.

— Ты ведь землепашец? — строго спросил батюшка.

— Землепашец, верно.

— Чего же тебе еще? Добывай хлеб в поте лица твоего и благо ти будет, как сказано в писании...

— А зачем мне хлеб? — пытливо спросил Гаврило.

— Как зачем? Ты уж, брат, кажется, замололся. Хлеб потребен человеку.

Батюшка проговорил это лениво, не зная, как отвязаться от странного мужичонки.

— Хлеб, точно, ничего... хлеб — оно хорошее дело. Да для чего он? Вот такая штука-то! Нынче я ем, а завтра опять буду

есть его... Весь век сваливаешь в себя хлеб, как в прорву какую, как в мешок пустой, а для чего? Вот оно и скучно... Так и во всяком деле, примешься хорошо, начнешь работать, да вдруг спросишь себя: зачем? для чего? И скучно...

— Так ведь тебе, дурак, жить надо! Затем ты и работаешь! — сказал гневно батюшка.

— А зачем мне надо жить? — спросил Гаврило.

Батюшка плюнул.

— Тьфу! ты, дурак эдакий!

— Ты уж, отец, не изволь гневаться. Ведь я тебе рассказываю, какие мои предсмертные мысли... Я и сам ведь не рад; уж до той меры дойдет, что тошно, болит душа... Отчего это бывает?

— Будет тебе молоть! — сказал строго батюшка, собираясь покончить странный разговор.

— Главное, деваться мне некуда! — возразил грустно Гаврило.

— Молись Богу, трудись, работай... Это все от лени и пьянства... Больше мне нечего тебе присоветовать. А теперь ступай с Богом, — и батюшка при этом решительно встал.

Гаврило не ожидал, что беседа так круто прервется, и несколько времени топтался на месте. Но, оставленный батюшкой, он вышел вон, не говоря ни слова. А хотелось бы ему до многого допытаться; например, спросить: от какой причины сын батюшки наложил на себя руки?

Весь этот день Гаврило находился в смирном настроении. Но не то случилось на другой день. Нужно же было нелегкой столкнуть его снова с батюшкой. Последний шел к себе домой и нес лукошко с яйцами. Должно быть, какой-нибудь благочестивый мирянин пожертвовал. Гаврило, как только увидал батюшку, моментально очутился не в своем виде. Он взбеленился, вспыхнул и давай ругать батюшку отборными словами. Батюшка сначала не верил своим ушам и остановился, как вкопанный.

— Что ты, что ты? Бог с тобой! Разве ты не узнаешь меня?

— Как не узнать! — кричал Гаврило.

— Ведь я твой отец духовный, сумасшедший ты человек!

— Вижу. Ишь какое лукошко-то прешь!... Разве священному человеку нужно яйца? Какой же ты после этого священник,

коли у тебя лукошко на уме? — бешено кричал Гаврило и принялся постыдно ругаться, вне себя ни по-видимому, не сознавая, где и что он говорит. Батюшка поспешил отойти прочь и отнес лукошко домой, сейчас же отправился в волость с жалобой.

Скоро вся деревня узнала, что с Гаврилой не только дела, но и самого пустого разговора вести невозможно. Без всякого повода он вдруг ошалеет, облает что ни на есть отборнейшими ругательствами и осрамит на всю улицу. Его опасались и сторонились, боязливо поглядывая на него. Мальчишки, и те стали прятаться при виде его, хотя он никогда их не задевал. Стоило ему показаться на улице, чтобы куча ребят бросалась в рассыпную. «Вон Гаврило идет!» — кричал кто-нибудь, и это означало: спасайся, кто может! и ребята спасались — один под плетень, другой в подворотню, кто куда успел.

А сам Гаврило все больше и больше принимал не свой вид. Летние работы он продолжал совершать, но так неровно, так неумело, что только маялся. Он метался. Как будто он потерял что-то огромное, глубоко-важное и напрасно в страхе отыскивал свою пропажу. Не находя искомого, он еще сильнее волновался. Однажды он засел в кабак, где его до этого времени никогда не видели. Однако, сивуха не залила его смертельного беспокойства, а подействовала на него удручающим образом. Напившись, он пришел к себе на зады, лег в траву и стал плакать. Плач его так долго продолжался, что услышали несколько соседей и, подойдя к нему, робко уговаривали, вместе с его старухой, прийти в себя, успокоиться.

В другой раз на двое суток он совсем бесследно пропал. Думали, утонул, потому что в последний раз видели его возле воды, и он мочил себе голову, но это подозрение оказалось напрасным. Через два дня он тихо явился домой и спокойно уснул. Уходил же он в имение Шипикина к известному фельдшеру.

Явление его к фельдшеру в имение Шипикина было так же поспешно, как и все, что он за это время делал. Было утро. Солнце еще не поднялось из-за леса. По земле тянулись клоchy тумана; только из двух труб выходил дым. В избах еще спали. А лицевая сторона дома фельдшера оставалась еще в тени и тогда, когда над лесом уж показался огромный шар летнего

солнца. Но фельдшер рано должен был проснуться. Он уже давно прислушивался, что кто-то под его окнами копошится. Он думал, что какое-нибудь животное трется об стену, и чтобы прогнать его и опять заснуть, встал с кровати, отворил окно и увидел Гаврилу, который сидел скорчившись и прижавшись к стене.

— Ты что тут трешься? — спросил он с обычною своею грубостью, на этот раз особенно усиленной.

— Не ты ли будешь фершал?

— Ну, я.

— Я к тебе по моей болезни пришел, — отвечал Гаврило.

— Ты бы еще ночью приперся! Уснуть не дают, черти... Сейчас!

После этого фельдшер с недовольным видом залез в какие-то бараньи калоши, надел длиннополую хламиду прямо на белье и пошел на улицу. Недовольство никогда не мешало его лечению; никогда он подолгу не задерживал больного, хотя бы тот действительно не вовремя явился к нему. Обругает, как последнюю свинью, своего пациента, но отнесется к нему добросовестнейшим образом.

— Ну, что? — спросил он, оглядывая пытливо крестьянина и стараясь по внешнему виду его определить болезнь. Словам мужика обыкновенно он ни капли не верил и в грош не ставил его часто действительно нелепый рассказ о болезни. Он постигал болезнь какими-то окольными путями и так наловчился в этом, что редко ошибался. К удивлению его, однако, на этот раз ничего не мог сообразить. Гаврило сперва жаловался на головную боль, но вслед за тем понес такую околесную, что фельдшер только пожимал плечами.

— Давно у тебя голова-то болит? — спросил он, осматривая с ног до головы взбудораженную фигуру Гаврилы.

— Да как тебе сказать?... Давно уж, — возразил Гаврило.

— Здорово болит?

— Болит вот как! Сожмет, сожмет — свету не видишь. Прямо тебе сказать, голова моя вроде как кадушка, а на кадушку будто набивают обручи... Мочи нет!

— Может быть, это с перепоею, а то не треснул ли башкой об угол? Вообще не припомнишь ли ты случая, с которого началась у тебя эта боль?

— Кто его знает?.. Такого случая в памяти у меня нет...

— Так ведь с чего-нибудь взялось же?

— Да с чего взялось?.. Я полагаю не иначе, как от думы это все идет; от думы и голова, видно, болит... Иной раз думаешь-думаешь, и так тебе сожмет голову!..

— О чем же ты думаешь? — с изумлением спросил фельдшер.

— Разное. Что случится в деревне, об том и думаю. Что увижу или услышу — и давай сейчас разбирать... Значит, болит у меня душа, оттого и голову ломит... В душе самая сила-то, язва-то самая...

Фельдшер осердился.

— Да по-твоему, что это такое — душа? — спросил он. Но Гаврило молчал, не понимая.

— Ты думаешь, может быть, что это особый кусок какой, который можно схватить? Ведь душа твоя — это ты сам и есть. Стало быть, ты хочешь сказать, что у тебя все болит, весь ты расстроен?

— Все, все! это ты верно! Истинно, все сплошь у меня болит. Очень худо мне. Не дашь ли лекарства какого от думы, чтобы то есть не маяться мыслями? — спросил радостно и с надеждой Гаврило.

Фельдшер, между тем, пристально оглядывал больного. Видно было, что он стал в тупик.

— Вот еще какие бывают, — сказал он как бы про себя, но смотря на Гаврилу.

— Что изволишь говорить? — спросил с надеждой последний.

— Я говорю, что еще ни разу мне не приходилось лечить не думать. Гм! Так лекарства тебе? Ладно.

И еще раз оглянув с ног до головы больного, он вошел к себе в дом, порылся там в шкапе и возвратился назад на улицу с каким-то пузырьком в руках. Гаврило без слова отдал деньги за лекарство, но фельдшер, прежде чем вручить его, принялся, по обыкновению, вдабливать, как надо употреблять лекарство.

— Это от головной боли и от нервов, которые, впрочем, едва ли у тебя есть... Так вот, на! По десяти капель в день, принимать в воде. Понял? Я потому так, спрашиваю, что ты, может быть,

вздумаешь сразу сожрать этот пузырек. А если ты сожрешь сразу, так голова твоя обратится не то что в кадушку, а будет турецкий барабан, по которому бьют два солдата... да еще сердцебиение наживешь... Понял?

— Понял, — отвечал Гаврило.

— Повтори.

— Налить в воду десять капель и выпить.

— Ладно. Теперь ступай. Повторяю: это тебе пока от головной боли. Ты понаведайся через несколько дней: придет доктор, ты услышишь об его приезде и приди. Мы тогда и придумаем какое-нибудь лекарство, чтобы у тебя мыслей не было, — говорил фельдшер, задумчиво провожая глазами удалявшегося Гаврилу. Он был изумлен.

Искренно изумлен. В своей деревенской практике он все более встречал первобытные болезни: надорвался живот, жилы налились водой, лягнула лошадь; раскроил щеку; приятель откусил своему приятелю в нетрезвом и возбужденном состоянии часть губы, простудился в реке, доставая коноплю, когда уже на реке образовался лед, и прочее в том же роде. Лечил он все это с ловкостью хорошего врача. Имел он также дело с лихорадками, горячками и со всеми эпидемиями, какие только существуют на земле и особенно любят деревни, но такой болезни, какую он сейчас встретил, он не знал, не признавал ее. Расстроенная бездельем пустая барыня — это было для него понятно, но чтобы мужик расстроился в том же роде — это было в его глазах крайне глупо. Но человек он был добродушный, искренний. У него только язык был взбалмошный, а сердце доброе. Он сильно заинтересовался Гаврилой и, не полагаясь на себя, решился представить его доктору, которого ждал на днях.

Через шесть дней доктор действительно приехал на сутки. Скоро в квартире фельдшера собралась огромная толпа чающих исцеления; весь этот немощный люд облепил завалинки, плетни, ворота и крыльцо фельдшерского дома. В сени, где происходил прием, впускались поодиночке, по очереди. Главное участие в приеме принимал фельдшер же; доктор только руководил, мало вмешиваясь в курьезные объяснения с пациентами. Он полулежал на лавке за столом и бесцеремонно громко зевал. Глядел он сонно, движения его были апатичны,

разговор вялый, безжизненный, потому что он был земским врачом от земства, где убийственная скука столь же неизбежна, как худосочие у человека, которому невежественный коновал периодически пускал кровь. Этот доктор был еще молодой человек, а уже дряхлое старчество проглядывало во всех его движениях. Говорят, в первое время своей службы он без отдыха скакал по вверенной ему палестине, устраивал приемные покои, ругался из-за пузырьков для лекарств, из-за корпии, вел медицинскую статистику и т.д. Потом понемногу все затихал, умолкал, робел, пока не дошел до того состояния, когда, как говорится, плюнуть лень.

К полудню прием кончился. Больная толпа разошлась. Но фельдшер долго еще после этого поджидал Гаврилу. Наконец не выдержал и обругался.

— Ведь вот, дубина бесчувственная, не пришел!

— Кого это вы браните? — спросил доктор.

Фельдшер был настроен на торжественный тон, и доктор, отлично зная его, заранее улыбнулся.

— Приходил ко мне на днях один больной крестьянин, то есть прямо сказать, черт его разберет, больной или полоумный. Сколько я ни исследовал его словесно, ни к какому понятию не мог прийти; по обыкновению, путал он, путал языком и не единого слова не выразил... Сперва, извольте видеть, заявился с головною болью, сравнил голову с кадушкой, на которую, например, набивают обручи, — именно этим он хотел пояснить наглядно, как у него болит голова. Но из дальнейшего расспроса оказалось, что у него, извольте вообразить, болит душа, а когда я объяснил ему, что особого эдакого куска мяса, который бы был именно душой, нет, не существует в природе, так он сейчас же согласился со мной и, к удивлению моему, можете себе представить, объявил, что именно у него все болит, все сплошь!.. Больше, извините, не помню, что он путал, но, кажется, уверял, будто бы головная боль его происходит от думы, и просил у меня такого лекарства, от которого бы сразу все мысли его прекратились... Вот теперь я приказывал ему прийти, а он, видите, и глаз не кажет...

Доктор все время улыбался.

— Случай, извольте видеть, интересный, то есть у меня ни-

когда не было таких больных... Я уже было подумал — совестно даже сказать! — не нервное ли это расстройство?

— Это вполне вероятно, — заметил доктор.

— Как! У деревни-то нервы?! — воскликнул фельдшер.

— Я не раз уже встречал между крестьянами нервнобо-
льных, со всеми признаками глубоких умственных страданий...

Фельдшер пристально посмотрел на доктора, подозревая, что тот хочет над ним подшутить, а он терпеть не мог этого.

— Ну, уж это едва ли!.. По-моему, они бесчувственны к бо-
лям; это уж я отлично знаю... К физическим страданиям тупы,
нравственные оскорбления выносят равнодушно — в этом
и беда вся!

— Говорю вам, у меня уже перебивало много таких... Мало
того, было несколько случаев, где я замечал явные следы нерв-
ного *odium vitae*... Отвращение к жизни.

Фельдшер недоверчиво взглянул на доктора.

— А отчего же это, позвольте вас спросить, происходит?

— Да, вероятно, от того же, от чего и с каждым из нас может
быть... Упадок сил... потеря царя головы... тоска... отвращение
ко всему. Что касается вашего больного, то, быть может, его
поразил ряд неудач; быть может, у него было одно, но огромное
несчастье; быть может, наконец, сочувствие к окружающим...

— Это у него-то сочувствие к людям, у остолопа-то эдакого?!

— У простого человека сочувствие больше развито, чем у
кого другого. У крестьянина связь со всем окружающим и с об-
ществом буквально кровная, неразрывная... И если это обще-
ство страдает, и он хиреет, и хворает, и падает духом... вянет,
как лист срезанного растения... Это я и называю сочувствием,
невольным, бессознательным, но тем более неумолимым.

Фельдшер задумался.

— Позвольте, доктор, я приведу к вам этого чурбана, посмо-
трите его, — сердито сказал он.

— Едва ли я сделаю ему что-нибудь нужное.

— Неужели ничего?

— Да что же?.. Единственное средство — это совершенная
перемена образа жизни и обстановки; но подумайте, как же это
мужик переменит образ жизни? Бесполезно и лечить... Пожа-
луй, приведите, — уныло сказал доктор.

И, сказав это, он потянулся, зевнул и совсем прилег на лавку.

Фельдшеру, между тем, надо было ехать по делу в деревню Гаврилы, да если бы, кажется, и предлога никакого не нашлось, он выдумал бы его, только бы притащить Гаврилу. Непонятная болезнь последнего подмывала его. Ему от души хотелось помочь ему, в крайнем случае, подробно рассмотреть и расспросить, чтобы на будущее время не срамить себя так перед доктором. По счастливой случайности, ему удалось встретить Гаврилу, не доезжая еще до места. Тот шел посмотреть полосу, посеянную на шипикинской земле. Фельдшер обрадовался ему, как давнишнему знакомому, и уже хотел хлопнуть его по плечу, для чего соскочил с телеги, на которой трясся, но взглянул на лицо мужика и оставил это намерение. Гаврило злобно и мрачно смотрел на него, как на врага. Тем не менее, Фельдшер вскричал:

— Эй, ты, Иван!..

— Я не Иван, а Гаврило!

— Ну, черт с тобой, Гаврило так Гаврило, как будто мне не все равно... Я только хочу сказать — поедem со мной к доктору. Он тебя осмотрит и найдет, может быть, средство, — сказал фельдшер.

— Проваливай своею дорогой!

Фельдшер с недоумением посмотрел на говорившего.

— Будет тут болтать... садись, я тебя довезу.

— Нечего мне садиться. Знаю я вас!.. Ишь гусь какой!

— Ты что же это, бревно? — сказал фельдшер сдержанно.

— Я же тебе хочу пользы, а ты лаешься! Ведь пропадешь ни за понюх!

— Много вас тут шляется... проваливай! — мрачно сказал Гаврило.

Фельдшер даже позабыл выругаться. Он подождал, пока Гаврило удалялся, постоял в нерешительности, сел в телегу и поехал в противоположную сторону, крайне недовольный собой и опечаленный.

Однако впоследствии вмешательство фельдшера положительно спасло Гаврилу. Без этого случая Гавриле не миновать бы Сибири или, по меньшей мере, арестантских рот. Никому из окружающих в голову не приходило, что это просто больной.

Все видели, что человек одурел, и не знали отчего. К этому времени Гаврило действительно сделался невыносимым. Все лето он провел в каком-то странном возбуждении, отчего поступки его приняли беспокойный характер. Потеряв, так сказать, свою точку, свою веру, он взамен ее не нашел ничего. Он уже совершенно потерял спокойствие, и если иногда казался тихо настроенным, то это было просто окаменение. Он все куда-то порывался, что-то подмывало его. Например, он измучился с сеном, которое он накопил в Петровки. Сперва, как и все люди, сложил сено на гумне, но вдруг его это смутило, и с сумасшедшею торопливостью в половину дня он перетаскал сено на двор к себе и сметал его на сарай. Но тут его опять встревожило, и он то же самое сено побросал опять на двор и засовал его под сарай. Может быть, он еще куда-нибудь стащил бы его, но помешали другие хлопоты, столь же нелепые.

Гаврило уже плохо владел собой и делал необдуманные дела. Таков был его краткий разговор со старшиной, чуть было не погубивший его. Обстоятельства этого дела крайне нелепы. Волостное правление вызывало Гаврилу для каких-то справок насчет его сына Ивана. Справки были пустые. Гаврило долго не являлся на зов, может быть, позабыл его. Вспомнив, он без всякого раздражения отправился удовлетворить законное требование своего начальства. Перед отходом из дома он даже несколько оправился: приоделся, пригладился и вообще вел себя безупречно. Вид он имел смирный. Явился в волость совершенно равнодушно.

— Ты что там ломаешься? — обратился к нему старшина. — Я тебя сколько раз требовал, а ты и ухом не ведешь. Ждать мне, что ли, тебя, остолоп?

— Сам ты остолоп, — равнодушнейшим тоном возразил Гаврило.

Старшина посмотрел на присутствующих, как бы спрашивая: что это такое?

— Что ты сказал? — спросил он.

— А ты должен слушать, уши-то есть у тебя, — равнодушно отвечал Гаврило.

— Да ты как смеешь грубить, негодяй? — взбешенно вскричал старшина.

— Сам ты негодай, — вспыхнул Гаврило и сразу потерял свой вид, и принялся кричать, — Негодай! именно негодай! Вот тебе и сказ! А окромя того, обдирало! Всю волость ободрал! Староста вон влопался уж, а ты еще сидишь... Как ты смеешь ругаться? Я тебе дам, как срамить хорошего человека!

Старшина бросился было к нему, готовый, по-видимому, разоздрать его, но овладел собой и только затрясся.

— Ребята... вали его! — слабым голосом выговорил он, обращаясь к присутствующим двум-трем крестьянам. Те принялись исполнять приказ. Гаврило, уж не помня себя, схватил какую-то вещь в руки и давай ей размахивать, обороняясь от нападающих. Впоследствии уж оказалось, что мотал он огромным сапогом, принадлежащим волостному старшине. Конечно, отчаянная оборона только замедлила его взятие, да еще, пожалуй, посадила две-три шишки на головах нападающих, но не могла принести пользы. И тут никто не подумал, что взяли, избили, скрутили и посадили в чулан нездорового человека.

Дело, напротив, явилось серьезным: «оскорбление словами и намерение оскорбить действием волостного старшину при исполнении обязанностей службы». Старшина, впрочем, решился сперва не давать хода этому происшествию и предложил, в смысле мировой, высечь его, но Гаврило ничего не отвечал из чулана, и дело пошло дальше. Гаврилу увезли в тюрьму, где следователь деятельно принялся разыскивать в хвором человеке преступную волю. А тем временем Гаврило все сидел, до той поры, пока не вмешалась его старуха.

Наперед ошеломленная, она, однако, не упала духом, бодро кончила летние работы, начатые мужем, и тогда решилась все лишнее распродать или отдать на сбережение соседям, двор припереть, избу заколотить, кое-какую живность порезать, чтобы свезти в город для продажи. Только телку да бессмертного мерина оставить. Так и сделала. Запрягла мерина и поехала по свету добывать Гаврилу. Буквально по свету, потому что она не знала, где он спрятан, у кого о нем спросить и кому надоедать просьбами; знала только, что надо ехать в тот городок, где при трактире живет Ивашка-сын. Старуха с мерином избородила в два месяца осени тысячи две верст. Нашла в городе, при помощи Ивашки, того следователя, в руках которого находилось

дело Гаврилы, но следователь прогнал ее. Ей посоветовали обратиться к самому губернатору, и она поехала на мерине искать губернатора, объезжавшего губернию. Но губернатора не увидала, и, чтобы она больше не надоедала, ее прогнали. Посоветовали ей еще обратиться к прокурору, и она тем же путем обратно поехала в город, но и прокурор ее не выслушал. Тогда она двинулась на неутомимом мерине назад в деревню, чтобы попросить у общества одобрительного свидетельства о Гавриле, но мир по ее делу не собрался; отдельные мужики хотя и жалели ее, но ничего сделать не могли. Много она с мериним изъездила лишнего. Но она верила, что мужа, по нездоровью, отпустят.

Случайно лишь встретил ее фельдшер и сильно заинтересовался рассказом старухи. Выслушав ее до конца, он дал ей письмо к своему доктору, с приказанием умно и толково рассказать ему все. Доктор жил в городе в это время, и старуха снова туда поехала. На этот раз она попала в точку. Через месяц Гаврилу освободили, вследствие признания его умственно расстроеным. Много лишнего изъездила старуха с мериним!

Когда Гаврило вышел из тюрьмы, он имел действительно вид худой. Все семейство пожило вместе дня два, во время которых Ивашка деятельно убеждал отца бросить деревню и поступить к его хозяину дворником.

— Здесь, прямо сказать, спокойно. У нас думать нечего. Бери свое, что тебе следует — и шабаш! Думать не об чем! Живи, получай деньги, сколько должно и — шабаш! — говорил Ивашка, раскрашивая трактирную службу.

Гаврило сначала слушал невнимательно, но, приходя в себя, одобрительно кивал головой. Потом вдруг обрадовался. Он заговорил, оживел, засуетился. В какой-нибудь час решение его созрело: ехать немедленно в деревню и отпроситься у общества в отпуск, после чего возвратиться в город к Ивашке. По-видимому, в его голове моментально обрисовалась картина: взял лопату и вычистил, а после того никакого больше беспокойства.

— И больше не об чем беспокоиться? — радостно спросил Гаврило.

— Да о чем же еще?.. Свое дело исполнил — и шабаш! — еще раз подтвердил Ивашка.

Гаврило запряг мерина в сани (была уже зима), посадил старуху и поехал в деревню для разделки с ней. Но история мерина кончилась. По приезде домой он понуро свесил уши. Когда Гаврило отвел его в сарай, он не обрадовался и не стал кататься по назьму. Когда ему подложили соломы, чтобы он поел, он отворотился, наотрез отказавшись пить и есть. Видимо, он умирал. К ночи он лег на землю, вытянул шею, ноги и хвост — и сдох. Только старуха поплакала над ним.

Но Гавриле ничего не было жалко. Напротив несколько соседей пришли провести его, посмотреть; они уже слышали, что вся история с Гаврилой случилась от хвори и теперь быстро собрались выразить Гавриле сочувствие. Но Гаврило их принял нерадушно. Его беспокойство снова стало возрождаться от вида родины. И воздух, и солнце, и поле, и людей, и свою избу, и двор с назьмом, и сарай с телушкой и курами — все это он прежде любил, но теперь чувствовал одно беспокойство, припоминая те мучения, которые он здесь претерпел. Дела он живо покончил, кое-что продал, припер ворота, заколотил избу и пошел со старухой прочь.

Чтобы не оборвать этой истории на полуслове, следует рассказать в нескольких словах, как Гаврило устроился на новом месте. Устроился он спокойно. Из него вышел образцовый дворник. Свои обязанности он исполнял точно: подметал двор, таскал жильцам дрова, а от них сор. Он был рад, что попал на такое хорошее место. В теле он поправился. Беспокойства, лихорадочности уже не было заметно в его взоре. Да разве и можно что-нибудь думать о метле или по поводу ее? А у него в жизни метла одна только и осталась. Вследствие этого, мыслей у него больше не появлялось. Он делал то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этою же его метлой бить по спинам жильцов, он не отказался бы. Жилыцы его не любили, как бы понимая, что этот человек совсем не думает. За его позу перед воротами они называли его «идолом». А, между тем, он виноват был только потому, что оборванные деревней нервы сделали его бесчувственным.

Павел Владимирович Засодимский

На большой дороге

П. В. Засодимский (1843—1912) родился в небогатой дворянской семье, закончил пансион при Вологодской гимназии, учился в Петербургском университете. Начал публиковаться во второй половине 1860-х гг. в журнале Г. Е. Благодетель «Дело». В 1870-е гг. сблизился с народниками-«чайковцами», увлекся идеями П. Л. Лаврова, но в деятельности народнических организаций участия не принимал. Испытал большое влияние М. Е. Салтыкова-Щедрина, редактировавшего сочинения Засодимского для «Отечественных записок» (в том числе первый и самый известный роман писателя — «Хроника села Смурина»). В 1891 г. был выслан из Петербурга за речь на похоронах Н. В. Шелгунова. Рассказ «На большой дороге» опубликован в 1884 г. в журнале «Наблюдатель» (№ 1).

Деревня Васютино стоит на большой, почтовой дороге. Эта дорога называется Архангельской, или «Архангельским трактом», потому что по ней можно проехать в Архангельскую губернию. Она и теперь еще — проезжая: в наших сторонах чутунки нет, да и пароходы еще не дымят по нашим лесным рекам, — по ним лишь в половодье весною плывут плоты бревен и дров. Наша «большая дорога», перед приездом в наши дремучие края императора Александра I, была расширена и украшена: по обеим сторонам ее насыпали возвышения и усадили их в два ряда березами, — так что вся дорога на тысячеверстном расстоянии сделалась похожа на бульвар. Дорога то идет прямо как стрела, то поворачивает в сторону и вьется зигзагами, тянется по полям, по лугам, пролегает по лесным трущобам и болотинам, перебирается через горы, проходит по городам, по деревням и селам, мимо сельских церквей и низеньких старых часовен, мимо глухих починков и лесных одиноких истопок... Ныне местами деревьев уже не стало: одни из них погибли от старости, другие пали жертвой свирепых бурь — были сломлены ветром или разбиты молнией; от иных остались одни пни, а местами даже и не знать, где были деревья.

В давние годы много дум возбуждала в моей детской голове эта «большая дорога»... Круглый год много всякого народа проходило и проезжало по ней.

Сгорбившись, брели по ней богомольцы с кошелками на спине; тащились нищие и убогие, божиини страннички с темными загорелыми лицами и с длинными посохами в исхудалых, костлявых руках; плелись всякие калеки и юродивые. Иногда

под руку с провожатым проходил какой-нибудь слепой с полужакрытыми или странно вытаращенными глазами. И в ту пору как вожатый бесцельно, рассеянно, со скучающей миной поглядывал по сторонам, слепец своими бесцветными, тусклыми очами, казалось, напряженно заглядывал в туманную даль, куда медленно, шаг за шагом и подвигался со своим товарищем. То проходил безрукий, жалобно выкрикивая по деревьям и под окнами постоянных дворов: «Подайте, Христа ради, православные, безрукому-немощному!..» Однажды проходил немой, мыча страшным, нечеловеческим голосом и выразительно протягивая руку ко всякому встречному. Проползал безногий, усердно работая локтями и коленями, весь обливаясь потом и пресмыкаясь в пыли. И весь этот люд, проходивший мимо меня по «большой дороге», странный и жалкий люд, едва прикрытый грязными, рванными лохмотьями, с босыми, до крови наколотыми ногами, — не однажды заставлял меня в детстве горько плакать. Мне было жаль этих несчастных странников, и я желал бы дать им приют...

Иногда проходили по дороге кучки солдат, возвращавшихся по домам; порою проезжали новобранцы, — и в то время, как провожавшие их бабы хныкали и утирали покрасневшие от слез глаза, молодые рекруты, буйно заломив шапки набекрень, с напускным весельем горланили песни — громко и несвязно. Иногда проходили арестанты — худые, бритые, уныло позвякивая цепями, а за ними штыки ярко поблескивали на ружьях конвойных, шедших мерною поступью. «Несчастненьким» на Васютине всякий подавал что мог.

Нередко тянулись по дороге длинные обозы, поскрипывая колесами, — и тогда в воздухе сильно припахивало дегтем. Иногда проходил цыганский табор, пробираясь на кочевья... На больших телегах везли сложенные белые палатки, коробка с каким-то тряпьем, и из них выглядывали темноволосые, курчавые головы ребятишек; по сторонам шли или ехали верхом цыгане; шли смуглолицые женщины с красными рванными шальями на смуглых плечах, — сухие черные волосы прядями выбивались из-под небрежно повязанных платков, и острые, пронизательные глаза светились ярко, как угольки, из-под черных нависших бровей и зорко взглядывали по сторонам. За телега-

ми следом шли поджарые собаки, уныло поджав хвост и низко понутив голову. Об этих кочевниках у нас шла дурная слава. Говорили, что цыгане мошенничают, обменивая хороших лошадей на своих жалких кляч: для этого они будто бы предварительно подбодряют их нещадными ударами кнута, — так что самое смиренное животное, разбитое на все четыре ноги, вдруг делается зверь зверем, и ловкий цыган выделявает на нем перед покупателем такие отчаянные курбеты, что все только ахает от удивления. Про цыганок говорили, что они, под предлогом ворожбы и гаданий, втираются в дома к добрым людям и крадут кур, яйца, холст, одежду и вообще всякий домашний скарб, плохо лежащий. Даже о цыганских собаках рассказывали, что они приучены давить овец и телят...

Каждую неделю два раза, взад и вперед по дороге, пронеслась «почта» на тройке добрых коней, поднимая за собой облака серой пыли; колокольчик звенел, заливался под дугой, бубенчики громко звякали и шуршали на шее пристяжных; ямщик с блестящей бляхой на шапке лихо покрикивал и крутил арапником, а на телеге, на тюках, покрытых кожей и перевязанных веревками, сидел, примостившись боком, почтальон — усталый, измученный, полусонный, — и при каждом толчке его форменная фуражка, казалось, готова была слететь с его головы, качавшейся из стороны в сторону, а старый, заржавленный пистолет чуть не выскакивал у него из-за пояса... Иногда проезжали бары, чиновники, купцы. В год или в два года раз в карете шестерней, цугом, провозили губернатора и архиерея. При этом ямщикам бывало немало хлопот: крестьянские лошади, не привыкшие к такой парадной езде, минутно сбивались, путались в постромах; ямщик кричал и трещал своим длинным арапником, а паренек, скакавший форейтором, чуть не ревел ревмя... В прежние годы придорожным бульваром иногда проводили медведя, и Мишка тяжело переваливался, идя на цепи за своим провожатаем. Как-то уже давно, лет тридцать тому назад, по «большой дороге» однажды провели даже одnogорбого верблюда, и это животное, — невиданное и неслыханное в нашей стороне, — произвело у нас на Васютине страшный переполох и повергло в ужас одну выжившую из ума старуху, принявшую его, кажется, за апокалипсиче-

ского зверя. Толпа народа шла вплоть до постоянного двора, где верблюд останавливался на ночевку...

На протяжении версты от деревни дорога извивалась широкой пыльной лентой, осененной по сторонам зеленью кудрявых берез, затем круто поворачивала на запад, а там, еще далее, пролегалла через кустарник и наконец уходила в лес.

В детстве для меня в «большой дороге» заключалась особенная прелесть, полная таинственности и очарований. Туманная даль, в которой пропадала дорога, какою-то невидимой силой привлекала меня, неотступно манила, звала к себе... Летним вечером, бывало, я любил сиживать при дороге, прислонившись спиной к белостолой березоньке, и смотреть на эту пыльную дорогу, по которой проезжало и проходило куда-то столько народа. И карета, тихо покачивавшаяся на своих рессорах, и лихая почтовая тройка, и арестанты в серых халатах, и странники, и убогие — все направлялись по этой дороге и скрывались в синевато-серой дали. Куда, зачем шли и ехали все эти люди? Куда они спешили? Кто их ожидал там? И я невольно засматривался в ту сторону, куда уходила дорога и где солнце по вечерам западало за лесистый край земли, надолго оставляя после себя на небе яркий отсвет. И подолгу задумчиво смотрел я в эту сияющую даль, и смутные думы, смутные образы пронесли в моей детской голове... Мне хотелось самому пойти по этой дороге, усаженной березами, пойти далеко-далеко вместе со всем людом, проходившим по ней. Мне хотелось дойти до конца ее и посмотреть, что там есть? Какие люди там живут и как живут?..

Дорога ведь уходила туда, куда заходило и солнце; дорога скрывалась в золотисто-розовой дали... И мне невольно думалось, что там, куда она уходит, должно быть очень хорошо, светло и радостно. Когда у нас на Васютине уже почти наступала ночь, там все еще горела заря, и долго-долго светила она там после того, как над нашими полями и болотами спускались полупрозрачные, синеватые тени летней ночи. Когда яркая полоса на западе потухала, вместо нее над темным лесом еще долго мерцал нежный, розовый свет. Зубчатые вершины еловых лесов, подернутых синеватой тенью, резко обрисовывались на ясном небе. В вышине проступали звезды, тихо мерцавшие

бледным, серебристым светом. От свесившихся надо мной зеленых ветвей веяло вечернею прохладой... Болото, лежавшее прямо против меня по ту сторону дороги, поросшее ивой, низким вереском и можжевелем, утопало в ночном сумраке, а на более низких местах и вдоль речки, извивавшейся по болоту между кустами ив и ольхи, полосами стлался белесоватый туман.

Давно уже прогнали домой деревенское стадо; треск бича уже замолк... А я все еще сидел под березой и, не то засыпая, не то бодрствуя, смотрел на пыльную дорогу, серую лентой извивавшуюся передо мной и пропадавшую в сумраке наступившей летней ночи. Как будто сквозь сон, слышал я доносившийся издали глухой лай деревенских собак, видел тройку «обратных» почтовых лошадей, шагом возвращавшихся домой, видел ямщика, развалившегося в телеге на охапке зеленого сена и напевавшего песенку. Я слышал ленивое позвякивание колокольчика, шуршанье бубенчиков, — и до меня доносились все одни и те же унылые слова:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя родимая...

II

Посреди Васютина есть небольшая площадка, а на ней стоит небольшая часовня. Крест и купол часовни покрыты белой, блестящей жстью, а кровля ее, стены и деревянная решетка вокруг — ярко расписаны зеленой, синей и красной краской. У дверей сбоку прибитая зеленая кружка для сбора пожертвований. Эта ярко расписанная часовенка невольно бросается в глаза и цветистым пятном резко отделяется на сером фоне окружающих ее крестьянских изб. В часовне стоят три потемневших образа, и перед ними висит большая медная лампада на заржавленной железной цепочке. В часовне постоянно — сумерки. Только два раза в год убогая внутренность ее ярко освещается лампадой и десятками восковых свечей; накануне Ильина дня, девятнадцатого июля, в ней служит всю ночь приходский священник, и в самый Ильин день служит

молебен. В Ильин день Васютино гуляет... Еще за неделю до праздника начинают сборы, варят пиво, закупают водку, моют и чистят избы. Три дня гуляет Васютино... Многие из ныне живущих васютинцев уже забыли, а иные и вовсе не знают, по какому случаю выстроена их часовня и почему так торжественно «справляют» они Ильин день...

Лет пятьдесят тому назад страшная гроза разразилась над Васютиным в Ильин день. Такой бури не запомнили самые древние старожилы. Среди белого дня стало темно, как ночью: вихрь вырывал деревья с корнем, сносил кровли, разрушал сарай и риги; градом выбило дотла не только хлеб, но даже траву на лугах; вода в реке замутилась и под напорами вихря плескалась далеко на берег. Молнии бороздили небо, и испуганным людям казалось, что небо, все полыхавшее огнем, раскрывалось над ними; какой-то зловещий, багровый свет обдавал деревню, поля, луга и леса кругом нее. Несколько человек было убито молнией, многие были оглушены... Люди метались, как угорелые, туда и сюда; то заберутся в избу, спасаясь от града, то из опасенья быть раздавленными в домах бегут на улицу. Думали, наступил конец свету... Вот после этого-то погрома васютинцы и решили выстроить часовню, поставить в ней образ Ильи Пророка и в молитве проводить двадцатое июля. Страшный погром понемногу забывался, и Ильин день мало-помалу превратился в обыкновенный пивной праздник, и едва ли найдутся теперь двое-трое из васютинцев, которые вспомнили бы в этот день об ужасах, пережитых их отцами полвека тому назад.

На площадке перед часовней, в праздничные дни, любит собираться народ; старики садятся на ступени часовни, а ребятишки возятся среди улицы. Площадка служила сборным местом для васютинцев еще более потому, что тут же, наискось против часовни, находились почтовая станция и при ней контора для приема и выдачи писем.

Старый, низенький, посеревший дом очень неказист на вид, и только стоящий у крыльца полосатый верстовой столб, слегка наклонившийся, указывает на то, что это — не простая крестьянская изба, а «почтовая васютинская станция». Такая надпись значится черными буквами на белой вывеске над входом, но зимний снег и осенние дожди смыли наполовину буквы,

и теперь их можно скорее угадывать, нежели читать... Зелено-вато-желтым мхом опушаются края ветхой станционной крыши. Некоторые стекла в окнах расцветаются всеми радужными оттенками. Крыльцо осело, опустилось, и колонны, поддерживающие крылечный навес, сильно покосились: не нужно было Голиафа для того, чтобы повалить их и разрушить все станционное крыльцо. От помоста, выложенного некогда перед станционным домом, уцелели лишь воспоминания да несколько полустгнивших жердей. У крыльца же, по другую его сторону, стоит фонарный столб, выкрашенный в зеленую краску, — нововведение позднейшего времени. Тут же рядом со станцией находится большой навес; под ним стоят почтовые тарантасы оглоблями вверх, сани всяких сортов, валяются дуги и кое-какая сбруя, стоят лагунки с дегтем и там и сям разбросаны охапки сена и соломы. По ночам куры спят на тарантасах, вместо нашестей; сюда же порой заходят овцы и телята попользоваться сеном или спасаясь от непогоды. Близ навеса — колодезь и при нем колода для пойла лошадей.

Васютинцы любят по вечерам усаживаться у станционного крыльца на лавочку и гуторить о своих деревенских делах. Здесь же от прибывающих ямщиков узнаются всякие новости и затем разносятся по околотку.

С детства знаком я с этим станционным домиком, — и словно теперь вижу его перед собой. Узкий коридор делил его на две части: дверь направо — ничем не обитая — вела в избу, в помещение смотрителя; другая дверь налево — обитая войлоком и клеенкой — вела собственно на «станцию», в комнаты для проезжающих. От маленькой передней была отгорожена часть под контору, или «конторку», как называли ее ямщики.

Эта каморка глядела сумрачно, потому что ее единственное окно выходило под навес. У окна стоял стол, покрытый черною клеенкой и уставленный письменными принадлежностями самого скромного вида. Линейка, закапанная чернилами, три гусиные пера, перочинный ножик и огрызок карандаша лежали на суконке перед чернильницей и песочницей. На столе всегда в величайшем порядке содержались книги для записи отпускаемых лошадей, а справа, под клеенкой, внимательный наблюдатель мог легко ощупать рукой знаменитую «жалоб-

ную книгу». На страницы этой ужасной книги проезжающие обыкновенно изливали свою ярость и негодование на станционные беспорядки... На стене, над письменным столом, висел засиженный мухами «Вечный календарь», а неподалеку от него помещались счеты. Перед столом стоял стул с плетеным сиденьем, довольно порванным и опустившимся. За стулом находился большой темный сундук, окованный железом. На дне этого сундука хранилось казенное станционное имущество: несколько дестей писчей бумаги, станционные книги и тетрадь для всяких записей, пачка штемпельных конвертов различных форматов, склянки с чернилами, палочки сургуча, печать, кусочки воска, веревки, клубок серых ниток, обрывки холста и т.д. Тут же хранились и письма, еще не взятые из конторы. Все это лежало в порядке, аккуратно разложенное по своим местам. Сундук запирался большим висячим замком... В «конторке» всегда припахивало сургучом, кожаными переплетами книг, серую бумагою; отдавало сыростью...

Для проезжающих предназначались две комнаты: одна — прямо из передней — довольно большая, в два окна, а другая, поменьше, в одно окно и с длинным жестким диваном, обитым черной клеенкой. Обе эти комнаты содержались в чистоте и опрятности. Посередине большой комнаты проходил половик — нечто вроде самодельного ковра. У стены стоял диван, а перед ним круглый стол, накрытый зеленой клеенкой. Над диваном висел портрет царя. В простенке между двух окон помещалось зеркало, — «зеркало с сюрпризом», как называли его проезжающие за то, что лица их в этом зеркале казались крупнее и полнее, чем были в действительности. Под зеркалом стоял другой стол, также накрытый клеенкой, а на нем обыкновенно помещались графин с водой, стакан, и на маленьком подносе лежали щипцы. В другом простенке красовалась старинная гравюра, изображавшая вид Кирилло-Белозерского монастыря. Задняя стена была увешана почтовыми расписаниями, извлечениями из почтовых правил и различными циркулярами, подписанными «директором почтового департамента». Окна в этой комнате были всегда чисты, а крашеный пол блестел и лоснился.

Проезжающих встречал здесь серый кот с чрезвычайно ум-

ной, серьезной и задумчивой физиономией. Он или терся, ласкаясь, у ног проезжающих, самым доверчивым и дружелюбным образом выгибая спину и поднимая хвост, или же сидел, прикорнув на подоконнике и поджав под себя все четыре лапы, и тихо мурлыкал свою бесконечную песенку. Путники, рассерженные чем-нибудь в дороге, в ответ на ласки, жестоко пинали бедного кота, потому что были сильнее его и чувствовали себя вправе поступать жестоко, а если бывали в духе — кормили серку кусочками белого хлеба и гладили его по мягкой, пушистой спине.

Осенью, когда бывал особенно большой разгон лошадей, проезжающим нередко приходилось подолгу сидеть на станции. Скучая, смотрели они в окна на грязную деревенскую улицу и на проходивших баб и мужиков, месивших ногами жидкую грязь. И ходили они от окна к окну, проклиная дороги, проклиная станцию и зрителя, не дававшего им лошадей; громко позевывая, читали циркуляры, почтовые объявления и с горя приказывали подавать самовар. Весело и бойко кипящий самовар разгонял немного их хандру, и тусклые лица их мало-помалу прояснялись, а злая, ироническая улыбка смягчалась, — может быть, при воспоминании о другом чайном столе, более привлекательном и более уютном, чем этот круглый станционный стол со своей зеленой клеенкой... Слышно было, как ямщики шумели и бранились, смазывая тарантасы; наконец начинал позванивать колокольчик, — лошадей подавали к крыльцу, и путники, забрав свои пожитки и не взглянув на комнату, давшую им временный приют от непогоды, спешили садиться в тарантас и катили далее. За ними являлись другие, третьи... Станционный домик всех принимал гостеприимно и радушно, несмотря на свою казенную обстановку. А они, проезжие — эти неблагодарные люди, — только бранились и ворчали...

III

Был у нас почтовым смотрителем Иван Петрович Прокофьев, человек смиренный, тихий, воды не замутивший ни разу на своем веку. Его звали у нас на деревне просто «Петровичем» или «чиновником», — ради его форменного сюртука с медными

пуговицами. Это был, поистине сказать, несчастный человек. У него было такое злополучное лицо, что из ста человек, посмотревших на него, наверное девяносто с полной уверенностью сказали бы про него, что он — пьяница. У проезжающих даже составилось о васютинском зрителе такое мнение, что он «пьет без просыпа», что он «вечно пьян как стелька». А между тем в действительности Прокофьев пил очень умеренно, да и то лишь в праздники, в почтенной компании.

Проезжающих вводило в заблуждение его лицо — бледное, как бы испитое, его тусклые, покрасневшие глаза, его красно-сизый нос, напоминавший собой грушу, его волосы какого-то неопределенного, желтовато-рыжего цвета, лезшие ему прямо на лоб и на глаза, его торчащие усы и часто небритый подбородок, покрытый словно щетиной. Вообще все его невзрачное лицо казалось каким-то выцветшим, полинявшим, — и человек, незнакомый с Петровичем, при взгляде на него невольно искал на его лице синяков, царапин, фонарей и тому подобных примет, обыкновенно украшающих собой лица пьяниц. Его старое, поношенное платье производило на зрителя такое же невыгодное впечатление, как и его лицо. Форменный сюртук, вытертый донельзя, позеленевший от старости, побелевший по швам и лишенный двух или трех медных пуговиц, потертые, короткие штаны, не доходившие до пят, и скрипучие, неуклюжие сапоги не выставляли в лучшем свете фигуры Петровича, не придавали ей привлекательности.

Когда же проезжающие являлись ночью и Петрович бывал застигнут врасплох, тогда он являлся в еще более непрезентабельном виде. Непричесанные волосы будоражились на его голове и лезли во все стороны, словно их кто-нибудь только что взьерошил; форменный сюртук был в пыли, в пуху, а заspanные глаза придавали Петровичу еще более вид пьяного, неспавшего человека. Когда он являлся к проезжающим, еще пошатываясь со сна, торопливо застегивая дрожащими руками свой «вицмундир» и невольно щуя глаза при переходе из потемков к свету, проезжающие брезгливо отворачивались от него, ворча вполголоса: «Пьян!..» А у Петровича, может статься, более месяца как во рту не бывало и капли вина. Уж правда, что «наружность иногда обманчива бывает»... Более трезвого

человека трудно было найти в почтовом ведомстве Российской империи, а между тем никогда еще, кажется, ни один завзятый пьяница смотритель не внушал проезжающим такого отвращения, как наш бедный Петрович. Он был без вины виноват — только тем, что природа сыграла с ним злую шутку, наделив его, трезвого человека, физиономией горького пьяницы.

Он был сын почтальона и сам начал свою карьеру почтальоном, трясаясь на почтовой телеге от города до города; из почтальонов он наконец дослужился до смотрительства. В описываемую пору ему было около пятидесяти лет, и из них двадцать восемь лет он провел на службе. Уже пятнадцатый год он служил у нас смотрителем и три года тому назад получил первый чин — коллежского регистратора...

Уже будучи смотрителем, он женился на дочери одного сельского священника, имевшего шестнадцать человек детей обоего пола. Петрович в ту пору был по-своему счастлив, но счастье его продолжалось недолго...

Через десять лет тихой и скромной супружеской жизни жена его вдруг заболела страшным душевным недугом, оставив на его попечение трех сыновей и дочь — малютку по второму году. Несчастная женщина, уже будучи больною, два года еще жила в семье. Не мог Петрович расстаться с нею, все тешил себя надеждою, что авось она поправится и они по-прежнему заживут хорошо. Много горя принял от нее Петрович в эти два года... Она была женщина слабого здоровья, очень религиозная, добрая, чувствительная, и теперь в сумасшествии постоянно всем говорила, что она — страшная грешница и муж ее также великий грешник.

— Мы с тобой живем не по правде! — говорила она мужу, строго смотря на него в упор своими безумными очами. — По какому праву мы этак наряжаемся с тобой? Как мы можем наряжать так своих ребят, когда у иных совсем нечем прикрыться?.. Ой, Петрович! Уж доживем мы с тобой до великой беды! Вот помни мое слово! Погоди!.. Пропадем мы за свое окаянство, как черви придорожные!

Петрович — бедняга — только ежился и ужасно смущался, слушая такие речи. Он не на шутку трусил, когда жена его

принималась за свои «страшные слова», и просто не знал куда ему деваться. Но он чувствовал себя еще хуже, ему становилось еще более жутко и «не по себе», когда жена начинала плакать и тосковать. В такие минуты он совершенно терялся и сам готов был плакать. Губы его дрожали, и он начинал усиленно крутить нижнюю пуговицу своего несчастного вицмундира.

— Петрович! — тихо говорила она, грустно смотря на него сквозь слезы. — Голубчик мой... Покаемся! Покаемся, Христа ради... Хотя ради ребятишек... Смотри, ведь и на них горя хватит! Много горя на свете, не изжить его... Успокой ты меня! Покаемся, Петрович! Простимся, — раздадим имущество бедным...

Она говорила тихо, но страстно, с жаром искреннего увлечения.

— Что ты, Катя, господь с тобой! — чуть сам не плача, усовещивал ее Петрович. — Какое же у нас с тобой имущество! И разве сами мы не бедные?

— Нет, Петрович... не бедные! — упорно настаивала она, горько вздыхая и качая головой. — Вон у нас есть и самовар, и стулья, и всякое платье. А у бедных ничего нет... Они живут в холоде, в голоде...

И несчастная страдальца мучилась невыразимо.

— Чужую долю мы заедаем! — постоянно повторяла она шепотом, уныло сидя у окошка и глядя невесть куда — не то на соломенные крыши деревенских изб, не то на облака, низко ходившие над ними.

Бледная как смерть, худая, изнуренная, с белокурыми, распущенными волосами, по целым дням не бравшая ни крошки в рот, сидела она на своем стуле у окна, низко понутив свою нечесаную голову, беспомощно сложив руки на коленях и вся как будто опустившись. А бледные губы ее между тем все что-то шептали... Так изнывала она изо дня в день — целые месяцы и годы, — не присматривая за детьми, не заботясь о муже, вообще не обращая ни на что внимания и вся углубившись в свой призрачный мир — в свои безумные грезы...

Петрович страдал вместе с нею, глядя на ее душевные муки и не зная, как помочь ей, чем облегчить ее страдания. При этом он и боялся за нее, опасаясь каких-нибудь безумных выходов

с ее стороны, и старался по возможности не спускать ее с глаз. Но не всегда же он мог уследить за ней. Хотя у почтового смотрителя не бог весть какие дела и обязанности, а все-таки он не сидит сложа руки. К тому же Петрович должен был, по болезни жены, сам вести свое немудрое хозяйство и приглядывать за детьми. Устанет человек за день, измучится, заснет... А жену иногда и ночью сон не брал, — полежит час-другой с открытыми глазами, вскочит и заходит по комнате, как тень, или сядет у окна, понурится, съежится вся и, перекинув ногу на ногу, быстро, усиленно качает ногой как бы в такт мыслям, толпившимся в ее бедной, расстроенной голове.

Тайком от мужа, бывало, зимой, в сильную стужу, убегала она в церковь к обедне, версты за три, и там, ставши в притворе вместе с нищими и убогими, по целым часам простаивала на коленях, припав пылающим лбом к холодным церковным плитам и молясь горячо, от души. В эти минуты она, по-видимому в каком-то исступлении, забывала все окружающее, ничего не видя и не слыша... Крупные слезы катились по ее изможденному лицу, глаза устремлялись вверх, и смутная, неуловимая улыбка, как солнечный луч сквозь туман, мелькала на ее побледневших губах.

Однажды, когда муж не доглядел, больная, совсем раздевшись, вышла на улицу и, с чисто детской наивностью кланяясь на все четыре стороны, громко объявила, что она — по заповеди Христа — навсегда отказывается от всякого имущества, отрекается от мужа, от семьи...

— Простите меня, православные! Грешная я — недостойная... — обливаясь слезами, говорила она людям, случившимся в это время на улице.

Кумушки-соседки насилу утащили ее в дом и насилу кое-как одели ее.

В другой раз какая-то добрая душа подарила детям ситцу на рубахи. Она тайком подобралась к этому ситцу и весь изрезала его ножницами на мелкие куски... Каким-то проезжающим она принялась было читать проповедь о грехах, — и вышел бы скандал, если бы проезжающим не объяснили, что она — женщина больная... Порой находили на нее припадки бешенства; тогда гнала она от себя мужа, детей, рвала и метала; кроткая, сми-

ренная женщина вдруг превращалась в какое-то бешеное, разъяренное чудовище. Но проходили эти тяжелые минуты, больная успокаивалась, забивалась куда-нибудь в уголок и молчала по целым дням. Припадки стали повторяться все чаще и чаще. Больная стала служить предметом насмешек для деревенских зубоскалов. Петрович стал побаиваться за детей: «Как бы сумасшедшая не сделала с ним чего-нибудь!» Нанять же прислугу для присмотра за больной было не на что...

Скрепя сердце Петрович должен был отвести больную в город, в дом для умалишенных. Возвратившись домой в свою пустую избу, он сел на лавку и, свесив голову на руки, горько заплакал... Десять счастливых лет прошли как сон; после них он два года маялся, глядя на больную жену, — и вот теперь остался окончательно один-одинешенек со своими ребятами. Взял он на руки малютку девочку и, посмотрев на детей, промолвил вполголоса:

— Нет у вас мамы... Что теперь буду я с вами делать?..

Мальчики видели, что отец расстроен, плачет, и молча стояли подле него. Через минуту, однако, младший из мальчуганов обратился к нему как ни в чем не бывало...

— Дай мне бумажки — змей сделать! — умильно проговорил он.

Петрович только рукой махнул...

IV

С семьей на плечах Петрович чувствовал себя теперь совсем несчастным человеком. Но он был живуч, не унывал, стал работать за троих. Какая-то старуха бобылка за полтинник в месяц взялась варить ему похлебку и печь хлеб. Петрович был беден. Он получал жалованья двенадцать рублей двадцать пять копеек в месяц да готовую квартиру и дрова. Дрова, впрочем, в нашей лесной стороне не стоили почти ничего, а квартирой ему служила простая крестьянская изба с закоптелыми стенами, с черной русской печью, с полатами, с лавками вокруг стен и с тараканами во всех щелях. При жене у окон висели красные кумачные занавески, а на подоконниках стояли цветы в горшках и в кринках, за неимением горшков. Во время же

болезни жены цветы подолгу не поливались; они засохли и погибли, — и только каким-то чудом из них уцелели герань и кустик резеды. Занавески уже давно пошли на рубашки детям... В избе было не всегда опрятно. У Петровича рук не хватало. Он заботился о том, чтобы содержать в чистоте комнаты для проезжающих. «А сам-то уж как-нибудь...»

На двенадцать рублей приходилось жить с семьей — кормиться и одеваться. Днем справляя свои смотрительские обязанности, Петрович урывками, в досужие минуты, сам обшивал ребят, сам бегал на речку стирать белье, а вечером или ночью, как случится, мыл полы у себя в конторе и в комнатах, вытирал окна, сметал пыль с мебели, приводил в порядок свои станционные книги, писал «отношения» по начальству, ответы на различные запросы и тому подобное. И поздно за полночь, когда ребяташки уже спали спокойным сном — кто на печи, кто на полатах, Петрович за столом у мигающего ночника корпел за работой. То он что-нибудь строчил «по службе», то неумелой рукой дочинивал свой вицмундир или рубаху.

От постоянной усталости, от бессонных ночей, от тревог и беспокойства за детей, от горя — побледнел, осунулся Петрович; глаза его покраснели и затускли, и весь он как будто съежился и полинял. Мы, васютинские жители, знали все это, а проезжающие не могли знать и в душе ругали его «канальей» и «пропойцей». Начальство, сделавшее Петровича смотрителем, знало его за трезвого, аккуратного и исполнительного человека. Но начальство не знало, что этот старый, верный служака, не укравший во всю жизнь куса казенного сургуча, был нищий. Начальство не знало, что почтовый смотритель, сняв свой вицмундир, босой, засучив по локоть рукава рубахи и вооружившись грязной мочалкой, мыл на станции пол. Начальство не знало, что смотритель, облачившись в розовую ситцевую рубаху на выпуск и подпоясав ее мужицким поясом, носил на руках свою малютку дочь, а младшего сына водил за руку к речке, протекавшей за Васютиным, и там, как добрая нянюшка, мыл ребят. Начальство, вероятно, ничего подобного не видело на своем веку, ничего не подозревало и не знало, что «чиновники» занимаются прачешным делом, портняжеством, судомойничеством и прочим.

Смотрители, как уже сказано, получают очень маленькое жалованье. А между тем в среде их часто встречаются люди семейные. На один хлеб в месяц идет половина жалованья. На остальные деньги нужно купить какой-нибудь приварок, нужно одеться, одеть семью; при этом нужно еще считать всякие непредвиденные расходы, как, например, вроде покупки лекарства и тому подобное. О смотрителях не говорят, не пишут... Это жалкие, заброшенные, богом и людьми забытые люди. Почтовый смотритель беднее, в сущности, всякого бедного мужика: у мужика есть земля и — по закону — никто не может ее отнять у него. А наш смотритель? Лишившись места, куда пойдет он, несчастный чиновник, с двенадцатью рублями жалованья в кармане? Чем станет он кормить семью, если бог наградил его таковою? Он может смело рассчитывать только на три аршина кладбищенской земли...

Тяжело, не радостно положение смотрителей вообще; положение же Петровича было поистине трагическое, ужасное положение. Поставьте, читатель, себя хоть на минуту в его положение!.. Петрович должен был прежде всего исполнять свои обязанности и угождать начальству; затем он должен был ладить с содержателями почтовых лошадей — с зажиточными крестьянами, «гонявшими почту» по контракту; в-третьих, должен был угождать «публике», то есть проезжающим.

Он мог бы не наблюдать за тем, чтобы содержатели в точности исполняли условия, заключенные с казною, и за это мог бы надеяться получать от них небольшие подачки, попросту сказать, мог бы брать взятки. Но зато в таком случае он не мог бы угодить проезжающим, должен был бы притеснять их, отказывать в лошадях, божиться, что лошадей нет, в то время как лошади стоят на дворе, или должен был бы отпускать проезжающих на каких-нибудь хромых, увечных клячах, которые, не добежав до следующей станции, ложились бы среди дороги, предоставляя ямщикам бить себя, а путникам — добираться до станции путем пешего хождения. Но Петрович знал, что начальство поставило его для служения «публике», за что и выдавало ему по двенадцати рублей в месяц. Петрович не мог кривить совестью и, несмотря на свою бедноту, не брал взятки

с содержателей. Он не смотрел сквозь палыцы на их проделки, постоянно воевал с ними и требовал неуклонного, точного исполнения условий. Содержатели мстили ему как могли: писали по начальству жалобы на него, строчили доносы — словом, кляузничали. Начальство, не брезгавшее приношениями содержателей, хмурилось на Прокофьева, делало ему выговоры, но стереть его с места не могло, потому что он был прав и все доносы его недоброжелателей оказывались вздором.

Но и проезжающим — так же как содержателям — Петрович иногда не мог угодить, несмотря на все свое желание. Иным господам положительно невозможно было растолковать, что лошадей свободных действительно нет; что все лошади — «в разгоне». Напрасно Петрович показывал им книги, указывал на число лошадей, содержащихся на станции, на число лошадей, ушедших «с работой» (то есть с проезжающими) или возвратившихся, но еще отдыхавших определенное число часов. Напрасно распинался Петрович... Самый благодушный путешественник при взгляде на его несчастную физиономию чувствовал уже к нему предубеждение. Люди же раздражительные просто не выносили его. Физиономия Петровича служила для них тем красным лоскутом, которым в Испании во время боя быков приводят животных в бешенство... Петровича не слушали, и даже если бы он заговорил языком ангелов, то и в таком случае едва ли рассерженные проезжающие обратили бы на него внимание. На него кричали, к нему подступали с кулаками, а он невозмутимо стоял, вытянувшись у притолоки в своем форменном сюртучишке, заложив один палец за пуговицу и покорно принимая на свою склоненную голову все неприятности как нечто должное, неминуемое.

Уйдя за перегородку в свою «конторку», он явственно слышал, как иной сердитый путешественник, расхаживая по комнате, изволил шипеть на его счет:

— Пьяницы проклятые... Дармоеды!.. Все заодно с ямщиками... Тьфу!

Много без вины терпел Петрович от проезжающих, и от содержателей, и от мелкого начальства. Зато мужики любили его за простоту и уживчивость.

— Петрович у нас — золото! — говорили про него в деревнях. — Никого никогда не притеснит, не обидит... Только его самого не трожь!

Наш Петрович не гордился своим чиновничеством, охотно воеводил знакомство с крестьянами, и когда ему, бывало, грозила беда неминуемая — чуть не голодная смерть, крестьяне являлись на выручку. И Петрович, совершенно растроганный, никогда не отказывался от их скромных даяний. Он даже как будто с каким-то благоговением брал от них мерку ржи или овса, десятков яиц, конец холстины или моток суровых ниток. Петрович очень хорошо знал, что все эти приношения доставались крестьянам дорогой ценой, и он ценил их не по рыночной цене, а так же, как была оценена в евангельской притче лепта вдовицы. Это были не взятки, а добровольные даяния...

— Да я скотина, что ли? Разве же я не чувствую!.. Нет! Вот они у меня где... — с жаром говорил он, стуча себя в грудь кулаком.

Он писал крестьянам письма, читал им случайно попадавшие в руки разрозненные номера газет, пояснял прочитанное, толковал с ними о деревенских делах, и васютинцы охотно заходили к нему на перекуток, несмотря на то что «изба его была не красна углами», и часто по вечерам собирались они на ступенях станционного крыльца.

V

Петрович всю жизнь перевертывался из кулька в рогожку. Вся жизнь его походила на «Тришкин кафтан»... То в одном ощущался недостаток, то в другом оказывалась недохватка. Но Петрович был великий человек, несмотря на то что назывался простым почтовым смотрителем; он был велик потому, что не унывал, потому что у него была прекрасная, мужественная душа.

Кроме того, что он сам делал на станции все что мог, Петрович измышлял еще всевозможные источники для пропитания. Ведь за него никто не думал и не предлагал ему пропитания. И вот он ловил рыбу вершами, удил, ставил в лесу силки на птиц, ходил в лес за ягодами, за грибами... Впрочем, собирание

грибов служило для него отдыхом и единственным развлечением в жизни. Избавившись от форменного сюртука, облачившись в рубаху, засучив штаны чуть не до колен, а сапоги оставив из экономии дома, отправлялся Петрович в лес; на одной руке у него висела корзина, а другою он опирался на палку.

— За грибами бог понес? — окликнут, бывало, его из окна.

— За грибами! — весело ответит он и — довольный, сияющий — направляется к лесу.

В лесу Петрович совершенно преображался. Глаза его смотрели веселее обыкновенного, губы улыбались, и наивная детская радость светилась на его лице, разгоревшемся от ходьбы и волнения... Я иногда ходил с ним в лес и удивлялся тому чисто детскому восторгу, который испытывал Петрович под зеленою сенью леса. Надо было видеть, с каким живейшим наслаждением осматривался он по сторонам! Увидав, например, в траве красноголового боровика, он радостно подходил к нему, наклонялся и, полюбовавшись, осторожно брал его и опускал в корзинку. Он на эту пору как бы обращался в ребенка и от полноты чувств принимался рассуждать вслух и разговаривать с грибами, как будто те могли понимать его.

— Э-э, голубчик! Ты чего прячешься там от меня? Иди-ка, иди сюда! — говорил Петрович, заметив среди мха под валежником какой-нибудь хороший гриб.

— Тебя, брат, не надо... Оставайся, где стоишь! Такие старики, как ты, не годятся в дело, — замечал он, найдя старый гриб, источенный червями.

Иногда мы присаживались отдыхать на кочку или на древесный пенек. Тогда Петрович опускал корзину наземь, снимал фуражку и, опершись на свою палку, вел со мною тихие речи... Иногда, под влиянием тихой грусти, он начинал мурлыкать вполголоса знакомую, старую песенку:

Ямщик лихой — он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши,
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души.

Сдвинув фуражку на затылок, он иногда подолгу задумчиво

смотрел на вершины деревьев, обступавших нас со всех сторон, смотрел на голубое небо, сквозившее из-за листвы над его головою. Порой глаза его вдруг затуманивались, словно их заволакивало слезами, и губы его слегка дрожали. И Петрович тяжело вздыхал... Может быть, смотря на ясное голубое небо, он вспоминал голубые глаза своей молодой жены, до ее болезни, — глаза, светившие ему в течение нескольких лет, помогавшие бороться с горем и нуждой, делившие с ним и радости и печали...

Так и жил Петрович терпеливо, смиренно, не ожидая в будущем ничего лучшего. Чего же лучшего может ожидать почтовый смотритель? Крестьянин может ожидать хорошего урожая, купец — барышей, адвокат может ждать увеличения числа преступлений, аптекарь — усиления болезней, городской чиновник — наград и повышений; даже ссыльно-каторжные могут ожидать помилования или, по крайней мере, смягчения своей жестокой участи, а нашему почтовому смотрителю, «двенадцатирублевому чиновнику», неоткуда и нечего ждать. Он забыт. Даже газеты не поднимают о нем вопроса...

Петрович знал, что и далее — еще, быть может, многие годы — до самой смерти он будет терпеть нужду, выносить брань проезжающих и всякие притеснения, будет вечно работать, голодать и недосыпать, станет строчить отчеты, подводить итоги, писать «отношения» и «объяснения», запечатывать конверты, принимать и отсылать письма, встречать и провожать проезжающих, — знал все это и не унывал. Лучше не будет... Ожидал ли он худшего — неизвестно... Но беда нагрянула на него неожиданно-негаданно для всех нас.

Пронесли слухи, что в нашей стороне ожидали проездом нового губернатора, отправившегося ревизовать вверенный его попечениям край. Петрович, разумеется, привел в отличный порядок обе комнаты для проезжающих, вымыл сени и даже крыльцо. Станционные книги также были тщательно пересмотрены. Лошади стояли наготове; ямщикам было строго наказано: по возможности — воздерживаться от водки. Петрович и свою особу привел в надлежащий порядок: подстриг свои взъерошенные волосы, зачинил кое-как форменный старый сюртук, пришил недостающие пуговицы, самым добросовестным

образом вычистил их тертым кирпичом, а сапоги тщательно смазал деревянным маслом и натер их сажей. По его мнению, в таком виде он должен был показаться губернатору настоящим франтом... Вообще за это время ему было много беспокойства и тревог... Но губернатор не ехал. Прошли слухи, что он отдумал и отложил ревизию. Потом, спустя несколько времени, опять заговорили, что «губернатор едет»...

Однажды в конце августа выдался денек теплый и ясный. Петрович отправился в лес за грибами — «освежиться», как он сам говорил, — и воротился уже вечером с полной корзиной и в полном удовольствии. Поужинав и уложив детей спать, он зажег у крыльца фонарь, замкнул дверь в избу на крючок и сам завалился на боковую. Устав за день, он скоро заснул крепким, мертвым сном...

И приснилось ему, что идет он из леса с грибами, вдыхая в себя с наслаждением полную грудью теплый осенний воздух, пропитанный запахом увядающих цветов и трав. Вдруг, к неопisanному ужасу его и смущению, навстречу ему — губернатор, в полной форме, в ленте, орденах и в каске с развевающимся султаном. Губернатор большими шагами идет по полю, направляясь прямехонько к нему — к Петровичу, — и синеватого сукна шинель его широко распахивается по ветру. Особа — внушительная... Лицо — такое величественное, серьезное. Петрович вытягивается перед ним в струнку, не выпуская, впрочем, из рук ни палки, ни корзины с грибами. Он страшно сконфужен тем, что губернатор застал его в таком виде — в рубашке, босиком, с засученными штанами и с дырявой корзиной в руках. «Что-то будет! — с трепетом мысленно восклицает он, — Погибель моя пришла...» В холод и в жар бросает Петровича. От смущения он не знает, куда ему деваться; руки машинально дергают пояс. Он не смеет взглянуть на губернатора. Ноги как свинцовые, точно к земле приросли... Но губернатор, остановившись, обращается к нему с одобряющими словами:

— Прокофьев! — звучным голосом говорит он. — Ты — хороший служака, ты исправно делаешь свое дело... Я знаю! Не стыдись же своей бедноты! Если ты находишь время ходить в лес за грибами, то это весьма похвально. Одобряю... Я сам люблю ходить за грибами. А за твою честность и неподкупность я тебя...

В ту минуту Петровичу послышался сильный стук, как бы доносившийся откуда-то издалека. Он раскрывает глаза и прислушивается. Стучатся к нему в дверь, стучатся неистово, — на дворе слышны побрякивания колокольчика, говор и шум.

— Господи помилуй! — в испуге вскричал Петрович. — Вот разоспался-то...

Он подбежал к двери и спросил:

— Кто тут? Чего надо?

— Иди скорее!.. Губернатор... сердает... — вполголоса ответил ему ямщик из-за двери.

Петрович бросился одеваться, и — как обыкновенно водится второпях — все у него не клеилось: то не может сапога найти, то никак в рукав не попадет, то пуговица заскочит не в ту петлю, в какую бы следовало. Пока он достал огня, оделся на скорую руку в свой «вицмундир» и явился на крыльцо перед светлые губернаторские очи — прошло несколько минут.

Губернатор — высокий, видный мужчина, с военной осанкой — стоял у коляски, пока ямщики сутились около лошадей. При появлении зрителя, представившегося ему с низкими поклонами, губернатор нахмурился и строго посмотрел на него.

— Пьян? — лаконично спросил он суровым тоном.

— Никак нет, ваше превосходительство, — дрогнувшим голосом промолвил Петрович. — Извините... только заспался...

— И видно, что не пьян! — сердито заметил губернатор. — По лицу видно... Ну, ну, не рассуждать! — прикрикнул он, заметив со стороны Петровича робкое поползновение вставить слово в свое оправдание.

Петрович замолчал и только вздохнул исподтишка. Злополучная физиономия и на этот раз удружила ему. «Лучше бы мне с таким рылом и на свет не родиться!» — с горечью подумал он.

— Смею просить... — немного погодя заговорил Петрович. — Не угодно ли вашему превосходительству пока пожаловать в комнаты... А мы тут сейчас... живой рукой...

Губернатор даже не ответил бедняге и молча повернулся к нему спиной. А Петрович втайне надеялся, что губернатор, увидав чистенькие, светлые станционные комнаты и заметив порядок, царствующий на станции, смиростивится хоть

немного над смотрителем и не зачет ему в большой грех ни его гнусной рожи, ни того обстоятельства, что смотритель не встретил его как подобает, на крыльце. Но тут Петрович должен был признаться, что начальство во сне гораздо добрее, чем в действительности. Во сне губернатор обласкал его, а наяву губернатор даже не «плюнул» в ответ на его любезное приглашение — пожаловать в комнаты. Чтобы не оставаться без дела и показать свое усердие, Петрович схватил фонарь, стоявший на земле, и принялся светить ямщикам, которые смазывали салом колеса губернаторского экипажа.

Августовская ночь была темна, — для Петровича она казалась еще темнее обыкновенного. Черные, мрачные облака низко нависли над соломенными крышами крестьянских изб. Фонари у коляски сверкали во мраке, как два огненные глаза; фонарь горел у станционного крыльца, другой фонарь был в руках Петровича. Но свет фонарей мерцал слабо и еще пуще, казалось, сгущал мрак, заливавший со всех сторон эту несколько фантастическую сцену. Красноватый огонь фонарей беглым, трепетным светом озарял то колесо, то загорелое, темно-бронзовое лицо ямщика, наклонявшегося над осью; немного в стороне мелькал белый круп лошади, помахивавшей хвостом; ямщики, как тени, сновали в полумраке, вполголоса переговариваясь между собой. Вообще вся картина являлась какою-то призрачною, а Петровичу со сна она просто казалась неприятным кошмаром...

Губернатор, запахнувшись в шинель, стоял неподвижно, прислонившись к крылечным перилам, и серые глаза его сердито смотрели из-под околыша форменной фуражки. Эти сердитые глаза и крепко сжатые губы предвещали кому-то беду... Петрович искося, с страшной тревогой, поглядывал на губернатора и переживал мучительные, адские минуты. «И вздумалось же ему прислониться к гнилым перилам... Вот напасть! Ну как обломаются! Ну как он свалится!.. О господи, спаси и помилуй!..» И Петрович при этом рассеянно махал фонарем туда и сюда. Губернатор заметил, что он светит не там, где ямщики более нуждались в фонаре, и вдруг, подойдя к Петровичу, с силой дернул его за рукав.

— Да проснись же! Не сюда светишь... Вот куда надо, вот, вот! — говорил он, дергая Петровича за рукав.

Злополучный рукав, еще недавно так старательно зачиненный Петровичем, не выдержал прикосновений здоровой, могучей губернаторской руки и с треском лопнул по шву, — так что едва-едва на ниточке удержался на плече.

— Получше-то сюртука нет? — крикнул губернатор.

— Нету, ваше превосходительство! — отвечал Петрович, усиленно заморгав глазами.

Жгучие слезы подступили ему к горлу. «Все беды сегодня на меня обрушились!» — думал он, придерживая оторванный рукав и продолжая светить ямщикам. Губернатор между тем проворчив что-то о пьянстве, отошел опять в сторону. Уже сядясь в коляску и занеся ногу на подножку, он вынул из кармана записную книжку с маленьким карандашом в золотой оправе и спросил, не обращаясь ни к кому в особенности: «Как называется эта станция?»

— Васютино! — отвечало ему разом несколько голосов.

Губернатор что-то черкнул в записной книжке и сел в коляску, не удостоив никого взглядом. Смотритель глубоко вздохнул, смотря вслед отъезжавшей коляске...

«Столько труда, беспокойств, столько приготовлений — и к чему все это... Все равно — „не угодил“...»

— Прощтрафился, Иван Петрович! Экое дело, подумаешь... — соболезнующим тоном говорили ямщики.

Петрович и сам чувствовал, что он «проштрафился», — и тяжело было у него на душе. Зловещие предчувствия осаждали его. «Быть беде!» — говорил он про себя, ложась снова спать, но сон уже не шел. Петрович напрасно проворочался остаток ночи на своем жестком, одиноком ложе.

VI

Предчувствия сбылись...

Недели через две после проезда губернатора получена была из города роковая «бумага»: смотритель Васютинской станции, коллежский регистратор Иван Петрович Прокофьев переведен в почтальоны на один из самых захолустных трактов...

Было дождливое сентябрьское утро, когда Петрович отправлялся из Васютина на место своего нового служения. По обык-

новению, он был не пьян, но более обыкновенного походил на пьяного. Глаза его были красны — то ли от слез, то ли от ветра. Все утро он бегал туда и сюда.

— Вот, брат! — говорил он одному старику, пришедшему провожать его. — Опять дослужился до почтальонского звания, опять будем трястись на тележке! С чего начал, на том, видно, и помереть...

Бледная, грустная улыбка мелькала на его губах.

— Да! Вот она — ваша служба-то! — отозвался старик, качнув головой.

Мелкий осенний дождь моросил с заоблачившего неба, холодный ветер проносился по улице. Желтый лист, сорвавшись с деревьев, кружился в воздухе и падал на мокрую землю. Пестрая часовня на площадке глядела невесело в это ненастное утро. Точно теперь я смотрю на Петровича... Иззябший, с красным лицом, в форменном сюртуке и в каком-то жалком пальтишке, бегал он и сутился около телеги, в которую укладывал весь свой убогий скarb и усаживал ребят. Наконец, попрощавшись со всеми, он уселся в телегу — и лошадь тронулась шагом.

Скоро телега скрылась за белесоватой сеткой дождя, словно потонула в серой мгле, заливавшей «большую дорогу».

С тех пор мы уже не видели Петровича. Но мы нередко вспоминаем о нашем старом смотрителе, бегавшем босиком в лес за грибами и не брезгавшем беседовать с мужиками «по душе»...

— Жаль, жаль Петровича! — говорят васютинцы, — Хороший человек был... простой!

Степан Гаврилович Петров-Скиталец

Полевой суд

С. П. Петров (1868—1941, псевд. Скиталец) родился в семье отставного солдата, в детстве аккомпанировал отцу, певшему в трактирах и ресторанах. Рано открыл в себе поэтический талант, любовь к фольклору. Из Самарской учительской семинарии был исключен за неблагонадежность, скитался по Поволжью. Печататься начал в 1894 г. В 1898 г. познакомился с М. Горьким, испытал его влияние. Впоследствии писателей связывала крепкая дружба. Неоднократно арестовывался за антиправительственную пропаганду. В 1908 г. отошел от активной литературной деятельности, но до революции и в советское время продолжал работать корреспондентом различных периодических изданий. Рассказ-пригвч «Полевой суд» был напечатан в сборнике «Знание», издававшемся Горьким (1905, кн. 7).

За Жигулевскими горами прячется маленькая речка Уса. Начинается она в лесу, около села Переволоки, в полуверсте от берега Волги, течет меж гор навстречу ей, похожая на ее отросток или «ус», и, перерезая наискось Самарскую луку, впадает в Волгу верст на двести выше, около Молодецкого кургана.

Если от Переволок ехать по этой реке, а не вверх по Волге, то можно через несколько часов очутиться по другую сторону луки и таким образом, плывя по течению, впятеро сократить расстояние.

В старину Усой пользовались волжские разбойники: они нападали на караваны около Переволок; если суда убегали от них, то переволакивали свои челноки на Усу, обгоняли суда и вновь грабили их у Молодецкого кургана.

И река Уса до сих пор сохраняет свой прежний разбойничий вид: она течет в жигулевских дебрях, меж скал и ущелий, дикая, безлюдная, то исчезая в лесу, то снова внезапно появляясь, то широкая и спокойная, то как бурный поток мчится по зубчатым порогам. Высокие крутые берега ее покрывает старый сосновый бор, и ни разу нигде не встречается жилья человеческого. И тихо бывает кругом, когда плывешь по ней на челноке с ко-сым волжским парусом. Места здесь все заповедные, леса — дремучие, и стоят заросшие лесом горы все такими же дикими, как и сотни лет назад. Что ни дальше плывешь по Усе — берега идут все выше и угрюмее: река бежит под висящими скалами по темному ущелью, на дне пропасти; высоко в небе громоздятся скалистые вершушки гор, похожие на зубчатые хребты сказочных чудовищ или развалины замков, а старые

сосны, качаясь от ветра, гулко поют буйные песни или угрюмо шепчут друг другу жуткие разбойничьи сказки. Ветер в этом ущелье ежеминутно меняется, из-под каменных берегов звенят подземные ключи и чернеют пещеры, полные темной воды.

Стоит на Усе высокая обрывистая Девичья гора; по преданиям, с нее когда-то, сотни лет назад, сбросили девушку в Волгу, невинную чистую девушку; и с тех пор каждую весну горит село Девичье, горит весеннею ночью, а на горе, в зареве пожара, видят будто бы люди ее огненный мстительный образ. Уже позабыто теперь, за что ее сбросили...

Есть тут урочище Воеводино: стоял над Волгой красный терем с высоким окном, воеводин терем, и любила жена воеводы удалого разбойника, на легкой лодочке приплывал он к ней, свистал по-соловьиному, в терему отворялось окно, и по веревке она принимала к себе атамана. Но в последний раз не воротился он из терема: только лодка плыла без него по течению, а за нею — молодецкая шапка с красным верхом, с золотой кистью...

А вот мрачная Кудеярова гора. Кроважаден, жесток и мстителен был Кудеяр. Лил, как воду, кровь человеческую, любил похищенную красавицу и держал ее взаперти на вершине горы. Кончил жизнь свою Кудеяр монашеством: стал грехи свои замаливать.

Есть на Усе двенадцать малых курганов — могилы двенадцати братьев. Позабыто уже, что это были за братья.

Все кругом обвеяно поэтической песней, седой легендой. И начинает казаться, что между стволами старого бора, что всходит прямыми рядами на вершины гор, мелькает кто-то безмолвный, кто-то величаво-печальный, могучий, в златоверхой шапке, в дорогом кафтане с оторочкой.

И так жутко становится в этой мрачной тишине, что хочется крикнуть, хочется слышать обычный человеческий голос. Но этого только и надо горам: волшебное эхо подхватит несколько слов и долго будет повторять их громовым, нечеловечески мощным голосом.

Тени далекого прошлого обитают здесь. Воинственные, смелые, сильные люди когда-то жили здесь, и жизнь их была вольной, и гибли они в борьбе за волю...

Давно уже нет их.

И хочется знать, кто живет здесь теперь, где потомки тех сильных людей, настоящих хозяев этой страны, поливавших ее кровью своей.

Как бы в ответ на эти мысли, неожиданно выносятся Уса из глубокого ущелья в привольную долину, окруженную подковой гор, задумчиво глядящих на Селитьбу, — серое, печальное, нищенски бедное село, что приютилось в долине на берегу реки, убогое село среди роскошно-величавой природы.

Тут же впадает Уса в широко разлившуюся Волгу, так широко, что чуть виден простым глазом луговой плоский берег ее.

При слиянии рек, выдаваясь вперед, как на страже, стоит грозный Молодецкий курган — сказочная голова гиганта с морщинистым, угрюмо-страдальческим каменным лицом, с нахмуренным лбом и зеленым бором вместо волос. И быются певучие волны о печальное лицо его, и шевелится под ветром звенящий бор. А угрюмый курган глядит на соседние зеленокудрявые, ласково-спокойные горы, отраженные в мощной зеркальной реке, и хмурится, и вечно думает свои старые разбойничьи думы.

И так хорош, так целомудренно хорош этот благодатный край, столько в нем глубокого покоя, приветливой ласки и нежной грусти, такую дышит он думой и силой, ширью и волей, что хочется позавидовать людям, живущим здесь, что невероятным и невозможным кажется в краю этом горе людское.

I

Более чем сто тридцать лет прошло с тех пор, как весь этот чудный приволжский край — эти реки, земли, леса и горы — стал родовым графским достоянием; в неприкосновенном виде переходит это маленькое царство из рода в род старой графской фамилии, представители которой никогда не живут здесь. Но Селитьба древнее старого графского рода: в маленькой старой церковке до сих пор хранятся старые летописи, в которых рассказана странная история села.

Еще при царе Иване Васильевиче Грозном пришли сюда вольные люди, новгородские ушкуйники, пришли с пищальми

и бердышами, прогнали отсюда какое-то басурманское племя и «окопались около кургана».

Жили они в постоянной борьбе с кочевыми племенами, но утвердились и стали границей царства Московского, стали постоянной угрозой для врагов его.

Подвиги воинственной Селитьбы оценил царь Алексей Михайлович: всю прилегающую к Селитьбе долину даровал он им, и дарственная царская грамота из поколения в поколение сохранялась старейшими людьми Селитьбы.

И долго жили они среди непроходимых дебрей, скрытые от чужой жизни горами и лесами, и долго никто не знал о них. Век проходил за веком, а дети леса жили без перемен, все так же, как и прежде, и знали только свою землю, лес и горы.

Потом отыскало их крепостное право, покорило и ввело в колею. А при Екатерине они были подарены вместе с землей, с телом и душой в «майоратное» вечное владение «великолепному» графу и всему его потомству. «Царская грамота» стала ненужной, ее забыли, потеряли. Осталась только глухая, неистребимая, незабываемая легенда о ней. И старики рассказывали внукам сказку «о царской грамоте».

Потом пало крепостное право.

Мужики пошли на малый надел и оказались без клочка земли, окруженные владениями графа.

И превратились они в рабочие руки графских имений, обрабатывая барскую землю после воли так же, как и до воли.

Она, эта «воля», как будто прошла мимо Селитьбы, не коснувшись ее.

Ушла она от них за леса и горы, а они остались, как и прежде, неподвижными, жили покорно и недоуменно страдали.

Только с новой силой стала оживать сказка о пропавшей царской грамоте, только еще больше украсилась эта сказка бессознательно красивыми вымыслами, невесть когда рожденными поэтической душой народа.

И вечно юным оставалось в этой душе все давнее, легендарное. Смутно жили в ней вековые, забытые воспоминания о земле и воле, о первобытной справедливости, о старой патриархальной жизни. И не знали они, что сделала жизнь там, за этим лесом, за грядой таинственных гор, куда мчалась их ста-

рая разбойничья река и куда уносила ее воды могучая Волга...

История железной пятой шагала по их спинам, а они все жили в мире лесных сказок, гремящих ручьев, играющего эха, и под бессознательными образами и темными, смутными воспоминаниями спящей глубокой души лежала, как сказочный клад, какая-то утраченная великая правда.

И долго бы жили они так в своем покорном и таинственном безмолвии, если бы однажды, во время пожара, когда горела в Селитьбе хижина какой-то столетней одинокой старухи, спасавшие ее добро не выбросили в окно маленький старый сундучок, который при падении разбился и из потайного, никому доселе не известного ящика выскочил старый пергаментный сверток, испещренный странными буквами, исписанный малопонятными словами, — удивительный сверток с большой старинной печатью.

В городе эти слова разобрали, прочли и перевели ходакам Селитьбы на жигулевский язык.

В этой полусказочной воскресшей хартии могучий царь брал их под свою высокую царскую руку, миловал за старые вины, а за подвиги ратные щедро жаловал на веки вечные землей и угодьями. К грамоте приложена тяжелая именная царская печать.

Много снится людям снов золотых, много райских видений проплывает над спящей душой человека, но крестьянский сон всегда один: крестьянину снится земля. И с тех пор двадцать лет ходили ходоки села Селитьбы по судам и палатам больших городов. Они искали все какую-то «подземельную канцелярию» и взамен ее попадали в острог или в сумасшедший дом. Они казались выходцами из шестнадцатого века. Современный век не понимал их, и они не понимали его.

А они хотели — суда.

Всюду подавали странные прошения, в которых рассказывалась сказочная история, и отовсюду прошения им возвращали и суда начинать не хотели.

Многим казались интересными эти самобытные, оригинальные люди в живописном национальном наряде, заветной кожаной сумкой, с волшебной сказочной грамотой чуть ли не сказочного царя. И смотрели на них с любопытством, как

на действующих лиц волшебной сказки или оперы, смотрели у них грамоту и отсылали от одной канцелярии к другой, от одного адвоката к другому.

Тогда они шли к царю, но дойти не удавалось, и ни с чем возвращались ходоки в родную свою Селитьбу.

На некоторое время мечты их о земле как бы замирали, но потом опять возрождались с новой силой. Стоило кому-нибудь уверить их, что дело их правое, что землю высудить можно, — и опять собирался сход, галдел, составлял «приговор», выбирал ходоков.

И снова шли ходоки в далекий, не понимавший их город, ходили долго и опять ни с чем возвращались домой. Писали графу — граф жил за границей и ничего не отвечал им; немец-управляющий гнал их, не желая слушать. В последнее время составляли приговоры «об отобрании земли у графа» и вручали их земскому начальнику для представления высшему начальству, но земский грозил и ругался, брал себе приговоры и никому не отсылал их.

Так двадцать лет тянулась эта бесплодная история — бесконечная, старая, обыкновенная, всем надоевшая история мужичьей темноты, давленности и бесправия.

И никто не мог их убедить, что уже бессилен теперь «добрый московский царь Алексей Михайлович» и бессильно его «могучее царское слово», и никто не мог доказать им, что бессильна теперь та правда, в которую одну они верят, которую ищут и не могут не искать, ибо глубоко заложена жажда ее в темных недрах их измученной молчаливой души.

II

В светлое майское утро, когда разлившаяся Волга и полная бурная Уса были особенно прекрасны, отражая в себе зеленые горы, когда радостное весеннее солнце насквозь пронизывало золотым своим светом прозрачный молочно-синий туман, поднимавшийся над ширью отрадно свежей, исполненной величавой неги, силы и спокойствия гигантской реки, в это дивное утро в чудной изумрудной долине, обрамленной полукругом разодетых в нежную зелень гор, на границе крестьянской и графской земли происходило что-то необыкновенное.

Тысячная толпа с женами и детьми, с целым табором телег, сох и лошадей расположилась в поле.

Вся Селитьба выехала сюда, и, кроме нее, пришли толпы из соседних деревень и маленького городка, который чуть виден был отсюда на горизонте сквозь редеющий золотой туман.

Весь этот народ галдел и копошился, как на ярмарке. Лошади из телег были выпряжены и паслись рядом. Оглобли подняты кверху. Почти у каждой телеги пылал костер, на котором женщины готовили пищу, и эти бесчисленные огни придавали колоссальному табору нечто древне-дикое. Говор мужчин и женщин, писк и плач ребят, ржание лошадей — все это создавало настроение чего-то необычного.

А вдоль межи на целую версту растянулись цепью триста или четыреста сох с запряженными в них лошадьми. И вся эта картина удивительно гармонировала с могучими горами, курганами, огромной сверкающей рекой и лесом, бесконечным лесом, что покрыл собою весь горный хребет, отразился в реке и ушел до края нежно-голубого неба.

Около межи, в центре всего табора, стояло два больших стола, накрытых скатертью.

На одном из них лежали предметы и церковная утварь для молебна.

На другом столе были приготовлены письменные принадлежности — перо, чернила, бумага — и лежала знаменитая кожаная сумка с «царской грамотой».

Маленький, старенький селитьбенский попик уже надел ризу и выправлял из-под нее жидкие седые волосы.

Толпа, стихая, тяжело и плотно сгрудилась к столам и обнажила головы. Впереди всех стояли старшины, сотские и несколько самых старых крестьян с длинными седыми бородами.

Начался молебен.

В тишине издалека доносился густым, чуть слышным струнным звуком шум леса и волн...

Накануне этого дня крестьяне села Селитьбы собрались на сходе и составили приговор о «полевом суде».

Решили они выехать в поле, созвать туда со всей округи окольных людей, пригласить графского управляющего, уведомить об этом исправника и земского начальника и в присут-

ствии окольных людей, пред лицом начальства, показать управляющему «царскую грамоту», а затем потребовать, чтобы и он положил на стол рядом с ней те документы, по которым граф владеет землей. И тогда как решат окольные люди, так и будет: коли присудят землю графу — покориться и разойтись, а присудят мужикам — то запахать ее тут же, торжественно, всем селом: пусть тогда граф судится и сам доказывает свое право.

Но если при запашке графские люди и городская полиция будет препятствовать, то ни в каком случае не сопротивляться и не прибегать к насилию, а чтобы не оклеветал кто-нибудь крестьян в сопротивлении властям, то не брать с собой никому ни палки, ни прутика, ни даже кнута для лошади: пусть не смешивают их поступок с разбоем, насилием и захватом чужой собственности, — они хотят добиться правды, законности и вынуждены после двадцати лет бесплодных страданий обратиться к «полевому суду».

Густо вздыхала толпа, и ровною певучей волной доносилась музыка соснового бора.

Вдали, с горы, со стороны графской усадьбы, спускался по дороге экипаж и несколько всадников.

Молебен кончился.

Толпа опять загудела. Выделялись отдельные восклицания:

— Исправник едет!

— А верхами-то — урядники!

— Управитель-то! Рядом с исправником.

— И земский с ними!

— И все — на графских лошадях! Ха-ха!

Послышался презрительный смех.

Скоро к табору подкатила щегольская коляска, запряженная парой вороных лошадей. Коляску сопровождал наряд конных урядников.

Мужики стихли и сняли шапки.

Из коляски медленно вышло начальство.

Пожилой исправник походил на червонного короля: борода его, длинная, волнистая, слегка разделенная внизу на две половины, почти уже седая, ниспадала на высокую грудь.

Земским начальником был мешковатый, неуклюжий господин медвежьего телосложения, рыжий, сутулый, со взглядом

исподлобья, с тупой жестокостью и злой ограниченностью в выражении угрюмого, грубого лица. Даже фуражка с красным околышем сидела на его круглой стриженной голове как-то слишком определенно и бесповоротно, а широкий плоский затылок внушал безотчетный страх.

За ними из коляски выпрыгнул управляющий — немец с черной бородой, в соломенной шляпе и парусиновом костюме. Он смотрел на толпу брезгливо, не скрывая своего презрения.

Старшина и один из стариков поднесли исправнику «хлеб-соль». Над толпой невнятно звучали отрывочные фразы короткой речи, которую сказал старшина:

— ...Хлебом живем — хлеб и подносим... не обессудь... не за худом собрались... изволь выслушать...

Исправник движением руки велел положить хлеб обратно на стол и сам подошел к столу вместе с земским, управляющим и урядниками. Толпа раздалась, приняла их в себя и затем опять сомкнулась вокруг них густым широким кольцом.

Исправник быстрым взглядом окинул море голов, табор, костры и сохи и спросил мягким, хриповатым басом:

— В чем дело? Зачем собрались?

Вся толпа заговорила разом. Даже бабы что-то кричали, волнуясь и поднимая руки к небу.

Исправник замахал рукой:

— Тише! Молчите! Говори кто-нибудь один... выборные!

Выступили вперед опять старшина, несколько стариков и молодых.

— Мы — выборные!

— Пусть кто-нибудь один!

Раздались голоса из толпы:

— Епанешников, говори! Или ты, Башаев!

Стал говорить Башаев, молодой, лет тридцати, живой, энергичный мужик небольшого роста, с курчавой светлой бородкой.

— Ваше благородие! — взволнованно, смело, звонким голосом крикнул он. — Мы не воровать приехали! Мы приехали свою землю пахать! Свою! Будьте свидетели! Вот здесь налицо господин управляющий, а вот окольные, посторонние люди — мы сами их призвали! Пусть нас здесь рассудят, будем в поле судиться, как наши прадеды судились! Ваше благородие! По-

смотрите: вот на этом столе лежит царская грамота, царская! Дарственная! От самого царя Алексея Михайловича. Наша земля! Почему же ей владеет граф? Пускай господин управляющий положит на другой стол графскую грамоту! Может, его грамота сильнее — тогда мы уедем, там уже окольные люди будут судить! Мы требуем, нам желательно, чтобы показал, положил... Мы двадцать лет... Пусть положит!

Звонкий голос его разносился по всему полю.

— Пусть положит! — густо откликнулась толпа.

Исправник затряс бородой, и толпа, погалдев, стихла. Вперед выступил управляющий, желая что-то говорить.

Он говорил тихо, спокойным голосом, и его речь плохо была слышна в задних рядах.

— Я не понимаю!... — доносились ломанные слова. — Какой такой полевой суд?.. Зачем суд? Какое имеет право? Я не обязан... ничего не покажу...

Толпа заглушила его враждебным рычаньем:

— Ага! не показывает, немчура! Харя!

— Видно, и показать-то нечего!

— Слышали? Не показывает!

— Не показывает!

Толпа гудела.

Исправник замахал платком.

Когда гул затих, он выпрямился, тряхнул волнистой бородой и закричал, напрягая грудь:

— Предупреждаю!.. Вы затеваете противозаконное! Никакого полевого суда нет и быть не должно! Убеждаю вас разойтись по домам!

— Не разойдемся! — загремело кругом.

Начался всеобщий говор. Толпа начинала возбуждаться, жестикулировать... Мелькали руки, бороды, оживленные, негодующие физиономии. Тысяча голосов на разные лады кричала:

— Мы требуем! Пусть прочитают! Двадцать лет!.. Документ! Управитель! Правда!.. Закон!..

Земский начальник давно уже весь трясся от злости. Бледный, с потемневшими горячими глазами, он протолкался вперед и что-то кричал рыкающим голосом, грозя кому-то кулаком.

Рев толпы стал затихать.

— Запрещаю!.. — услышала она грозный окрик. — Уйдите!.. Бунт!

При этом слове все сразу стихло. Словно разом вспомнили все уговор не давать повода к обвинению их в насилии. Толпа словно подавила в себе что-то. Только где-то позади опущенных голов вынырнула черная хохлатая голова с дерзкими острыми глазами, и среди внезапной тишины прозвучал насмешливый спокойный голос:

— Эй, ваше благородие! Ваше дело — только запрещать! Все вы закушлены графом! Мы ляжем костями, а не уйдем! Так и знайте!

— Не уйдем! — опять загудела толпа. — Бунтовать мы не станем: мы по закону! Кабы захотели, давно бы... как пыль с лубка стряхнули!

Толпа оскорбленно рычала.

— Господа окольные люди! — нараспев зазвенел голос Башаева.

Он показался на столе, видный всем, и, протягивая народу развернутую хартию, не то кричал, не то пел:

— О-коль-ны-е лю-ди-и! Видели вы нашу царскую грамоту? Вот она-а! Глядите! Во-от! Видели?

— Видели! — ухнула тысяча голосов.

— А управитель... своей графской грамоты... не показ-ал?

— Не показал! — прокатилось по всему полю.

— Стало быть — чья земля?

— Ваша! — в один голос грянули окольные люди.

— А коли на-ша-а, — торжествующе продолжал Башаев, все повышая и повышая свой звонкий голос и возбуждением своим заражая толпу, — коли она, матушка, на-аша, то как же повелите вы сделать нам, господа окольные люди? Па-ахать?

— Пашите! — загрохотало поле.

Исправник, земский и управляющий устремились в коляску. Старшина помогал им.

— Я еду к губернатору, — взволнованно сказал ему исправник, — наблюдайте, по крайней мере, чтобы не вышло столкновения. Я дал урядникам инструкции — не раздражать!..

— Слушаю, ваше благородие! Прощенья просим!

Коляска покатилась.

А четьреста пахарей уже приступили к делу. И в первой сохе пошел девяностолетний Епанешников, красивый старик, подносивший вместе со старшиной хлеб-соль исправнику, бесслезный ходок по делам села Селитьбы. Высокий, внушительный, с длинной седой бородой, в лаптях и длинном кафтане, он встал на меже, выпрямился, как-то вдруг помолодел, ожил, словно загорелся весь и, махнув шапкой остальным, глухо крикнул:

— С Богом, пашите!..

Потом широко перекрестился, вытер рукавом слезы и взялся за соху.

— Господи, благослови! — шептали его шамкающие губы.

Урядник встал на борозде, загораживая ему дорогу.

Тогда Епанешников объехал его, как объезжают пень, и повел борозду дальше, где опять молча стоял полицейский чин.

И другим пахарям другие урядники тоже молча становились поперек борозды, и они, как и Епанешников, объезжали их, и в руках у всех не было кнутьев.

И стало покрываться обширное поле кривыми, вычурными бороздами, похожими на какие-то никому не ведомые письмена, в которых словно скрыт был глубокий смысл и ключ к пониманию души народа.

Гигантскими буквами начертали они на родимой земле свою правду, свой крик о справедливости. И казалось им, что этот крик пронесется могучим набатом и разбудит Россию.

Три дня и три ночи, всем табором и не отпуская от себя окольных людей, жили они в поле, дожидаясь губернатора.

На четвертый день он явился к ним — все с тем же исправником, с земским начальником, окруженный конной стражей, с возом свежих розог, нарезанных в графском лесу.

Грозным, взбешенным, неистовым предстал губернатор. Высокий он был, здоровый, женоподобный, с бритым румяным лицом и стриженной седой головой.

И, завидя его, старшина и Епанешников поднесли хлеб-соль.

Но ударил он по хлебу и рассыпал соль.

Не говорил — визжал губернатор ... Клейкая слюна брызгала изо рта его на золотое шитье мундира.

Начал он речь свою словами: «бездельники», «разбойники», а кончил криком: «Будете наказаны!»

И велел схватить «зачинщиков».

Было их схвачено сорок три, самых старых, самых почтенных, самых уважаемых, лучших людей Селитьбы.

Тут же, на захваченной земле, положили их.

Лежали они на родной земле, окруженные густым кольцом губернаторской стражи, и слышно было, как свистели в воздухе длинные прутья да раздавались глухие, сдержанные, словно подземные, стоны.

Толпа безмолвно и неподвижно стояла здесь же, и слезы текли по лицам ее.

Земский начальник радовался и наслаждался. Под свист розог неумолимо, непреклонно и ненасытно звучал его грубый, рыкающий голос:

— Крепче! Кр-репче!

По сто ударов получили они.

На мужицкие же телеги замертво положили их, окровавленных, и повезли, как везут с бойни освежеванное мясо.

Кровавая лужа осталась на месте казни.

И когда везли их медленным зловещим обозом в село, то кровь текла сквозь окровавленные телеги и сочилась на землю большими тяжелыми каплями, и кровавый путь шел к селу от мрачного места «полевого суда».

По сто ударов получили они.

III

Целый год они сидели в тюрьме в ожидании суда, того настоящего суда, которого так долго добивались. Крепкие натуры вынесли жестокую пытку.

Через год их судили в том самом маленьком городке, который в дымке волжского тумана был виден из Селитьбы, откуда призывали они окольных людей.

В маленьком убогом зале уездного суда они сидели, все сорок три, занимая скамьи, приготовленные в обычное время для публики, и казалось, что не их судят, а они пришли судить.

Лица их не были печальными, но были исполнены торжества и уверенности в своей правоте.

Судили их тупые «добросовестные» чинуши, равнодушные «порядочные» люди, старались отнестись к ним «справедливо» и — осудили.

Когда после этого вели их к Волге, на пристань, чтоб отправить в губернский город и снова посадить в тюрьму, был опять сияющий весенний день.

Двигалась вслед за ними огромная толпа народа: вся Селитба была тут, и вся округа, и все жители городка, жадного до зрелищ.

А они шли, понунив головы, ни на кого не глядя, и было что-то недоумевающее в их согбленных спинах и тяжелых движениях. Казалось, что они все еще не верят в подлинность произведенного над ними суда и уносят в своей разочарованной душе неистребимые древние фантазии о какой-то божеской и царской правде.

Пароход медленно отходил. А они стояли все в ряд, у борта парохода, бледные, с крепко стиснутыми челюстями, судорожно схватившись напряженно вытянутыми руками за перила.

Стояли неподвижно, словно окаменелые, впиваясь остановившимися глазами в родную толпу, в родные горы. И в этой каменной неподвижности их чувствовалось тяжкое напряжение огромной силы, и каменными казались крупные лица их, и железными казались вцепившиеся скрюченные пальцы.

Долго уходил пароход, уплывая все быстрее и дальше, становясь все меньше.

Долго стояла толпа на берегу и все смотрела в блестящую речную даль, где в сиянии весеннего дня черной точкой потонул пароход.

Зеленые кудрявые горы целиком отражаются в зеркальной глубине, чуть виден вдали плоский луговой берег, да Молодецкий курган — богатырская голова с мощным выражением каменного терпения и таинственной печали на морщинистом тысячелетнем лице — угрюмо смотрит на окружающую ширь, и хмурится, и вечно думает свои старые разбойничьи думы.



Семен Павлович Подъячев

Про себя

С. П. Подъячев (1866—1934) родился в семье бывших крепостных. В 17 лет отправился в Москву в поисках заработка и перепробовал множество профессий, работал конторщиком сторожем, лесорубом, дворником, батраком. Писать начал в Москве, работая рассыльным в еженедельнике «Россия». Первые рассказы опубликовал в 1888 г. До начала 1900-х гг. литературным трудом занимался не систематически, чередовал с черновой работой и запоями, от которых долгое время страдал. В своих произведениях показал жизнь народного дна, мытарства представителей разных слоев русских крестьян. После революции литературную работу совмещал с общественной деятельностью. Пользовался поддержкой и одобрением М. Горького. Автобиографический очерк «Про себя» опубликовал в «Журнале журналов» (1916, № 6—8).

Дорога, по которой я нес и сейчас несу свой писательские крест, скоро, кажется, кончится... Вижу уже впереди просветы... скоро выберусь... отдохну... скоро конец!..

Устал я от долгого пути... болит все тело... Дорога, тяжелая, грязная, плелась все больше по сплошному темному лесу, и мне страшно оглянуться назад, страшно думать, как я, ошупью, натываясь на деревья, спотыкаясь и увязая в грязи, шел по ней, настойчиво и упрямо, думая только о том, как бы выйти, выбраться из темного леса на волю, на простор, на свет Божий!..

Если писать о том, как я шел этой дорогой, то получится целая книга, которую можно озаглавить одним словом: «жуть».

Книга с таким заглавием у меня уже готова, написана в моей душе кровавыми, облитыми слезами буквами...

Беру, выдираю из этой книги страничку и посылаю вам...

Это было не так давно: года два-три тому назад, осенью, в конце сентября...

Жил я тогда все так же, как и теперь, в деревне, в своей ткнувшейся вперед восьмиаршинной избенке, с детьми, с женой, с сестрой.

Работать, заниматься своим писанием я мог только (да и теперь тоже) ранним утром, когда все мои спят вповалку; кто на полу, кто где придется. Вставать себя я приучил рано, часов с трех.

Встану, зажгу лампочку, сяду потихоньку в «кухне», то есть в небольшой, узенькой каморке, где обыкновенно жена, когда поднимается, производит около «русской» печки, выходящей

устьем в эту каморку, свою стряпню. В комнате за переборкой часто и однообразно тикают стенные часы... За окном, где царит тьма, слышно, как воет ветер, стучит по стеклам дождь и как царапает об стену голыми ветками рябина. В избе, если осень и нет мороза, душно. Дети бредят, стонут, разговаривают во сне, а если зима — холодно, и слышно как всюду дует в старые, затыканные перетрухляевшим мхом пазы. Зимой, в феврале, когда телилась моя корова и когда нельзя было теленка оставлять на дворе, он обыкновенно был наблюдателем моей работы.

Лежал он рядом около меня на полу, в уголке, привязанный за шею веревкой, и, как только я зажигал лампочку и садился к столу, он поднимался на свои тонкие, плохо еще державшие его слабое тело ноги, вздрагивал, тянулся ко мне, стараясь поймать меня губами за подол рубашки и сосать ее. Свет от ламповки падал ему в глаза, и от этого света глаза у него кажутся как будто бы обмазанными маслом или покрытыми лаком. Для того чтобы он не кричал во всю глотку: «Ма-а-ма!» — я даю ему какую-нибудь тряпку, и он долго, пока не устанет стоять и снова не упадет на свое место, чавкает и сосет ее... На дворе вдруг запоет петух, и слышно, как, если сильный мороз, заговорят, прижимаясь на нашесте одна к другой, куры. Кошка, выкинутая на ночь на двор, услыша, что я встал, жалобно замыучит и зацарапает об рогожку по ту сторону двери. Я встану и пушу ее. Она вскочит ко мне на колени и трется, и ласкается, и мурлычет...

Работа иногда движается быстро. Серые мои герои беседуют со мной, и я вижу их и живу с ними. А иногда дело не ладится... сидишь — и ничего не выходит... На сердце ложится грусть... вспоминается прошлая жизнь... встают заботы... пугает бедность... скорбит и плачет душа о детях... Являются и встают вопросы: зачем пишу? Какая польза от этого?.. Дело ли это или только так себе — пустая забава?.. Является недовольство, и кажется, что все, что было написано, написано плохо, слабо, неинтересно.

Долго и нудно тянется время... прислушиваешься к завыванию ветра... хочется что-то сделать большое и важное... рвется что-то... но ничего не выходит, и тоска, как камень, давит душу. Сидишь и ждешь, когда забелеет в окне, и можно идти на двор

колоть дрова, сходить на пруд за водой, или взять лопату и разгребать нанесенные за ночь под окнами сугробы.

Самое тяжелое, что переносу я, это — постоянная, так сказать, хроническая нужда. И, собственно говоря, не моя нужда, а моих близких, которых я о б я з а н кормить и поить, обувать и одевать. Лично о себе я мало хлопочу, и мне кажется, да это так и было бы, если бы я не был связан, не опутан бы так сам себя путами, которых не развяжешь теперь, я бы ушел с котомкой за плечами куда глаза глядят, как это было прежде, когда был молод и не был «связан»...

Сколько унижений, сколько обид, муки душевной приносила и сейчас приносит мне эта проклятая нужда! Эти ненавидимые, окаянные деньги!

Тяжело вспоминать, и не хотелось бы бередить рану, но если уже начал, — надо кончать.

Итак, то, о чем хочу писать, было, как я уже и говорил, не особенно давно: года два-три назад. Осень стояла мокрая, гнилая, а под конец сентября по утрам начались заморозки. Для меня это время выдалось особенно трудным: не было денег, и не было ничего написано, за что бы можно их получить, а издатель моих рассказов в Петрограде на слезные мои письма прислать сколько-нибудь не удостоивал даже простым ответом.

Семья буквально голодала. Кормились кое-как картошкой... продавали за бесценок грибы и на эти деньги покупали «чайку, сахарку». Коровы не было. Ее еще весной пришлось продать. В лавке не верили. Отношение ко мне было самое подлое, насмешливо-злое. Кличка «писатель» произносилась с особенным ядом презрения, и ее приходилось молча проглатывать. Дети, жена и сам я были разуты, раздеты и походили на нищих. Мне не в чем было выйти... не было сапог... И вот в это время заболел у меня любимый мой четырехлетний мальчик. Заболел, как выяснилось, скарлатиной.

Болезнь была в легкой форме. Все обошлось благополучно. Отлежался дома и, не заразив других, поправился... Но последствия оказались роковыми: простудили мы его, что ли, еще не успевшего поправиться, или еще что, но только появилось какое-то «осложнение», по выражению фельдшера, где-то в почках, и он помер.

Помню, было это часу в девятом утра. Лежал он на постели и тихонько стонал, глядя на меня испуганными, жалкими глазами. Я не знал, что делать. Земская больница от того места, где я живу, находилась неподалеку в селе, версты за полторы, и я, наконец, видя, что ему все хуже и хуже, решил снести его туда.

— В чем же ты пойдешь-то? На ноги-то что наденешь? — плача, спросила жена и добавила: — Господи, вот до чего дожили — выйти не в чем!.. Хуже последних нищих! У нищего — и у того есть... Эх, ты, а еще писатель называется!..

Я промолчал и велел завернуть больного во что-нибудь потеплее.

— Да во что?.. Нету ничего... О, Господи! Помрет... помрет... Вижу уж я, что помрет, простудили... от нас помрет...

Плача и причитая, она укутала его в какое-то одеяло, что ли, и я, всунув ноги в полуразвалившиеся резиновые калоши, понес его на руках в больницу. Убитая горем жена, худая и трясущаяся от слез, нищенски одетая в скривляканых «полсапожках», и старший сынишка пошли со мною.

Идти приходилось через поле. Погода выяснилась. Навстречу нам дул ветер, и из разрозненных облаков проглядывало, но ненадолго, и снова пряталось солнце. Идти в калошах по распутившейся грязи было тяжело и неловко.

Я торопился, устал, запыхался и, дойдя до больничного, выходявшего одной стороной в поле, глухого забора, не мог дальше нести его. Меня душили слезы. Какая-то невыразимая словами скорбь терзала душу. Я обессилел и остановился.

— Что ты? — испуганно спросила жена, глядя на меня.

— Не могу, — ответил я. — На... снеси ты... здесь недалеко... не могу.

Я передал ей больного. Он, наклонив как-то на бок голову, глядел на меня большими глазами. Я поцеловал его, и он, потихоньку улыбнувшись пересохшими губенками, сказал мне:

— Устал, тятя?..

Я заплакал и побежал от них прочь через поле домой...

Дома было пусто. Убожество, теснота, грязь как-то особенно, точно я первый раз увидал все это, ударили меня в сердце. Я не мог быть в избе. Я вышел из нее и сел на канаве у дороги,

ведущей в село. Я не спускал с нее глаз и поджидал... Сердце волновалось... Жгучие слезы подступили к горлу и душили...

Не знаю, долго ли сидел я так, охваченный скорбью, только вдруг оттуда, где находилась больница, по дороге ко мне увидел я какую-то темную бегущую фигуру. Я сразу догадался. Это был мой сын. Сердце во мне упало. Я вскочил и стоял, поджидая его, зная уже, что все кончено...

— Умер... умер... Тятя, умер Костя, — кричал он, подбегая ко мне с рыданием.

— А мать где? — спросил я.

— Тама!.. Сзаци...

Я побежал по дороге и увидел жену.

Она, как-то шатаясь и путаясь, точно пьяная, шла мне навстречу. Лицо у ней побелело, рот перекосился, в глазах стоял ужас.

Я испугался, думая, что она сошла с ума.

Она обхватила меня руками, заплакала и закричала:

— Ушел от нас! Умер! За что, господи, наказал?!.. Похоронить теперь не на что... рубашонки лишней нету... О-о-о! О-о-о!

Она вцепилась в меня и завывала. Я, чувствуя, что во мне все трясется и точно кто-то сдавливает сердце клещами и бьет по голове, отстранил ее и побежал в больницу.

Мальчик мой лежал на койке, прикрытый простыней. Он лежал на боку, как помер. Глаза были закрыты. Он еще был теплый.

Я схватил его на руки.

Голова его запрокинулась назад, и один глаз полуоткрылся. «Устал, тятя?» — припомнились мне последние его слова, и не выразимая словами скорбь пронзила душу. Дико и невероятно казалось то, что этого любимого моего мальчика, так недавно игравшего, смеявшегося, — нет, и не услышу я больше никогда его голоса!..

Где же он? Куда ушел? Зачем? Кому нужно?!

Я понес его домой. Погода переменилась. Солнце уже не просвечивало... ветер усилился, и из низко бегущих облаков сыпалась какая-то колючая крупа.

Я нес его, заглядывая ему в лицо, чувствуя, как он холодеет и делается как будто тяжелее. А навстречу мне уже бежали мои. Впереди была мать. Платок у ней на голове съехал на

сторону, и ветер трепал косматые волосы. Она бежала навстречу, всплескивая по временам руками, и, захлебываясь от слез, выла что-то...

Мы сошлись. Я остановился и, запыхавшись и устав, — не оттого, что тяжело было нести, а опять так, как и давеча, от невыносимой, охватившей мою душу скорби, — опустил тело на землю. Мать припала к нему.

И вот тут-то, в поле, под открытым небом, на ветру, я, видя свою раздетую семью, испугался, и точно кто-то крикнул мне в уши: «Ты виноват! Ты, ты!» Мне стало жутко. А голос, точно смеясь и дразня меня и вонзая в мое сердце острое шило, кричал: «Что же ты будешь делать теперь? Как похоронишь его?» — и т.д.

И началось... началось такое, чего еще я в своей грустной и грязной жизни так остро и так мучительно не переживал. У меня точно открылись глаза, и я как будто только теперь понял и увидал то, что я о д и н, и что то дело, которое я делаю, то есть занимаюсь писанием, сидя здесь, в деревне, привело меня к тому, что я, ушедший, так сказать, в него, довел свою семью, да и себя тоже до нищенского состояния. Презрительные насмешки от тех, кого я люблю, о ком болит моя душа, кличка «писатель», «жрать нечего, а туда же», «обломать бока, чтобы не врал, тогда узнаешь» и т.д. — все это встало передо мной, и мне сделалось вдвойне больно, обидно, и малодушное отчаяние, усугубленное, так сказать, смертью сына, смешавшееся в один клубок с издерганными нервами, с мелочами, с нуждой, совсем было завладело мною и чуть-чуть не привело к концу.

Вместе с принесенным в избу телом умершего мальчика вошла и нужда, которая до этого как-то все-таки пряталась, что ли, а теперь она, наглая и голая, окончательно почувствовав себя хозяйкой, смело разинула свою пасть и кричала во всю глотку, глумясь надо мною: «А вот и я здесь! Мое здесь царство!..»

Тело надо было, как водится, положить в гроб, а где взять его? Купить — не на что. Заказать сделать новый — нечем платить за работу и за материал. Как быть?

Все это, конечно, «мелочи», но в них-то и есть самый ужас. Надо было хлопотать, думать и делать самому. Нашел на дворе

ящик старый из-под стекол, разобрал его и кое-как сколотил из него другой ящик, формой похожий на гроб.

Прежде чем положить тело в этот ящик, надо было постелить в него что-нибудь и после сверху прикрыть. Но и этого не нашлось, а купить три-четыре аршина коленкору какого-нибудь не могли за неимением денег. Жена и сестра поссорились и переругались из-за этого между собой, укоряя одна другую какими-то тряпками. Я ходил как помешанный. В голове стучало, а в уши назойливый и извительный голос нужды нашептывал: «Что, писатель, а?.. Что, хорошо?.. Так и надо, так и надо, так и надо!..»

— Господи, Царь Небесный! — вопила жена, терзая мою душу. — До чего дожили! До чего довел сам себя! Хуже-то всякого нищего! Тряпки — и той нету! Завернуть не во что... хоронить не на что... выйти в церковь не в чем... О-о-о! О-о-о!.. Сыночек ты мой желанный, ничего-то ты не видишь! Ничего-то ты, ангельская душенька, не услышишь!.. Помертвели, запечатались уста твои сладкие... не откроешь ты глазоньки свои быстрые, не увидишь ты горькую свою мать-кормилицу... О-о-о! О-о-о!..

Утром, после кошмарно проведенной бессонной ночи, когда только что чуть-чуть стало рассветать, я встал, подошел к положенному уже накануне в ящик сыну, посмотрел ему в лицо, поцеловал в холодные, плотно сложенные губы и, сдерживая мучительно подступавшие к горлу слезы, пошел, захватив заступ, на кладбище рыть для него могилу. Утро было пасмурное, сырое, туманное. Придя на кладбище, я долго ходил по нем, выбирая место. Все оно было заброшено как-то, запущено... Заросло бурьяном, кустами, елками, березами, осинами.

Выбрав, на мой взгляд, удобное место, я присел на соседний могильный бугорок отдохнуть — и задумался... Необычайная, мертвая тишина царила вокруг... Ни звука!.. Что-то пугающее чудилось в этой тишине... А сверху, с неба, точно кто-то спускал неслышно и тихо серую, закрывавшуюся уже муть, и как-то необыкновенно странно и жутко казалось мне сидеть одному в этой спускавшейся на меня мути и думать...

То, зачем я пришел сюда, и то, что буду делать, стояло пе-

редо мной, и, между тем, я думал и о другом... Вставали какие-то неясные образы...

Мне стало жутко. Я вскочил, схватил заступ и начал рыть землю. Рыть было тяжело. Мокрая, липкая, тяжелая глина приставала к железу заступа, и ее приходилось скидывать силком.

Под ногами хлюпало, и с боков просачивалась вода. Весь я измазался в этой глине, и когда кончил, вылез из могилы и заглянул туда, то на дне видна была уже собравшаяся там вода, мутная и желтая...

Во время работы, делая усилия выкладывать глину, я немного, так сказать, развлекся, что ли, и душевная мучительная скорбь стихла, а теперь, вылезши из ямы и заглянув в нее, я как-то особенно и с особенным ужасом понял, для кого и зачем вырыл эту сырую глубокую яму.

Мне сделалось так мучительно больно, что я не выдержал и, схватив себя за голову, громко закричал и побежал прочь...

Холодный и не выразимый словами ужас мучительной скорби охватил меня всего, и я бежал, не зная куда, чувствуя, что как будто бы я убегаю от какой-то смертельной опасности. Когда я опомнился, то увидел, что бежал совсем в противоположную от дома сторону. Я повернул было назад, но, вспомнив и ясно представив то, что ждет меня дома, испугался и сделал такое омерзительное дело, на которое действительно только способен один «подлец человек»... Я, оказалось, забыл тогда про своих близких, про то, как им тяжело и больно, и что нет у них ничего и не знают они, убитые горем, за что схватиться, а помнил только о себе, о своем личном горе... Видел и чувствовал только страдание своего окаянного я и, негодяй, желая как-нибудь утишить это обеспокоенное, кричащее от боли я, отправился не домой, туда, где мое присутствие в это время было более чем нужно, а в деревню, в шинок, к бабенке по прозванию «Сучка», просить в долг водки.

Сучка была дома. Увидя меня, обмазанного глиной, босого, по всему вероятно, страшного с лица, она всплеснула руками и воскликнула:

— Аткеда ты это заявился? В канаве, что ли, где валялся? Страсть на тебя смотреть!.. Черт-чертом, ей-богу!

Я объяснил. Она сразу «снизолшла» к моему горю и на мою просьбу дать водки без денег сказала:

— А отдашь?.. Обманешь, вить, а?..

Я начал божиться, что отдам, и чувствовал, что если она откажет, то Бог знает, что могу наделать.

— Ладно, — сказала она. — Для этакого раза как не дать, — дам! Выпей, полегше на сердце станет... Отмякнет...

Она говорила это, а я, боявшийся пуще всего, что не даст, видя, что дает, до того обрадовался и до того какое-то особенное чувство залило мою душу, что я заплакал.

— Полно-ко тебе, родной, — сказала она. — Эх ты сам себя растревожил. Ну умер, и умер... какое дело... все умрем... А ему и тама хорошо будет... С ними, вить, тоже, да при твоей бедности-то, взвоешь... Раста их, лижи в зад-то, а вырастут — по шее накладывать будут... Знамо, родительскому сердцу жалко, а как разобрать — господь с ним... Умер — и ладно... Так вот... На-ко глотни!..

Она подала мне «половинку», чайную чашку без ручки и на закуску луковку. Я налил чашку и сразу, не отрываясь, с жадностью выпил.

— Смотри, мужик, — сказала наблюдавшая за мной Сучка, — разберет она тебя натошак-то... Сам себя не потеряй!

Помню, как Сучка, вероятно, испугавшаяся моего вида, говорила что-то, выпроваживая меня вон, как я плакал перед ней, «изливал» свою душу, как просил еще водки, как жаловался, что я один, что меня здесь не понимают, что я брошен всеми, что я писатель, и как она меня, наконец, подняла с лавки и вытолкала из избы вон.

Шатаясь, босой, грязный, мертвецки пьяный, отвратительный негодяй, поплелся я от ее избы вниз под горку к овинам и здесь, в первом же омете соломы, свалился и сразу, точно провалился куда-то в черную яму, — уснул.

Когда я проснулся и открыл глаза, — был вечер. Я сразу понял, где я и что сделал. Ужас стыда охватил меня и начал душить. Я вскочил, весь трясаясь, как в сильнейшей лихорадке, чувствуя, что внутри у меня вопит и кричит кто-то и плачет жгучими слезами отчаяния, и побежал домой...

Еще издали в окнах своей избушки я увидел огонек. Пре-

жде чем войти в дверь, я подошел, подкрался к окну и заглянул. Сердце во мне упало. Сделанный мною гробик-ящик стоял на скамейке в переднем углу. Тело лежавшего в нем моего дорогого мальчика было покрыто по грудь какой-то белой тряпкой, а личико покойника, строго-прекрасное, освещалось тремя тоненькими свечками, прикрепленными в головах по углам и посредине гроба, да тихо теплившейся перед иконами лампадкой.

Какой-то сдавленный стон донесся вдруг сквозь раму до моего слуха и поразил меня. Я прислушался... пригляделся хорошо и увидел, что на полу, перед гробом в ногах, лежит внизу ничком на полу жена, и видно, как вздрагивает ее тело. Увидя это, я хотел было закричать... Жалость к ней, а главное — стыд за себя, жгучий и мучительный, точно удар обухом по голове, еще больше поразил меня. Не помня себя, я вбежал в избу. Она услышала, что я пришел, и не поднялась, а сразу громко и пронзительно завывла и начала колотиться об пол. Потом поднялась, страшная, полупомешанная какая-то, облитая слезами, и в безумном отчаянии, удрученная горем, исстрадавшаяся, озлобленная нуждой, набросилась на меня с диким криком ругательств, попреков, укоров... Испуганные ее криком дети заплакали и, хватая ее за платье, вопили:

— Мама, мама!..

— Разбойник! — кричала она. — Ни один самый последний золоторотец не сделает так, как ты сделал... Ушел, бросил одних, пьянствовать... нашел время... А я тут рвись... А я жду, а я жду!.. Тебе издохнуть-то, а не ему! Что я за тобой, жила, видела? Рубашки — и той смениться нету!.. Всех детей погубишь с писаньем-то своим... Нужны тебе дети!.. Хуже нищих живем!.. Что ты надо мною измываешься-то?.. За что я муку мученическую от тебя несу?..

— Мама, мама! — вопили дети, обливаясь слезами.

Прошла еще ночь, такая же бессонная для меня и еще более тяжелая и кошмарная, чем первая. Я лежал, уткнувшись вниз, ничком, заткнув пальцами уши, чтобы не слышать жениных стонов, и мне хотелось провалиться куда-нибудь, подохнуть, убежать за тридевять земель...

— К священнику — и то не успел сходить вечер, — ныла

жена. — Нашел время вино жрать, а на это время нету! Чай, надо сходить, предупредить его, что, мол, без денег... денег за отпевание не подождет ли... нету, мол. Эва, до чего дожил, до чего сам себя допустил, а? Опять: в чем в церковь-то пойдешь? Что на ноги-то наденешь? Попросил бы у кого-нибудь на время сапог-то... авось, дали бы... О, Господи, помилуй! Царица Небесная, матушка, да что же это такое дальше-то будет? Как жить-то? От кого ребенок-то помер?.. От тебя. Простудился... голешенек бегал... Ни башмачонков, ни рубашонки, поневоле простуду схватишь... У людей, вон, посмотришь, дети-то цветут, аки маковы головки, а наши?.. О, Господи, Господи! Хоть бы издохнуть мне... Не видали бы мои глаза, не слышали бы мои уши!..

Утром пошел к священнику, надев на ноги какие-то старые, валявшиеся в чулане, опорки, служившие мне летом во время покоса. Батя был дома. Он, высокий, растрепанный, долбил под навесом на задворках из толстой осиновой плахи корыто. Я поздоровался.

— В чем дело? — спросил он, откинув за уши сосульки волос. И не дожидаясь моего ответа, сказал: — Вот, вишь, корыто долблю. Как на твой взгляд, ничего будет, а? Не мало? Для поросенка это я, — продолжал он. — То-то, старое-то, мало стало, да и легко... кувыркает все, понимаешь, рылом-то... плохо корм жрет... неважный попал, а пять с четвертью отдал... Вот в прошедшем году у меня был поросенок, так вот, можно сказать, кусок был... понимаешь, что ни дай, все жрет, все под метелку!.. Навали ты ему камней — и те слопают... ей-богу, не вру!.. Зато, повалил к Рождеству Христову, восемь пудиков вытянул... Вот это, я понимаю, штука капитана Кука!.. А у тебя есть? Держишь?

Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

— Ты что-то чудной какой! Жилы, что ли, из тебя вытянули, али с похмелья?..

— Сын помер... мальчик...

— Ну, что ж?.. Божья воля! Говори — слава Богу. Насчет похоронок, что ли?.. Когда скончался-то? Та-а-к... А могила готова? Ну, что же, нонче отпоем, приноси... Чего же унывать-то? Хорошее дело сделал, помер... все помер... А с

ними тоже беда! У меня двое вон учатся... наказанье! Один одного дурее... А расходу-то на них — страсть!

Я помолчал и, собравшись с духом и стыдясь, сказал насчет денег.

— Ну, что ж! — воскликнул он. — Неважно это, нету и нет... я ведь тебя за глотку не беру. Отдашь когда-нибудь, дело небольшое, не сто рублей!.. Так как думаешь, корыто-то ничего будет, а? Боюсь, не расколоть бы!.. Плаха-то словно ничего попала, выбирал из цельной полсаженки... четвертак отдал, ей-богу, сторожу барскому Ваньке на водку... Божился, сукин сын, что хороша будет... Ну, так ты того, как управишься, приноси... отпоем! А горевать нечего, грех! Помни одно: Божья воля. Ничего не поделаешь! Нет, брат, ничего не поделаешь. Ты думаешь так и эдак, а Господь-то по-своему... так-то вот, друг мой!.. Приноси... Забеги к дьячку, скажи там, чтобы он знал, приготовился, а то напьется... пьет он... так погодил бы жрать-то... Ну, пока всего хорошего! Ступай с Богом!.. Н-да! Все умрем, только не в одно время...

И, видя, что я пошел от него, остановил меня, и, глядя мне в лицо, сказал:

— У тебя что же денег-то нет, а? Ты уж очень что-то чуден... Ты говори, я выручу, дам. Много не дам, а трояк найду. Отдашь, небось! Я слышал стороной, знаю, пишешь ты... печатаешь что-то... Я, признаться, ничего твоего не читал... не охотник я до этого вообще... Чепуха, по-моему, все, а? Ты не обижайся! О чем писать-то? Правду не велят, а побасенки-то разные мы и без вашего писания знаем. Небось, тебе плата за это полагается тоже, за писанье-то, а?.. Пустое все дело! У меня вон тоже сын старший, Сережка, стихи сочиняет, ей-богу, не вру! Пороть бы его за это да совестно: велик... урос... Я ему говорю, дураку: «Чего ты, дубина, пишешь-то? Пушкиным ведь не будешь, а дерьма-то и без тебя много!..» Вы, писатели тоже!.. Поэты!.. Чудно!.. Ну, иди с Богом, оторвал ты меня от дела только... Приноси... Отпоем...

— Когда велел приносить-то? — встретила меня вопросом жена.

— Сегодня. Хоть сейчас, — ответил я.

— А насчет денег не говорил? Платить-то как же за похо-

роны-то?.. Ему нужно... за свечки нужно... сторожу... мало ли! А сам-то в чем пойдешь? На ноги-то что наденешь?

— Отстань от меня, Бога ради! — закричал я. — До этого ли теперь?..

— А-а-а, не любишь! Правду-то не любишь! «Отстань»! А мне легко, а? Легко мне? Через тебя помер-то... ты виноват!.. Разумши, раздевши мальчишка, как не простудиться!.. О, Господи-батюшка! До чего дело дошло, до чего дошли, а!.. А все ты со своим писаньем!.. Занимался кабы другим делом, нешто жили бы этак-то?.. Люди вон смеются... Господи, Господи, что же я за несчастная такая уродилась?..

Она опять принялась выть и корить меня. Дети и сестра тоже плакали. Я кипел, как в котле, и не знал, что делать, за что схватиться. Между тем время шло. Надо было нести тело в церковь. Я подумал было нести его один, но, попробовав приподнять гроб, увидел, что одному не донести: тяжело и неудобно.

Тогда я пошел на двор и устроил из двух палок, перевязав их поперек веревками, носилки...

— Так вот будет хорошо! — сказал я вслух, сделав это. — Отлично так будет нести его... Удобно и легко! — повторил я и вдруг как-то сразу заплакал.

Из избы я гроб вынес на руках. Я его прикрыл сверху крышкой и на крыльце поставил на носилки. Обезумевшая от горя жена схватилась за него и не давала выносить. Дети кричали. Все смешалось в какой-то один общий клубок горя, нищеты.

Установив на носилки гроб, мы с сестрой взяли за концы палок, она впереди, я позади, и понесли. Жена упала на крыльце и билась там. Потом, когда уже мы отошли, она догнала нас... На нее страшно было глядеть. Босая, растрепанная, наполненными ужасом глазами, с голой грудью, эта «все выносящего русского племени многострадальная мать» была невыразимо жалка, и холодный ужас и жалость к ней пронзили меня. Она было схватилась за гроб и не пускала... потом упала на землю, и, воя, начала царапать ее пальцами. Сзади бежали с воем и плачем дети.

Нести покойника приходилось через все село. Церковь стояла на том конце. На улице было грязно. Мне, идущему позади

гроба, держась за концы палок, не видать было, куда ступать, и потому я шлепал в своих опорках как попало, слыша, как хлопает под ногами грязь. На улице было пустынно. Никто, кажется, и не видал, как мы прошли. Только на выходе уже пристала соскочившая с завалинки собачонка и провожала нас с лаем до самой церкви. Церковь была заперта. Мы опустили гроб на паперти, и я сходил к сторожу. Он позвал священника и дьячка. Церковь отперли. Мы с сестрой внесли туда гроб. Началась служба.

— Упокой, Господи, младенца... — пел священник высоким и звучным тенором, помахивая пустым кадиллом.

— Упокой, Господи, младенца, — вторил ему дьячок, и я, стоя рядом сбоку гроба и глядя в лицо своему милому мальчику, чувствовал, как волна слез заливает мою душу.

Отпевание кончилось быстро. Глухой сторож солдат принес молоток, гвозди, накрыл гроб крышкой и начал заколачивать. Один гвоздь не попал у него в кромку гроба, а свободно проскочил мимо. Он начал было его вытаскивать, но, не вытащив, заколотил рядом другой.

— Хуже-то не нашел из чего сделать? — громко, на всю пустую церковь, сказал глухой сторож. — Сколотил ящик, да и то из гнилушек... У нас при церкви есть продажные гробы-то... какие хошь... и маленькие, и на большого... Аль денег жалко?.. Копи не копи, все одно с собой в землю не возьмешь...

Я молчал...

Опять так же поставили гроб на носилки и понесли от церкви под гору на кладбище. Идущая впереди сестра то и дело спотыкалась и, убитая горем, плакала.

Пришли на кладбище и опустили гроб на землю, около вырытой ямы. Заглянув в нее, я увидел, что там вода и что в этой мутной, желтой жиже прыгают откуда-то взявшиеся лягушки.

— Господи! — воскликнула сестра. — Как же быть? Неужели же так его и опустить туда, к лягушкам?!

— Выкинуть надо, — сказал я. — Спустишь туда, выкидаю заступом.

— А как же гроб-то спустить?.. Веревки-то нету... не догадались захватить!..

Я не ответил и полез в яму; холодная и липкая глина захлюпала под ногами.

— Смотри, не простудись, — сказала сестра, подавая заступ. — Ты еще заболеешь, что тогда делать?..

Я принял заступ и начал им бить прыгавших лягушек, каких-то особенных, противных, больших, рыжих, и выкидывать вон.

Могилу я вчера, вгорячах, что ли, так сказать, вырыл несообразно большую. В нее свободно мог бы уместиться не только такой гроб, как с моим сыном, а и взрослому было бы свободно и просторно лежать в ней... Поэтому, когда, покончив с лягушками, я сказал сестре, чтобы она подвинула край гроба ко мне в яму, и когда она сделала это, я взял гроб в охапку и совершенно свободно, не стесняясь, опустил его на дно.

— Что ты какую ямищу-то вырыл! — сказала сверху сестра. — Господи, и этого-то не сумел сделать, как люди!..

Надо было вылезать и зарывать могилу. Но я не мог сразу сделать этого. Не мог расстаться. Все во мне вдруг как-то ослабло, напряженные до последней степени нервы лопнули, оборвались, я уже не мог сдерживать себя и, обхватив гроб руками и припав к нему, закричал от невыносимой душевной боли. Господи, когда же конец этой муки?! Наверху завывала сестра... Уже совсем смеркалось, когда я кончил работу. Надо было уходить... но я не мог уйти. Весь я ослаб, опустился, и все во мне кричало и плакало, и нестерпимая грусть, как камень, давила сердце. Я бросил заступ и сел рядом, под елку, напротив только что зарытой могилы. Елка шумела надо мной вершиной, и мне казалось, что она нашептывает что-то сердитое... укоряет и осуждает меня... Я сидел скорчившись, а темнота с каждой минутой все больше и больше окутывала и меня, и все, что было вокруг. Ветер как-то сразу затих, и сделалось до того тихо, что я услышал стук своего сердца. Мне было нестерпимо грустно, и не хотелось уходить, а хотелось сидеть здесь, уснуть и никогда не просыпаться... Малодушное отчаяние заползло в душу, и мысль умереть, покончить все начинала забирать меня в свои лапы... Это было соблазнительно, легко и просто... Но, благодарение Богу, я не поддался ей, этой мысли!.. Не-е-ет!

Про себя

Недаром я мужик, не даром, видно, родители мои и родители моих родителей умели терпеть не такие беды и передали это терпение нам... Я вскочил, встряхнулся и, стиснув зубы и грозясь кому-то, пошел домой, где меня, я знал, ждало безысходное горе, слезы, нужда...



Город и завод

М. А. Воронов. Ад

М. А. Воронов. Тишина

Н. А. Благовещенский. На литейном заводе



Михаил Алексеевич Воронов

Ад Тишина

М. А. Воронов (1840—1873) — сын саратовского тюремного смотрителя, один из виднейших писателей-«шестидесятников». В Саратовской гимназии испытал влияние Н. Г. Чернышевского. В 1858 г. переехал в Петербург, где сблизился с редакцией некрасовского «Современника». Дебютировал в печати в 1861 г. После ареста Чернышевского вел жизнь литературного пролетария, часто нуждаясь в деньгах, голодая. В 1863 г. перебрался в Москву и приобрел славу бытописателя московского «дна». Рассказы и очерки из жизни ночлежек и притонов были собраны им в совместном с А. И. Левитовым сборнике «Московские норы и трущобы» (1866). Сюда же вошли и предлагаемые вниманию читателя очерки «Ад» и «Тишина». В 1873 г. простудился и попал в больницу, где подхватил сыпной тиф и умер.

Ад

Адом москвич окрестил — и окрестил, нужно сказать правду, довольно метко — громадное подземелье с двумя жерлами или выходами, из которых один ведет на Грачевку, другой на пустынный Цветной бульвар. Ад представляет, действительно, нечто ужасное! Между многообразными московскими приютами павшего человека, каковы всевозможные русские пиры, золотые львы, волчьи долины, арбузовские крепости и проч., нет ничего подобного грачевскому Аду. По гнусности, разврату и грязи он превосходит все притоны, о которых будет говорить ниже. Все, что только есть в мире циничного, преступного, глубоко оскорбляющего человеческое достоинство, что унижает людей до скотов и гасит в них даже самые последние, микроскопические искры разума и воли, — все соединилось в этой вонючей помойной яме на погибель слабого человека!

Но будем рассказывать дело по порядку.

Когда я остановился у жерла Ада, ведущего на Грачевку, из подземелья выползали с крупным говором различные полубубки, чуйки и проч. В открытую дверь клубами выкатывал гнилой, горячий воздух. В глубине где-то слышался шум сотни голосов, покрываемый по временам то воплем кларнета, то взвизгом высоких скрипичных нот. Переждав некоторое время, по узкой, крутой лестнице я спустился наконец в подвал, длиной сажень в пятнадцать-двадцать. Налево, у входа, помещалось что-то вроде буфета; по стенам были расставлены столы с стульями вокруг; такие же столы тянулись по середине комнаты, во всю ее длину, разделяя подвал на две почти равные половины. В половине, ближайшей к входу, громоздилась рус-

ская печь и при ней плита; следовательно, в смысле экономии, вертеп этот был устроен наилучшим образом: приемные комнаты и кухня вместе. Миниатюрные, загаженные окна как-то слезливо посматривали сверху, из-под сводов, покрытых штукатуркою, точно опухшею от сырости. Пол был усыпан песком; но так как грязи было на улице вдосталь и так как каждый приносил этой благодати на своих ногах по силе возможности, то в подземелье образовалась какая-то каша, которую немилосердно месили сотни ног. Чаd и дым, в соединении с различными бакунами, махорками и тютюнами, резкий спиртной запах и, наконец, — самая обыкновенная вещь, — запах сотни живых существ — все это, смешавшись, образовало до того ядовитую кислотину, что уже одна подобная атмосфера неминуемо повергала каждого приходящего в одуренное, патологическое состояние. Несколько газовых рожков чуть брезжили в тумане, наполнявшем Ад. Десятка три-четыре голосов, с аккомпанементом скрипки и кларнета, неистово отхвывали какую-то русскую песню, то высоко забирая во всю силу молодецкого горла, то падая до самых низких нот, так что по подземелью в это время распространялся сплошной гул, из которого робко, ползком, карабкался фальцет запевалы — вот он вырезался, блеснул, как звездочка, и покатился, подавленный массою хора. Дрогнули стекла от дружного рева, усиленное замелькал газ, подвал наполнился до верху звуками, — а фальцет опять фигурно выбирает:

Па-лы-ла ле-э-бидь,
Па-лы-ла ле-э-бидь...

Протолкавшись между различными оборванцами, я наконец попал, как говорится, в самую центру и присел у стола. Песенники и музыканты, толпившиеся посередине комнаты, были от меня в двух шагах; часть публики теснилась около этих виновников общего веселья, другая или сидела за столами, распивая чай, пива, водки и т.п., или бесцельно бродила по длине подземелья.

Я спросил чаю и, покуда ловкий ярославец-половой, с сочным фонарем под глазом, накрыл стол грязной салфеткой, — принялся рассматривать посетителей Ада.

Лица и костюмы были самые разнообразные. Из-за пьяных, грязных, искалеченных мужских физиономий иногда выглядывало миловидное личико девушки; русская, кудрявая, типичная голова молодого парня красовалась между старыми, изборожденными морщинами лицами женщин, известных на Грачевке под именем теток. Полудетская физиономия с ярким румянцем на щеках, алыми губами и светлыми голубыми глазами, стояла рядом с другой физиономией — на лбу широкий шрам, волосы и седая борода включены, губы черно-синие, и такие глаза, какие редко можно встретить: кажется, одного этого взгляда довольно, чтобы определить профессию человека...

Костюмы разнообразны не менее лиц.

Полушубки, тулупы, поддевки, сюртуки и мужские платья неизвестного покроя мешались с карналинами, платьями, бурнусами, сапогами и прочей женской утварью. Тут из толпы вырезывался русак в яркой пунцовой рубашке, в плисовых шароварах и сапогах с высокими голенищами; там виднелся какой-нибудь выскочивший из жизненной колеи портных дел мастер, Мирон Прохоров: халатишко-то, признаться, хоть и есть на Мироне Прохорове — да больше-то ничего.

— Уж извините, православные! — бормочет Прохоров. — Потому всей моей одежи один этот халат остался, давеча сапоги и шапку пропил, — и Мирон откровенно кажет всему Аду свою наготу.

Вот, как раз против моего стола, сидят несколько женщин. Одна из них перекинула через плечо грязную тряпку и уверяет подруг, что теперь она цыганка; другая, покачиваясь из стороны в сторону, толкует о своей любви к какому-то Андрюшке, с которым она не виделась уже три дня.

— Как пропили мы с ним, с подлецом, мою сбрую, с тех пор и не вижу. Три дня вот хожу в одной блузе, а он, мерзавец, не спросит: как, мол, это ты, Анюта, раздевкой по морозу бегаешь?

Ярославец подал чай.

В подземелья между тем появилась новая личность, рельефно выдававшаяся из всей массы народа. Ростом пришелец выше толпы на целую голову; ширина плеч и толщина шеи прямо говорили за необыкновенную физическую силу; в руках гигант держал огромную дубину. Он появился именно в ту минуту,

когда Ад, окончивши песни, готовился перейти к пляске. Но так как охотников плясать было слишком много, то неминуемо произошел спор между плясунами. Голоса споривших шли все выше и выше; дело готово было окончиться потасовкой. Кое-кто начал уже засучивать рукава. Послышались вызовы вроде: «Ну, тронь, тронь! Попробуй!»

— Смир-рна! — ревнол гигант, и так ревнол, что задребезжали стекла.

Могучий зык, подхваченный сводами, как гром, покатылся в глубину Ада.

— Вот леший-то, право, леший! — забормотали сидевшие против нас женщины. — Испугал даже, окаанный!

Гигант был цербер Ада. Дубина, которую он держал в своих крепких руках, признавалась здесь за единственное средство к водворению тишины.

— Кости в мешок соберу! — крикнул геркулес, поднимая палицу над головою.

Наступила тишина. В минуту плясуны поладили между собою и прежний фальцет сладко заныл:

А-х, вы се-э-ни ммаи, се-э-ни,

Се-э-ни новые ммаи...

— Э-эх! — вынесли сто грудей, —

Се-э-ни новые, кленовые,

Решетчатые!..

Женщина, подобрав платье, насколько только возможно, и какой-то грязный джентльмен отхватывали трепака. Все сбились в кучу около танцующих. Некоторые влезли на столы и стулья. Оглушительный рев одобрения потрясал мрачные своды Ада. Плясуны просто удивляли своим искусством: они отламывали такие коленцы, что привели даже в восторг гиганта.

— Ловко! Ловко! Дуй вас горой! — стрелял геркулес, плотно ворочая челюстями.

— Мишак, помнишь Гришку Грача? — спросил сомнительный паренек, стоявший впереди нас, у своего подобного же соседа.

— Ну!

— Какие же это плясуны? Разве Грач этак плясал?

— Да, показал бы он им... кузькину мать! За того, братец, купцы не однажды заклад держали. Первый по Москве был...

— Да теперь, чай, на каторге не до пляски?

— Что ты орешь-то, кобылья голова!

«Сени» кончились; плясуны сошли со сцены; ожесточенные рукоплескания и крики «браво!» долго еще разносились по подземелью. Публика неистовствовала до того, что не внимала даже крикам гиганта. Двое парней стали на четвереньки на столах и орала во всю пасть, как одурелые. Какой-то пьяный мужичонка снял с себя сапоги и бросил их в толпу, уверяя, что теперь он должен ходить босиком, потому что подлые ноги плясать не умеют.

Но вот гвалт мало-помалу стихает. Плясуны и певцы ведут речь о том, какую бы плясовую песню почудеснее сыграть.

— Я много городов на своем веку видывал, — рассказывает кто-то около меня.

— В Сибири-то долго жили?

— Два года.

— В ссылке али так, по собственному желанию?

— Нет, мой тятенька там прииски держал: руду золотую копали.

— Вот как-с, золото изымали?

— Да-а, — протягивает сын золотопромышленника. — Кабы не этикие дела, что тятенька капитал свой протратил, — разве мне бы сидеть тут с вами?

— Это точно.

— Я вон нынче на пять копеек обедал, — продолжает золотопромышленничий сын. — Да и то, слава тебе Господи, что хоть это-то есть; а иной раз походишь, походишь, да и заляжешь так, голодный, где-нибудь на бульваре под лавкой. Вот-с наша жизнь! А ведь тоже учили; по первоначалу-то ставили на такую ногу, якобы век миллионером жить.

— Истинно, истинно.

Громогласное «жги-говори» заглушило голоса разговаривающих. Начались прежние беснованья.

Я посидел еще четверть часа и, наконец отуманенный удушающим воздухом и оглушенный безобразными криками, решил покинуть это отвратительное жилище разврата. И направился к другому жерлу Ада, выводящему на Цветной бульвар. Из подземелья я попал в длинный, полутемный коридор, по обеим

сторонам которого, в крохотных клетушках, гудели мужские и женские голоса. Это адские кузницы, как выражаются жулики.

Наконец выбрался на Цветной.

— Николай Иваныч! — окрикнул меня кто-то.

— А! Крылов!

— Так точно-с. Что же мало посидели в нашем клубе?

— Да надоело. Теперь хочу пробраться в Тишину. Пойдемте, водки поставлю.

— Раненько бы мне туда забираться, Николай Иваныч. Ну, да так и быть, пойдемте. Благо на рюмку наткнулся — поотгрею хоть плоть свою, а то страсть как промерзла! Зябка нынче что-то стала, Николай Иваныч, плоть-то, не выдерживает.

Мы двинулись.

Небо начало будто проясняться и сбрасывать с себя непроницаемую пелену сплошных туч. Полная луна по временам выплывала на чистую лужайку между разорвавшимися облаками. Пустынные улицы звонко разглашали не только отчаянный визг и скрип полозьев, но даже скромные человеческие шаги.

— Где я видел прежде этот Ад или что я слышал подобное? — придумывал я, поспешая за коченевшим своим спутником.

И вспомнись мне далекие-далекие дни моего счастливого детства. Сажу будто я с няней; няня лениво шевелит аршинными спицами, выделявая из каких-то шерстяных веревок подобие чулка. Как ручеек, монотонно журчит ее тихая речь:

— Только шел он, шел, шел он, шел, — бурлит няня, — вдруг: бутых! провалился!.. И провалился он, сударь ты мой, в тартары, в преисподнюю... Как очухался... батюшки мои! вокруг-то все змеи, все ехидны да разные гадины! И лижут они, голубчик мой, солон-камень...

Да, солон-камень лижут, действительно... Дал бы я этого камня поотведать кое-кому...

Тишина

Мы пробирались какими-то пустынными переулками. Вдали где-то гудел колокол, призывая к заутрени. Длинный обоз медленно тянулся впереди нас. Два русачка, на рысях, пробежали мимо.

— Ишь, поездушнички побежали, — заметил Крылов.

— Что это за поездушники? — спросил я.

— А вот, что с возов воруют. Их в городе мало, потому что главная работа не здесь, а около застав, у придорожных кабаков, постоялых дворов, или подобное что-нибудь.

— А сколько в Москве мошенников? — спросил я.

— Да как вам сказать, Николай Иванович: со мной тысяч двадцать будет.

— Нет, не шутя.

— Да ведь Бог их знает, Николай Иванович... Тут, свет, одних нищих тысяч шестьдесят; стало быть и рассудите, сколько должно быть жуликов, когда от милостыни до воровства один шаг: подают — честный человек, не подают — вор, потому что брюхо, оно ведь не спрашивает, как добудешь — подваливай только...

Вот пришли наконец и в Тишину. Наружность дома была довольно прилична. Тишина занимала два этажа: внизу помещается черное отделение, вверху — чистое. Мы зашли сначала вниз. Десятки русских извозчичьих голов дремали у столов. Воздух, густой и спиртуозный, отличался всеми конюшенными качествами. Сразу, в первой же комнате, мы наткнулись на отвратительную сцену: несколько человек барахтались в углу, стараясь осилить оборванную, безобразную женщину. Женщина вопила, кусалась, плевала — все напрас-

но: молодцы схватили ее за руки, за ноги и вынесли на улицу, где бросили в сугроб. Общий хохот одобрения приветствовал эту дикую выходку диких людей.

— За что же они ее выбросили? — спросил я Крылова.

— Да так, побаловаться захотели. Ведь русский мужик чуден, Бог с ним, сидит, сидит он, да и надумает.

Мы поднялись по лестнице, наверх, в чистую половину. Отделение это, действительно, было чище первого, если понимать чистоту сообразно представлению о ней русского, да еще московского купца. На окнах висели некогда белые занавески, мебель когда-то была покрыта шерстяной материей; в одной комнате даже стоял орган (машина у москвичей) — роскошь, недоступная для Ада. Но публика та же, что и в Аду, с тою только разницею, что там она бодрствует, кричит, ломается, а здесь или дремлет, или окончательно спит.

Я спросил водки.

— Что, много знакомых?

— Да все знакомы, — отвечал Крылов.

— А это что за личность, что дремлете вон в углу?

— Ах, это уморительная вещь! Это купец Стругалов. Он, видите ли, поссорился за что-то с женою, ушел от нее да назло и живет здесь другую неделю. Вчера, вы посмотрели бы, что тут было... Пришло выручать его народищу человек пятнадцать: жена ревет, родственники упрасивают, денег ему рублей триста давали, только бы шел отсюда, — ни за что. Так уперся, уперся, и ни с места... А ведь теперь сидит без гроша и с себя-то все спустил.

— Ну-ка, Крылов, выпивайте.

— За ваше здоровье.

— Кстати, Крылов, расскажите-ка что-нибудь о своей жизни; Вы же мне, если помните, когда-то обещали. Расскажите? А?..

— Извольте. Заряжу еще одну, и тогда начну полегоньку. Все нужно делать полегоньку — даже выпивать, потому что *trop boire est malsain**, говорят французы.

— Жизнь моя, Николай Иванович, странная жизнь! Родился я,

* Пить слишком много вредно для здоровья. — *Прим. ред.*

кажется, как и все родятся — от отца и матери, фамилию которых ношу до сих пор, да доля моя не такая вышла, как у других. Родился я в Москве, на Пятницкой, в собственном доме, который теперь находится в руках сестры, тресни она на пять тысяч кусков! Кроме меня да вот этой пузатой сестры, у отца была еще дочь (околела уже: не хуже покойница живой-то была). Жили мы роскошно, то есть по понятиям русского купца. Сестры мои были гораздо старше меня и все сидели разряженные у окошек да поглядывали на улицу: мухи эти, бывало, их запакостят даже — все сидят. Первыми воспитателями моими были нянька да отцовские приказчики (молодцы). Грамоте учился я у какого-то замоскворецкого урода и учился довольно уж поздно — лет десяти, должно. Однако хоть и поздно я начал ученье, но книжное дело скоро смекнул, потому что от природы был я мальчишко шустрый. Вот-с, после всего этого ученья, когда, то есть, научился я читать и писать да маленько арифметику понял, приезжает из Сибири давнишний приятель отца: воровали они там что-то вместе, деньги наживали, по общепотребительному выражению. Глянул этот купчина на меня, да и спрашивает у отца: «Что ты из него хочешь сделать?» — «В лавку, говорит, посажу, нетрог обучается торговле помаленьку» — «Не нужно, — говорит приятель, — пушай его, говорит, по ученой!» Отдали меня в коммерческое училище, потом в академию загнали — везде я шел ничего, порядочно. Лет двадцати прошел всю науку. «Гони его за границу!» — советует отцу приятель. Ноне, говорит, такая мода вышла. Погнали за границу. Прожил я в Париже месяцев десять, так болтался, шаболды бил. Мальчишка я был молодой, силищи этой во мне тьма, ничего-то я всласть не попробовал, живуци в Москве, — вот на чужбине-то и развернулся! Таких чудес насадил, — страсть! В первое-то время только и знал, что шлялся по этим разным увеселительным заведениям. Одначе ума во мне и тогда, стало быть, немало было: месяца через три-четыре остепеняться начал. Сошелся я в это время вплотную с одной модисточкой: такая, Николай Иваныч, была модисточка, что дай Господи всякому человеку подобную жену иметь. Любовно прожили мы с ней месяцев пять. Характер-то, Николай Иваныч, уж очень хорош был у ней. Французского, верите ль, ничего: ни она тебе сло-

во какое фальшивое скажет, ни обманет тебя в чем-нибудь, — ангел была, а не женщина!.. Позвольте выпить, Николай Иванович.

— Сделайте милость.

Крылов выпил, и продолжал:

— Только, Николай Иванович, получаю я однажды письмо из дому, и приляпана к этому письму печать черная, с тарелку величиной. «Что такое?» — думаю. Распечатываю. Письмо от матери, и уведомляет она меня в нем, что умер отец и что дела наши в расстройстве: приезжай! Как тут быть? Куда девать свою Вильгельмину? Бросить — ни за что, потому она мне дороже жены; с собой возить — проклянут, если узнают. Нечего делать, повез: кляните, думаю, черт с вами! Приезжаем. Устроил я ее на квартире и бегаю к ней, крадучись. Все капиталы, по завещанию родителя, скажу Вам, Николай Иванович, перешли к матери, стала властна она распоряжаться ими, как ей угодно. Вот-с, заправляю я делами отлично. Наши купцы просто дивуются на меня. Хорошо. Только, Николай Иванович, слышу-послышу, начинают про меня сплетни воротить, стараются довести до матери, что так и так — с французенкой сцепился. Ничего, думаю. Однако вижу, мать покашивается, а сестры (в ту пору обе уж вышли замуж), так те просто в глаза говорят, что я их срамлю перед добрыми людьми. «Подите вы к чертям, дурищи! — думаю про себя. — Вас ли можно осрамить? Да такого сраму-то, поди, чай и на свете нет!..» Только в одно прекрасное утро призываешь меня мать и говорит: «Что это, Миколай, про тебя болтают, будто ты с какой-то немкой там связался?» — «Правда, болтают», — говорю. «Да ты что это выдумал!» — крикнула она. «Ничего не выдумал, а просто полюбилась мне женщина, я и живу с ней...» И начала она меня костить, и начала костить; да еще если бы меня одного — ничего, стерпел бы; а то и ее-то ни за что, ни про что похабить. Так она меня этим безобразием оскорбила, Николай Иванович, что взял я да и бухнул прямо все, об чем только сам с собой, да и то с осторожностью, размышлял. «Если, — говорю, — вы так со мной поступать стали, так я скажу вам одно: я женюсь на этой девушке». Мать взвизгнула и бросилась на меня с кулаками. Ну, я, значит, кулаки-то отвел легонько, да и пошел прямо к Вильгельмине. По вечеру туда ко

мне прибежал паренек от нас и сообщил, что я изгнан из дому, лишен наследства и проклят. Теперь я Вам расскажу, Николай Иванович, как я повернулся после всех этих лишений наследства, проклятий и проч. Позвольте уж еще раз приложиться.

— Вот-с как мы изворачивались, — выпивши, продолжал Крылов свой рассказ. — Во-первых, я тотчас же начал подыскивать себе место. Надо Вам сказать, Николай Иванович, что делами отца я занимался отлично, стало быть, обо мне знали с хорошей стороны. Дня три, что ли, я пошагал по Москве, а затем поступил главным приказчиком к одному здешнему торговцу — в гостинном дворе тогда лавку имел. Прошло, может, каких две недели, я женился на Вильгельмине. Стали мы жить да поживать с ней наилучшим образом, потому жалованья одного я получал полтора ста целковых в месяц. Только живем мы это, живем, ни о чем не помышляя, а беда-то вот подходит к нам близехонько. Пришлось раз отправлять моему хозяину деньги в Петербург деньги немалые, тысяч десять рублей. Имелись у нас для этого артельщики, стало быть, им бы и исправить все, как следует, — так нет, дернула меня нечистая сила самому снести их на почту: артельщику, думаю, нельзя поручить такую сумму. Написал я письмо, положил в карман денежки, и пошел. Прихожу. Подошел к столу, откуда отправка идет, — хватъ — денег в кармане нет! Я просто очумел... Сейчас же бросился искать назад, по дороге, по которой шел, — ну, да разве найдешь?

— Впрочем, Николай Иванович, что же Вам рассказывать эти подробности, когда, я знаю, Вы вовсе не того хотите.

— Ничего, ничего, рассказывайте, — перебил я Крылова.

— Нет, я Вам изложу это дело накоротке. Впятили меня, Николай Иванович, в острог, потому раз судили так, что я эти деньги не потерял, а утаил... украл, короче сказать. Промаялся я в остроге год и семь месяцев, затаскали меня по судам разным, и потерял я тут все: и стыд, и совесть, а главное — потерял жену: не вынесла она этого удара, от чахотки померла. Вот-с, выпустили наконец меня, вменили только в наказание тюремное заключение да оставили в подозрении: и то купец-хозяин почему-то смиловался, просить стал, видно, раздумье взяло: ну, думал, как и в самом деле он не виноват? Что же мне было

делать? Чем питаться, какую работу работать? Совался и туда и сюда, и в том и другом месте шупал — ничего нет путного. Поначалу-то как будто и пойдет дело,хватишь этак шилом патоки, а потом, как узнают, что в остроге содержался за воровство денег (будь проклято это слово!), сейчас и поворотят рыло в другую сторону. С месяц я так-то бился, напоследок — терпенья не хватило — пошел к сестре, к замужней, думаю: поклонюсь ей, как ни больно, попрошу помощи. (Мать, надо объяснить Вам, умерла еще в ту пору, как я в тюрьме содержался.) Прихожу, сестра живет хорошо: дом каменный, лакеи в прихожей, зала вся в зеркалах. Докладывают: братец, мол, пришел, желает видеться. «Какой такой?» — спрашивает. Однако приняла. Так и так, говорю, сестрица, нахожусь я в крайности — не как брату, а как нищему, как голодному человеку, помоги мне. Она мне сейчас мораль принялась читать: зачем я против родительской воли женился, зачем мать не почитал... «За это-то вот Бог, — говорит, — и карает тебя; за это и в острог попал» — «Ну, — говорю, — сестра, разбирать вины мои теперь не приходится, а если ты хочешь сделать доброе дело — сделай, выручи меня, помоги!» Пошла она в другую комнату, да через минуту выходит ко мне и выносит рубль серебра. «Вот, — говорит, — что по моим средствам, потому деньги у нас все в обороте; опять же, маменька, когда умирала, так наказывала, чтобы тебе отнюдь не помогать, даже гроша медного не давать; а я, видишь, теперь против ее воли иду». Взял я, Николай Иванович, этот рубль, — даже руку ожег он мне, подлый, — да тут же и припечатал сестрицу таким манером: «Будь, — говорю, — ты проклята, змея, не проклятьем брата, у которого ты, может, пятьсот тысяч денег отцовских отбила, а проклятьем голодного нищего, проклятьем бедняка, у которого ты украла даже эти последние поскребки чести и совести, из которого, — говорю, — ты сделала подлеца, вора, разбойника!» Она, Николай Иванович, ничего, хоть бы глазом моргнула, только просит меня не ходить к ним, потому якобы я их срамлю своей бедностью. И пропил же я тот рубль! Так звонко закатил, что на другой день проснулся как раз в части!

— Ну, чем же вы жили тогда? — спросил я.

— Да как: чем жил? Всем жил. Начал заводить дружбы со всеми этими хорошими людьми, ел, пил на их счет, ночи либо

в трактирах да харчевнях проводил, либо у кого-нибудь из подобных друзей, а то так просто — заляжешь на бульваре под лавку и спишь, или под мост на Москву-реку отправишься — там започинаяешь... Этим же воровским ремеслом я никогда не занимался, потому что у меня под руками есть другое, тоже оно подлое — но все-таки не так. Я, видите ли, как человек поумнее других, учу их иногда разным штукам: как каждому по своему по ремеслу действовать, как с полицией ладить, как ответ дать, ежели спросят, — вот за это они меня и питают, даже водкой поят. Один только раз, помню, Николай Иванович, дней пять больно уж туго мне приходилось. Время, помню, по жульничеству было бойкое, потому подходил новый год, только мне все что-то не везет: есть нечего и у приятелей как-то ни у кого нет денег. Дня два, должно быть, таких выдались, что, верите ли, крошки во рту не было. Грешен, подумывал уж я стащить что-нибудь, да на счастье ничего такого не подвертывалось. А тут еще открылась на ноге рана, сапожонки на мне рваные, застуживаю я эту болячку — полезла она у меня все выше да выше, в колену. Испугался. Бегу к доктору. Тот посмотрел: это, говорит, рожа; Вам нужно сидеть дома и держать ногу в тепле. Прописал рецепт. Разумеется, какой тут рецепт, когда жрать нечего? Как вышел я от доктора, сейчас и изорвал его. Пушу, мол, дело на власть Божию...

Рассказчик на некоторое время смолк и печально опустил голову.

— Отчего же Вы, Крылов, не постараетесь как-нибудь выбиться из этой жизни? — глупо спросил я.

— Да как выбьешься, Николай Иванович, когда ваш же брат, сытый и счастливый, голодному ногу подставляет?

— Ну, Вы бы работой какой-нибудь занялись, самостоятельно бы трудились, тогда никто не подставит ногу; а подставил — по шапке.

— Эх, Николай Иванович!

— Что?

— Какая уж нашему брату работа?

— Да так-то лучше, что ли, жить?

— Лучше, Николай Иванович...

Крылов встал и горячо добавил:

— Теперь-то я совесть, честь, правду — все это коленкой придавил и ползаю кое-как; а как, по-вашему-то, начну я работать, выпущу на волю этих несчастных, дам им ход... да они загрызут меня, Николай Иванович! Я повешусь на первом попавшемся дереве, первым же камнем раздроблю себе голову!

— И лучше. Право, лучше смерть, чем подобная жизнь.

— Нет, Николай Иванович, не так — я цену-то жизни знаю... По-моему, напротив: лучше какая-нибудь жизнь, чем самая превосходная смерть. Разумеется, это от того, что во мне нет характера, ума, что я не понимаю, может быть, так глубоко, как Вы, всю подлость своей жизни; но ведь за это, Николай Иванович, не судят. А я вот что думаю, Николай Иванович... Если бы меня кто-нибудь поддержал, не дал бы этим разным проснувшимся, чести, совести и так далее, заесть меня, — вот тогда, может статься, я бы и воскрес; но так как такого человека теперь... Эх, нечего и толковать об пустяках!

Крылов махнул рукой, выпил водки и чрез пять-шесть минут мы вышли из Тишины.

— Куда же Вы теперь? — спросил я.

— Да пойду вот тут поблизости, на Мошок, там, должно быть, уж отперли.

Мы распрощались.

«Боже мой! И сколько таких погибших душ шляется по белу свету!» — подумал я, глядя на дырявое гороховое пальто Крылова, быстро исчезающее в непроглядной тьме Салтыкова переулка.



Николай Александрович Благовещенский

На литейном заводе

Из очерков русского чернорабочего труда

Н. А. Благовещенский (1837—1889) — сын полкового священника, писатель поколения «шестидесятников». Окончил Петербургскую духовную семинарию, где познакомился с Н. Г. Помяловским, автором знаменитых «Очерков бурсы». Начал литературную карьеру в 1862 г., с 1863 г. — постоянный сотрудник «Русского слова», позже — редактор, сделал много для привлечения в журнал других талантливых писателей «шестидесятников» (в их числе Ф. М. Решетников, Г. И. Успенский и др.). Из произведений Благовещенского более других известен роман «Перед рассветом» (1865—1866). В 1869 г. Благовещенского разбил паралич, однако он сумел оправиться и продолжить литературную работу, хотя и не с прежней интенсивностью. Рассказ-репортаж «На литейном заводе» опубликован в журнале «Отечественные записки» (1873, № 4).

Много раз приходилось мне приглядываться к разнообразным видам нашего чернорабочего труда и удивляться при этом чрезвычайной выносливости русской рабочей натуры и способности ее притерпеться к какой угодно обстановке. Видел я, например, нашего землекопа, который за какой-нибудь полтинник в сутки перетаскивает с места на место целую гору земли, более тысячи пудов весом, — и перетаскивает, по-видимому, совершенно безнаказанно для своего здоровья; видел в глинистой шахте того же землекопа, с помятой спиной и ногами, добывающего из земли такие огромные пласты глины, что поневоле удивляешься, откуда у него берется такая силища; видел торфяника, работающего по горло в болотной трясине и по нескольку лет сряду разминающего своим грешным телом гнилые куски торфа; видел, наконец, старика-газовщика, работающего с лишком двадцать лет сряду на газовом заводе в таком удушливом воздухе, в котором я не мог пробыть и десяти минут. Словом, видел я русского мужика за работой в земле, в воде и в воздухе и убедился, что почти все эти работы поставлены в самые невыгодные санитарные условия, при которых работнику приходится расходовать свои силы не столько на самый процесс работы, сколько на борьбу с этими условиями. Но ни одна из работ не бросается так резко в глаза своей разрушительной обстановкой и редко где труд поставлен в такие опасные условия в санитарном отношении, как на литейных заводах. Здесь мастеровому человеку приходится работать, так сказать, в четвертой стихии — в огне или по крайней мере в адском жару, среди раскаленного и расплавленного чугуна и железа, и в воздухе, постоянно наполненном дымом, чадом и искрами.

Не так давно, в зимний морозный вечер, мне пришлось быть на одном из наших литейных заводов и видеть там эту огненную работу в полном ее разгаре. На не бывалого человека она производит такое сильное впечатление, что, право, дивисься, как сумел освоиться с такой обстановкой привычный рабочий народ. А между тем и там встречаются старожилы, живущие на заводе по многу лет, и там для большинства работников и самый процесс и обстановка работы давно уже успели принять характер обыденности; значит, народ ухитрился притерпеться и к огню и обходится с ним, как увидим, так же спокойно, как с водой и с воздухом, то есть запанибрата.

Представьте себе широкий деревянный сарай, тесно загроможденный калильными горнами и разнородными машинами, между которыми оставлены небольшие площадки и проходы для рабочих и вообще для путей сообщения. В этих проходах толпится народ, и в разных направлениях шныряют между народом тележки с глыбами раскаленного металла. В самой середине мастерской с громом и воем вертится исполинское маховое колесо паровой машины и приводит в движение множество других — резальных, прокатных, подъемных и прессовальных машин. Все это гремит, стучит и мечет искры. Кругом все темно и черно от стародавней копоти, насевшей густыми слоями на стены, машины и людей. Свет прорывается только из мелких скважин в заслонках печей и чуть обрисовывает небольшие группы стоящих возле печей работников. Кое-где зажжены и газовые рожки, но они тускло мерцают в дымном воздухе и мало помогают делу. Вот где-то раскрыли жерло горна, красные струи света прорвались в сарай и на несколько минут ярко осветили и почерневших работников, и весь хаос движения; но закрыли жерло, и тьма стала как будто еще темнее. Вот в другом углу подняли цепями на воздух целую массу каленого железа, и опять все озарилось ярче прежнего, точно солнце какое взошло, а кругом него на далекое пространство густо рассыпались искры... Потом эту светлую массу спрятали куда-то, и в мастерской опять все померкло. Чтобы работникам не было душно и жарко, в крыше сарая разобраны доски, и сквозь эти дыры видно синее небо и светятся звезды. На дворе стоит лютый мороз, но вольный воздух, проходя по сараю, до

такой степени успевает нагреться, что только чуть-чуть обдаёт рабочих едва заметной прохладой. Но и этой прохладе здесь рады: без нее было бы совсем плохо.

Я между тем с целой компанией товарищей понемногу пробирался вперед между рядами машин и горнов.

— В этих горнах свариваются у нас разные пласты стали, железа и чугуна, — пояснял нам вожатый, сопровождавший нас по мастерским. — Не хочет ли кто-нибудь заглянуть в самое жерло: там, я вам скажу, огонек настоящий!

— Отчего не заглянуть, это любопытно, — ответили мы.

— Извольте, с нашим удовольствием. Ну-ка, Софрон, покажи господам огонек.

Кочегар Софрон, стоявший в раздумье у горна, к которому мы подошли, торопливо взял какой-то крюк и распахнул им загонку. Оттуда пахнуло на нас нестерпимым жаром; однако я ухитрился-таки заглянуть в нутро, но там до такой степени все слилось в одну огненно-белую массу, что трудно было разобрать что-нибудь, а между тем глазам было больно, и лицо точно кипятком обдавало.

— Сколько же примерно тут градусов? — спросил я.

— Во всяком случае, не менее восьмисот, это ведь огонек белокалильный.

— Недурен огонек...

— Зато мы теперича знать будем, каково нашему брату помещение на том свете приуготовано, — заметил, улыбаясь, Софрон и закрыл заслонку.

Этот Софрон сам был вылит точно из железа, до того прокалилось и прогорело его тело от постоянного соседства с огнем. Он был в одной рубахе нараспашку и с черной открытой грудью, по которой сочился пот. Волосы на нем будто спаленные, глаза подслеповатые и опухшие, но зато мускулы богатырские. Мне особенно бросились в глаза его руки, точно обгорелые и обугленные, с растрескавшейся кожей и со следами бесчисленных ожогов. Это — тип литейщика и кочегара. Тут все такие.

— Что, брат, тепло тебе тут, у печки-то? — спросил я его.

— Теперь-то что, теперь благодать, — ответил он, по-прежнему ухмыляясь. — Теперь хоть с воли-то холодком подувает.

А вот летом, так не приведи Бог! Тогда бы вы, барин, с нами тут так долго не баловались. Тогда бы...

— Эй, эй! Берегись! Ожгу! — раздался сзади меня торопливый крик, и в ту же минуту Софрон сильной рукой оттолкнул меня в сторону.

Я в испуге оглянулся. Трое рабочих с грохотом катили мимо меня тачку, а на тачке лежал огромный кусок прокаленного добела железа. Нас так и обдало от него искрами, светом и жгучим жаром. Кусок подвезли к печи, проворно вдвинули его туда, и опять Софрон повернулся ко мне, как ни в чем не бывало. Все это произошло так быстро, что я не успел опомниться.

— Что же это такое? — спросил я.

— А это, извольте видеть, пакеты для рельсов, — пояснил вожатый. — Они состоят из разнородных пластов чугуна, железа и стали и требуют, значит, различного жара для сварки; вот их и возят от одной печи к другой, пока все эти пласты не сварятся между собою. Тут ведь каждая печь свой жар имеет.

— А вы, барин, на всякий случай оглядывайтесь, — заметил мне Софрон. — Осторожность тут не мешает, неравно опять пакет.

— А бывают несчастия?

— Неровен час, можно ведь и обжечься, особливо с непривычки. У нас тут, слава Богу, народ все привычный, и потому несчастия бывают редко. Вот только в прошлом году один новичок попался. Сунулся он впопыхах, с дороги-то, когда пакет везли, да, видно, оторопел и поскользнулся, ну и упал прямо на пакет.

— И что же?

— Известно, что тут хорошего? Сдернули его проворно с пакета-то, да уж, бедняга, успел прогореть насквозь; с часок этак промучался, да и Богу душу отдал. Тут ведь расправа коротка.

Признаюсь, после этого рассказа я смотрел на пакеты с особенным благоговением и старательно посторонился с дороги, когда снова увидел вдали роковую тележку.

Мы пошли дальше к прокатной машине, на которой выделываются рельсы.

Машина эта состоит из двух огромных валов, наложенных один на другой и быстро вертящихся в разные стороны.

Между этими двумя валами устроен целый ряд выемок или дыр, которые, постепенно суживаясь, кончаются отверстием, имеющим форму рельсового разреза. Раскаленные пакеты постепенно пропускаются через все эти дыры, сдавливаются, вытягиваются и таким образом принимают вид обыкновенного рельса. По обе стороны машины стоят прокатчики, самый ловкий и сильный народ на заводе. Вот к машине подвезли тележку с готовым пакетом и с разбегу вдвинули его в первое отверстие; машина подхватила пакет и стиснула его между валами; раздался оглушительный треск, брызнули искры, и железо, извиваясь, вышло по другую сторону валов в виде неуклюжей, но длинной железной полосы. Там прокатчики подхватили ее крючьями, поддели железной цепью прикованной к потолку, и затем, размахнувшись, вдвинули во вторую дыру. С новым треском прошло железо между валами, а на той стороне ждали его уже другие прокатчики и тем же порядком вдвинули его в третью дыру и т.д. Все это совершается чрезвычайно быстро, и пакет за пакетом прокатывается без перерыва. Я долго любовался на эту оригинальную работу и на ту изумительную ловкость и силу, с какой исполняли ее прокатчики. Действительно, подобная работа требует от работника особенной ловкости и при малейшей неосторожности может окончиться для него очень дурно. Надо заметить, что когда раскаленная полоса железа проходит сквозь отверстие между валами, из этого отверстия, как из пушки, вырываются в упор работнику миллионы искр, а подчас и небольшие осколки каленого железа. В эту минуту прокатчик должен, что называется, вьюном извиваться, чтобы предохранить себя (особенно глаза) от увечья, и в то же время должен разглядеть сквозь искры и выдвигающуюся полосу железа, чтобы вовремя подхватить ее и отправить далее. Таким образом он в течение целого дня балансирует и извивается, как умеет, корчит страдальческие гримасы и изобретает подчас такие позы, каким, пожалуй, и акробат позавидует. Не забудьте, что при этом он постоянно должен оглядываться и назад, потому что сзади его стоит целый ряд горнов, из которых зачастую вынимают каленые пласты, на которые он при неосторожности может очень легко наткнуться; кроме того,

в промежутках между горнами и прокатной машиной постоянно шныряют тележки с пакетами, которых тоже не мешает остерегаться. Приняв все это в расчет, можно судить, до какой степени должен быть ловок, изворотлив и изобретателен прокатчик, чтобы спастись от увечья, угрожающего ему со всех сторон. Что же касается до физической силы, то и она при этой работе нужна недюжинная. Каждый пакет, или рельс, весит средним числом двенадцать пудов, а в течение одного часа прокатчик пропустит через машину до тридцати рельсов, следовательно, он должен передвинуть и перевернуть в течение часа до трехсот шестидесяти пудов раскаленного железа. А в день, значит (считая двенадцать часов работы), он передвинет более четырех тысяч пудов — и все это под градом искр, в невыносимом жару и при постоянной бдительности, чтобы не получить увечья.*

А между тем эти герои труда с виду вовсе не походят на силачей. Все они тонки и худы, как скелеты, с измученным выражением лиц, с распухшими глазами и с нервными угловатыми движениями. Все они, как видно, до того притерпелись к адской обстановке своего труда, что исполняют свое дело почти машинально. От скуки они иногда разные шутки выкидывают и развлекаются, как умеют. При мне один из прокатчиков в самом разгаре работы, заметив, что сзади него проходит с тачкой какой-то рабочий (должно быть, его приятель), быстро обернулся к нему и под градом искр ухитрился-таки выпачкать ему сажей все лицо, за что и получил от него сердитое прозвание «черта». Затем, как ни в чем не бывало, он с той же ловкостью подцепил крюком и цепью вылезающий из машины двенадцатипудовый раскаленный пласт, широко размахнулся им над головой и сильным ударом вдвинул в следующее отверстие. Как видите, еще шутят и заигрывают — значит, не совсем еще замерла в них жизнь от такой работы.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я своего вожатого, — насколько жгутся эти искры? Могут ли они, например, прожечь насквозь одежду или поранить тело?

* Если продолжать этот расчет далее, то окажется, что в течение каждого месяца (25 рабочих дней) каждый прокатчик передвинет до ста тысяч пудов каленого железа, а в год — до 1 200 000 пудов. Цифры, как видите, громадные. — *Примеч. авт.*

— Если в глаз попадет, будете помнить, могу вас уверить, — ответил тот с своей обычной улыбкой. — Да вот посмотрите, каковы эти искры...

Он остановил первого встречного работника и показал мне его одежду. Она буквально казалась пестрою от множества прожженных дырочек и пятен.

— Это все от искр, — заметил при этом вожатый. — Тут некоторые потому и одежду носят особую, из клеенки или кожи. А иной раз, я вам скажу, вырвется из машины такой кусочек, что, если не увернешься, он сквозь любую одежду до самого тела дойдет. Отчего ж они так и вертятся-то? Тут только гляди в оба, а то беда: с огнем, вы сами знаете, шутки плохие...

— А много ли жалованья получают у вас прокатчики?

— Главный-то приемщик получает в месяц рублей семьдесят, ну а другие, конечно, поменьше. Вообще при прокатных машинах рабочие получают у нас от шестидесяти копеек до рубля в сутки. Плата, как видите, хорошая, но только редко кто выстоит долго при такой работе.

— А что?

— Да так, неважину станет, слабеют очень. Иной постоит, постоит, да и просит потом, на перемену, дать ему другую работу; а потом отдохнет и опять — на прокатную. Работа-то, изволите видеть, хоть и нелегкая, да выгодная...

Мы отправились дальше.

Вот стоит исполинский паровой молот в пятьсот пудов весом и под ним исполинская наковальня. Этот молот, как известно, так премудро устроен, что может расплющить и превратить в блин целую гору железа, и в то же время по воле механика может ударить по наковальне так нежно, что разобьет только скорлупу подложенного ореха и не раздробит самого ядра. Этот увесистый молот висит над наковальней на высоте нескольких аршин и, по первому движению рукоятки механизма, может сразу грохнуться вниз. Вокруг молота толпятся рабочие, и сейчас, как видно, он войдет в действие. Недалеко от него в огромнейшей печи сваривается масса железа из множества мелких кусков, обломков и обрезков, в печи все они размякнут и даже отчасти слипнутся между собой, а потом их разомнут в блин под моло-

том, и из этой кучи обрезков выйдет, таким образом, плотная и цельная железная масса, которая и пойдет потом на разные работы. Между молотом и печью стоит подъемная и переносная паровая машина (кран). Вот железная масса уже готова: работники торопливо открыли огромное жерло печи, ловко зацепили крючьями машины за сварившийся кусок, машина завертелась, и кусок медленно поднялся кверху, брызгая во все стороны искрами и обдавая всех кругом невыносимым жаром. Вся эта раскаленная до тысячи градусов масса в несколько сот пудов весом на минуту неподвижно повисла в воздухе на цепях машины, ярко осветила собою все обширное помещение мастерской и затем медленно двинулась к наковальне. Жар от нее был до такой степени силен, что я должен был прикрыться от него полою одежды, несмотря на то, что стоял довольно далеко; а между тем рабочие во все это время сновали и копошились возле самого пласта в таком жару, от которого, пожалуй, и вода могла бы закипеть. Длинными крючьями они снимали с железа цепи и укладывали его как следует на наковальню. Как они могли выносить такой страшный жар — я понять не мог, и только торопливая судорожность движений и страдальческое выражение лиц видимо показывали, что и им нелегко...

Но вот все готово. По знаку мастера рабочие быстро отскочили назад; механик тронул рукоятку клапана, и в ту же секунду молот сразу сорвался сверху и с страшным грохотом рухнул на подложенный пласт. Казалось, все здание дрогнуло от этого удара и от того страшного треска, который вырвался из расплюснутой массы. На минуту все кругом исчезло от миллиона искр, брызнувших из-под молота во все стороны; образовался густой огненный туман, заслонивший собою на несколько секунд все предметы; потом туман рассеялся, и молот снова начал подниматься кверху для нового удара. И это с небольшими промежутками продолжается иной раз в течение целого дня, с утра до ночи. Перемежки в работе делаются для того, чтобы молот от чрезмерного жара не раскалился и не испортился. Ему дают время остыть. Что же касается до рабочих, то им остывать не дают, и пока молот отдыхает, они готовят новые пласты для разбивки или чистят самый молот. Вообще опытом

дознано, что рабочие от жара не раскаливаются, не плавятся и не портятся, а следовательно, могут работать безостановочно.

А между тем было бы весьма интересно знать в точности, насколько в самом деле подобная работа может влиять на здоровье работника. Мне говорили, например, что почти все рабочие на литейных заводах страдают болезнями, которые редко приходится встречать у русского мужика. Все они больны нервами и часто мучаются разнообразными нервными припадками. Это расстройство нервной системы, говорят, сильно влияет и на самый склад их понятий, мыслей и образа жизни: они большей частью очень суеверны, пугливы, склонны к мистике и подчас даже подвержены галлюцинациям. Насколько это верно — утверждать не могу, но невероятного тут ничего нет. Постоянная работа в едва выносимом жару, среди печей и каленого железа, при вечной осмотрительности от увечья, — по-видимому, не может не действовать вредно на нервную систему работника. Все это еще непочатый угол исследований для врачей-психологов и физиологов, которым предстоит в будущем решить эти краеугольные вопросы нашего чернорабочего труда. А до тех пор хоть бы цифры-то увечий записывали как следует да статистику болезней вели, а то и того нет!..

Котельное помещение, где производится выделка паровых и всяких других котлов, заказываемых на заводе, помещается в особых светлых и высоких мастерских. Здесь меньше огня, дыма и чада, зато отсюда на далекое пространство раздается оглушительный стук и грохот. Тут несколько десятков дюжих кузнецов почти без перерыва колотят пудовыми молотами в железные стены котлов, и котлы гудят, как колокола церковные; между котлами бегают другие кузнецы с раскаленными гайками и заклепками; третьи с громом передвигают с места на место железные плиты; четвертые сколачивают их в трубы и цилиндры — словом, деятельность полная, и гром отовсюду страшный. Вы, на первый раз, оглушены и изумлены, но ваше изумление еще более возрастает, когда вы замечаете, что даже из самых котлов тоже выглядывают люди. Это так называемые глухари — последний сорт заводских рабочих, обреченных на самый тяжкий, почти нечеловеческий труд и получающих за этот труд самое ничтожное вознаграждение. В котлах они, как

оказывается, играют роль подпорок, то есть своими грешными телесами представляют изнутри упоры для котлов, по которым здоровенные кузнецы изо всех сил бьют снаружи молотом. Труд этих глухарей до такой степени поучителен, что о нем стоит сказать несколько слов, тем более что из всех видов заводской работы этот чуть ли не самый тяжелый.

Помню, я в детстве видел однажды бродячего фокусника, который между прочим позволял ставить себе на грудь небольшую наковальню, а его товарищ в это время колотил по ней молотком — будто ковал что-то. Этим фокусом он приводил в неописанное изумление немалое число зевак, в том числе и меня. Здесь, на заводе, мне неожиданно пришлось увидеть точно такой же фокус, с тем только различием, что, во-первых, глухарь выделывает этот фокус ежедневно, почти без отдыха, по двенадцати часов в сутки, а во-вторых, здесь никто этому фокусу не удивляется, считая его делом самым обыкновенным и неизбежным при котельной работе. Чтобы понять эту неизбежность, надо знать, что котлы состояются из отдельных железных листов, которые по краям скрепляются между собою железными гвоздями. Каждый гвоздь имеет с одного конца неподвижную заклепку, а с другого конца заклепка накладывается на гвоздь уже тогда, когда он пройдет сквозь листы. Это делается так: котельщик влезает внутрь котла, вкладывает гвоздь острым концом в отверстие, проходящее сквозь оба листа, и затем плотно прижимает головку гвоздя к стенкам котла особым инструментом вроде рукоятки. Другой работник в это время тащит раскаленную добела заклепку и щипцами накладывает ее на наружный конец гвоздя, а третий работник тут же начинает пудовым молотом с размаху наколачивать эту заклепку на гвоздь. В это время работник, находящийся внутри котла, должен напрягать все свои силы, чтобы гвоздь от ударов не только не выскочил из отверстия, но даже не сдвинулся с места.

Работа, как видите, тяжелая, и напряжение сил должно быть неимоверное; тут грудь человеческая должна иметь крепость и стойкость железа, потому что она прежде всего должна вынести все те удары, которые сыплются на заклепку, мало того — вынести, даже не дрогнуть. Чтобы убедиться, до какой степени

подобная работа нелегка для человека, стоит только взглянуть во время работы на лицо и фигуру несчастного глухаря. В эти минуты он имеет такой страдальческий и измученный вид, что, глядя на него, делается «за человека страшно». Всей грудью навалился он на свои руки, которые судорожно сжимают рукоятку; глаза у него вытаращены, рот раскрыт, все мускулы тела неимоверно напряжены; капли тяжелого пота струями бороздят лицо; волосы, несмотря на ремень, встрепались и лезут на глаза. При каждом ударе он конвульсивно вздрагивает и силится ногами упереться во что-нибудь, но ноги скользят по гладкому и вогнутому дну котла — упереться им не во что. Подчас ради удобства ему приходится принимать такие неестественные позы, какие, не видав, трудно и представить себе: то он скорчится в три погибели, то свернется в кольцо на самом дне, то вытянется по диагонали котла, смотря по тому, в каком месте котла вбивается гвоздь — вверху, в середине или внизу у дна. Иногда при всех усилиях удержаться он все-таки теряет равновесие: сильным ударом его вдруг собьет с ног, гвоздь при этом выскакивает, и за такую оплошность на работника налагается штраф. Хорошо еще, если он успеет тотчас вставить гвоздь на прежнее место, но если заклепка успела уже охладеть, она более не годится для дела, и с работника тянут тогда двойной штраф, из-за которого ему придется несколько суток работать даром. Вот почему он так напряженно следит за гвоздем и не жалеет последних сил своих: даром-то работать ему не хочется, особенно такой страшной работой.

Но вот заклепка вбита, удары прекратились, работник переводит дух, торопливо расправляет затекшие члены, оттирает пот с лица и затем вставляет новый гвоздь в новое отверстие. И опять визжит молот, и трещит рабочая грудь от ударов. А там идет третий, четвертый гвоздь, сотый, тысячный и т.д., словом, идет битье до самой ночи. И за целый день такой мучительной работы котельщик получает вознаграждение всего от 40 до 60 копеек на своих харчах, между тем как штрафы вычитаются в размере не менее 1 рубля за каждую оплошность и доходят иногда даже до десяти рублей, смотря по вине рабочего. Вот какова эта работа! При виде всех истязаний, какие выносит несчастный глухарь внутри котла, невольно приходит в голову

вопрос: неужели при современном развитии техники и механики нельзя придумать никаких средств облегчить для человека эту пытку или даже вовсе заменить ее какой-нибудь механической силой? К сожалению, подобный способ заклепки котлов, насколько мне известно, считается неизбежным не только на наших механических заводах, но даже и за границей, где грудь рабочего тоже очень часто служит вместо наковальни.** Я хотел было заговорить с нашим проводником и расспросить его поподробнее об этом предмете, но попытка моя оказалась совершенно недостижимой. Я напрягал все усилия, чтобы выговорить или выкричать несколько слов, но даже сам не мог слышать своего голоса от страшного грохота и треска, раздававшегося кругом. Провожатый оглянулся на меня и тоже выразительно пошевелил губами, указывая на какую-то вещь, но я, конечно, тоже ничего не понял. Недаром котельщики носят на заводе название глухарей. Они до того глухи, что с ними и на вольном воздухе разговаривать трудно, и надо кричать им под самое ухо, чтобы они расслышали что-нибудь. Да и не мудрено оглохнуть, проводя целые дни среди такого грохота и особенно помещаясь во время работ внутри котлов, где все звуки концентрируются до высокой степени и легко уродуют уши, а пожалуй, даже и головы работников. Не без удовольствия вышли мы все на воздух из этой мастерской, у всех еще долго отдавался звон в ушах, и оставалось на сердце тоскливое чувство.

— Да-с, — проговорил в раздумье один из бывших с нами. — Зрелище весьма поучительное. Если бы сюда притащили какого-нибудь члена общества покровительства животных и заставили его поглядеть на работу глухарей, я полагаю, он от души порадовался бы, что животные — не люди.

Никто не ответил ни слова на эту выходку, только проводник поглядел на говорившего как бы с недоумением и при этом снисходительно улыбнулся.

— А в самом деле, скажите, пожалуйста, — обратился

** На некоторых заводах, как я слышал, заклепка прикрепляется к котлу особыми ремнями, которые работник, помещаясь внутри котла, должен из всех сил натягивать во время битья. Но этот способ, по напряжению сил и обстановке рабочего, мало чем отличается от описанного нами. — *Примеч. авт.*

я к нему, — я думаю, из этой мастерской всего чаще таскают работников в больницу да на кладбище?

— Не слышать, чтобы чаще, — флегматично ответил проводник. — Конечно, хворают, как и все другие, но особых болезней не заметно. Да и не с чего, по правде сказать: народ все здоровый.

— Но ведь не может же быть, чтобы такая работа проходила без влияния на здоровье! Ведь это, в сущности, только медленное самоубийство!

— Что вы, полноте! Убить человека не так легко, как вы думаете, а наш русский работник на это особенно живуч. Сначала-то, конечно, поломают его немного, а потом пообколотится, пообтерпится, смотришь — и привык. Вот эти самые глухари, что сейчас мы видели в мастерских, без малого все почти уже по десять лет работают в котлах, а есть и такие, что по пятнадцати и по двадцати лет поддерживают заклепки — и ничего: такие силачи, что смотреть любо. У них, поди, теперь ребра-то такие, что на них хоть железо куй, и то сойдет. Ей-богу-с. Вот глохнут только; да ведь и это мужику не большая беда: не в оперу же ему ездить. Не легко, конечно, что и говорить, да ведь никто его и не неволит: не нравится, ступай с Богом, держать не станут. Охотников-то на его место много найдется. Так-то-с!

Он говорил это с такой уверенностью и спокойствием, как будто дело шло о машинах, а не о людях. Но таков уж идеал работника на литейном заводе; он действительно должен быть вынослив, как машина, и по возможности стать выше тех физических ощущений, которым подчинены остальные люди. Зато многие и не выносят, ослабевают и бегут искать других способов существования. Остаются только самые выносливые и сильные, которые в состоянии притерпеться даже к роли наковальни.

Замечательно, что работа в котлах считается на заводе самою легкою, то есть легкою в том отношении, что она не требует никакой предварительной подготовки и за нее может взяться всякий, даже неумелый работник. Поэтому на такую работу поступают большею частью новички из пришлых. Придет, например, в Питер на заработки какой-нибудь степняк-мужик,

который, кроме полевых работ, и приняться ни за что не умеет, ну и занесет его нелегкая куда-нибудь на литейный завод искать работы. Ему все равно, что бы ни делать, только бы деньги платили. Долго он кланяется заводскому начальству, вымаливает какое-нибудь местечко; по целым часам стоит без шапки у ворот заводских, чтобы явиться на работу по первому зову, — и так, в ожидании этого зова, перебивается со дня на день недели две-три, а то и месяц. Наконец, если он сумеет разжалобить начальство или чем-нибудь угодить ему, его в виде милости наймут на завод сначала воду возить или грязь какую чистить рублей за пять в месяц на своих харчах; а потом и предлагают: «Не хочешь ли, мол, в котлах работать, мы тебе положим на первый раз копеек по сорока в день?» Измученный ожиданиями, мужик, конечно, рад-радехонек своему счастью: для котельной работы никакого умения от него не требуется, значит, за ученье никому платить не надо, была бы только грудь здоровая да крепкие руки, а этим богатством мать-природа его не обидела. Спокойно и с уверенностью влезает он в котел, под заклепку, и с этой минуты начинают ему отсчитывать каждый день по несколько тысяч ударов молотком по груди. Закряхтит мужичок с непривычки, занает у него грудь, заболят кости, так что в первые дни он еле на ногах держится, а потом постепенно начинает привыкать, да и привыкнет, только осунется весь и пожелтеет. Зато теперь он уж настоящий заводской глухарь, за что получает в месяц не пять рублей, как прежде, а десять рублей сорок копеек (конечно, если нет вычета за штрафы).

Но горе ему, если он не сумеет привыкнуть и обтерпеться, — тогда волей-неволей придется ему уступить место другим голодным; а их целые толпы давно уже ждут места и с радостью накинута на опроставшийся котел пробовать свои силы под молотом. Иной, проработав несколько времени, просит, как милости, другой работы и заступает иногда место товарища, который до сих пор колотил ему в грудь. Таким образом, он, в свою очередь, начинает обколачивать ребра другому степняку, который влезет на его место в котел. Конечно, наносить побои все-таки легче, чем получать их, но за кузнечную работу не умеючи тоже взяться нельзя, потому что тут уже нужна особая сноровка. Кузнецу нужно уметь бить одинаково как с правого,

так и с левого плеча, для того чтобы в случае усталости не бросать работу, а только переменить для облегчения размах молота и передавать его из правой руки в левую и наоборот. Иной раз, говорят, во время битья рука вдруг до того устанет и занеет, особенно с непривычки, что хоть совсем бросай дело; а тут этого нельзя: кузнец должен бить без перерыва во все время, пока это нужно, а то иначе заклепка может остыть раньше времени — и с кузнеца вычтут штраф немалый. В том-то и дело, что тут везде главным двигателем в работе является опять-таки штраф: он-то и принуждает работников изловчаться на все лады и приучать свое тело ко всяким фокусам, чтобы проделать все нужные штуки и получить таким образом возможность прокормиться и уплатить подати. А пока работник приучится к какому-нибудь мастерству на заводе, какое множество штрафов вычтут с него за его неумелость и невольные промахи! Иной до того проштрафится, что целые месяцы работает чуть не даром и, чтобы не умереть с голоду, входит в долги и в кабалу. Вот почему большинство работников и держатся упорно за ту работу, к которой они уже успели привыкнуть.

Вот почему и глухари по десяти да по пятнадцати лет сидят в котлах, не рискуя променять свою тяжелую работу на другую, хоть и более легкую и выгодную, но неизвестную. Котельщику только притерпеться к работе трудно, а как притерпелся, ему все равно, как его ни бей, он, кажется, и боли-то никакой не чувствует.

В самом деле, взглядываясь с любопытством в личности обтерпевшихся глухарей, особенно во время перерыва работ, я не заметил ни одного лица, которое бросалось бы в глаза своим жалким, болезненным видом; то есть, если хотите, все они имеют вид ненормальный, все сухощавы, измучены и желты, но зато все, по-видимому, бодры, у всех груди богатырские, руки жилистые, и мускулатура вообще сильно развита. Вылезши из котла, когда представится к тому случай, глухарь торопливо обтирает пот с лица и, улыбнувшись во весь рот, подходит к товарищам — и только учащенное дыхание дает заметить, что он сейчас вынес тысячу-другую ударов молота. Тут, как ни в чем не бывало, идут шутки, щипки, толчки, рабочие мажут друг друга маслом и сажей, замахиваются друг на друга молотками, толкаются и хохочут, точно школьники, особенно если мастер

в это время не следит за ними. Глядя на эти беззаботные игры, я невольно соглашался с мнением нашего провожатого, что убить человека не так легко, как это кажется с первого взгляда.

Нам оставалось осмотреть еще одно отделение завода — литейное, или плавильное. Мы вошли в обширный деревянный сарай с толстыми бревенчатыми столбами в виде колонн, которыми подпирается потолок. В самой середине потолка устроено нечто вроде купола, с круглым отверстием для вентиляции, через которое тоже видно небо и светятся звезды. По углам стоят высокие плавильные печи (вагранки), в которых расплавляется чугун. Справа от нас, в земляном полу сарая, два формовщика старательно выделывали формы для отливки, а по сторонам их уже в готовых четырехугольных формах огромного размера сверкал расплавленный металл, очевидно еще недавно влитый туда. Уровень металла был одинаков с уровнем земли. В мастерской было темно, несмотря на несколько газовых рожков, мелькавших по стенам, и в этой темноте формы с расплавленным чугуном казались небольшими огненными прудами. Станный вид имеет эта огненная жидкость. Кажется, будто целая масса пламени сжата в одну кучу и придавлена сверху матовым стеклом — под ним она кипит, волнуется, вспыхивает ярким блеском и опять меркнет; огненные струи в разных направлениях перебегают по всей массе; то свиваются в круги, то покрывают поверхность какой-то рябью. В виде опыта я бросил в одну из форм окурки папиросы, бывший у меня в руках, и стал глядеть, что из этого выйдет. К удивлению моему окурки долго плавали по поверхности жидкости, вертясь и мечась в разные стороны, но только что я успел ответить на какой-то вопрос моего соседа — окурки исчез так быстро, что я и не заметил. Глядя на массы налитого в формы чугуна, мы между прочим разговорились о том физическом законе, по которому в расплавленный металл можно опускать руку без всякого вреда для себя и даже без следа обжога.

— Если хотите, вы можете сейчас же в этом убедиться, — заметил нам проводник наш. — Здесь они все мастера на эти фокусы.

— Будто?

— Да обратитесь к любому работнику, всякий вам устроит что угодно. Да вот, к примеру, стоит молодец, спросите-ка его на пробу.

Мы подошли к вагранке, подле которой стоял парень лет двадцати, все время с любопытством следивший за нами.

— А что, молодец, — спросили мы его, — пробовал тут кто-нибудь из вас опускать руку в расплавленный чугунок?

— Да я и сам умею, пробовал, — ответил тот, утираясь рукавом.

— Ну и что ж, горячо?

— Нет, оно ничего, не жжет, только, известно, сноровка нужна. У нас тут на старом заводе и такие мастера были, что вынимали деньги из чугуна.

— Как так?

— Да так; бросят ему в ведро с чугуном примерно двугривенный, он сейчас же руку туда по самый локоть, ну и вынет; только этот двугривенный, по условию, он уж себе берет, в награду, значит. Много он собирал денег, особливо с господ, а те, известно, за деньгами не стоят, только бы побаловаться.

— А ты пробовал когда-нибудь такую штуку?

— Я? Нет, по правде сказать, не приходилось. Да тут штука, надо быть, тоже не хитрая, только опять сноровка своя нужна. Я вот по плите горячей бегал.

— Это еще что такое?

— Да вот как вынут плиту из печи или пакет, что ли, снимешь сапоги, да и пробежишь из конца в конец, а то и взад побежишь, по плите-то...

— По раскаленной плите?

— Она, словно уголь, так и пышет, а ничего — не вредит, только надо примечать, чтоб на ней сору никакого не было, значит, чистая и гладкая была; а то чуть камушек какой попадетсЯ или шпенек, что ли, торчит, — беда, так в ногу сразу и вопьется.

— Значит, бывали и несчастья?

— Как не бывать, бывали. Да вот еще не так давно один паренек сторяча-то вскочил на плиту, не оглядевши ее как следует, да и свету потом не взвидел, — прямо с плиты в больницу его и стащили. После мы оглядели плиту-то, а на ней крохотный камушек лежит, от золы, надо полагать, или ветром, что ли на-

веяло, — он-то всему причиной и был. А паренек месяца три пролежал в больнице, да без ног остался. Вот какие дела у нас бывают.

В это время к вагранке подошел старый плавильщик; он приставил к ней железное ведро, покрытое внутри слоем извести, проколупал в печи отверстие, и оттуда медленно потекла в ведро струйка огненной жидкости. Вместе с нею из отверстия стали вылетать во все стороны, как ракеты, яркие, радужные искры (шлаки). Ведро мало-помалу наполнялось.

— А что, возьмешься ли ты опустить руку туда? — спросил я того же словоохотливого парня. — Мы бы тебе за это двугривенный дали.

У парня забежали и заискрились глазки.

— Отчего же, — ответил он тихо. — Если прикажете, я хоть сейчас. Только вот что, — прибавил он еще тише, — надо будет главному мастеру про это сказать, чтобы он, значит, штрафа не брал; у нас нынче на этот счет очень строго: чуть прольешь каплю какую, сейчас тебе два рубля штрафа, а тут ведь — неровен час — пожалуй, и расхлещешь маленько.

Мы переглянулись, но не решались.

— Вы только скажите, что вы желаете, — торопил рабочий, заметив нашу нерешительность. — Одно слово скажите, он вас и послушает; вот он там в углу стоит, мастер-то.

— Ну, а если несчастье какое случится, — спрашивали мы, — если руку вдруг сожжешь?

— Зачем ее жечь; вы только мастеру скажите, а там уж мое дело...

На нас напало раздумье, и овладел даже некоторый страх: что, если он в самом деле изувечится для нашей потехи, сумеем ли мы тогда обеспечить его? Стали мы рассчитывать, и оказалось, что всех наших капиталов не хватило бы для вознаграждения работника за такую бесполезную жертву. И мы порешили не вводить его больше в соблазн и отказаться от всякого опыта.

— Да ведь это закон науки, вы, значит, науке не верите, — горячо возражал нам бывший с нами студент, которому очень хотелось убедиться в несгораемости русского мужика.

— Вот нашли науку-то где, — ответили ему другие. — Да разве работник по правилам науки это делает? Разве он соблюдает

все нужные предосторожности? Он действует просто на авось: сходило, мол, прежде, авось и теперь сойдет, тем более что в перспективе двугривенный.

Это было до того очевидно, что возражать было нечего, и сам студент задумался и примолк.

Между тем работник все время не спускал с нас глаз и нетерпеливо выжидал, чем мы кончим.

— Так что ж, господа? Аль раздумали? — спросил он со вздохом, замечая, что мы собираемся уходить. — Всего бы только два слова сказать мастеру... А то, хотите, я сам скажу, что господа, мол, желают? Я живо!

Мы расхохотались. Ему, очевидно, было жаль посуленного двугривенного, а не руки своей, не увечья.

— Не надо, не хотим, вот возьми твой двугривенный.

— Да за что же-с? — спросил он, машинально протягивая руку.

— За то, что не отказывался от опыта.

— Ну, коли так, благодарим покорно; принуждать не могу. А то сказали бы, право. Я бы с нашим удовольствием. Нам это наплевать.

Мы вышли.

— Ну, вот видите, господа, какой тут народ бедовый, — сказал на прощанье проводник наш. — Вы вот давеча изволили дивиться на глухарей, а эти-то, пожалуй, еще почище будут. Тут из-за двугривенного любой готов на всякие штуки, а посулите ему полтинник, так он не только что в котел под заклепку, а пожалуй, целиком в чугу́н влезет, да и выкупается в нем. А под заклепку-то он и за гривенник пойдет. Тут ведь деньги дороги.

С этим нельзя было не согласиться.

Каторга и ссылка

Ф. М. Решетников. Шилохвостов

Н. И. Наумов. Поскотник

В. Г. Короленко. По пути

В. Я. Кокосов. Решенный



Федор Михайлович Решетников

ШИЛОХВОСТОВ

Ф. М. Решетников (1841—1871) — один из самых ярких писателей-«шестидесятников», автор напумевшей повести из жизни бурлаков «Подлиповцы» (1864). Родился в Екатеринбурге в семье дьячка. После окончания уездного училища работал судебным чиновником в Екатеринбурге и Перми, по служебным делам посещает горные заводы. В 1861 г. дебютировал в печати, а в 1862 г. переехал в Петербург, где напечатал серию произведений о быте уральских горнорабочих. В середине 1860-х оставил чиновничью службу, сотрудничает с некрасовским «Современником». Угрюмый и нелюдимый Решетников был склонен к запоям. В возрасте 30 лет он умер от отека легких. Рассказ «Шилохвостов» был впервые напечатан в еженедельнике «Будильник» (1866, № 63—64, 65—66).

Под горой, близь реки Дуги, протекающей мимо города П., назад тому несколько лет стояли избушки и дома, построенные, кажется, при основании города. Эти дома и избушки были до того стары, что многие из них подпирались бревнами. Домохозяевами этих домов были рыбаки и харчевницы, а жили у них круглый год бедные писцы, мещане, и летом временно бурлаки и судорабочие.

Всех домов под горой было не более тридцати, и они лепились друг к дружке очень близко, потому что в ширину по горе строиться было нельзя, даже гряд было мало оттого, что земля от дождей размывалась, и от нее часто отваливались порядочные камни; в длину строиться тоже было некуда. Кроме этого, весной на низких местах вода заливала дома по окна. Как бы то ни было, несмотря на разные неудобства, например, на ветры и снег зимой, разлив реки веснами, уносящий дрова и непривязанные вещи, подмыв домов от ручьев, льющих с горы от дождей, — обитатели слободы не думали переселяться в другие места. Здесь им был простор; здесь с них не спрашивали никаких городских повинностей; они могли делать все, и если падало какое-нибудь подозрение на слободу, то виноватых не оказывалось, так как все слободчане, как бы они ни были злы на кого-нибудь из своих товарищей, друг друга не выдавали. На это они имели свои причины, заключавшиеся главным образом в том, как говорится, что «от искр порох загорается». Рыболовством занимались мужчины; женщины стряпали пельмени, пирожки, продавали пиво и водку. И так как у каждого коренного обитателя слободки были, так сказать,

свои занятия, свои трудовые деньги, то иногда в ссорах они энергично доказывали друг другу свои права, которые состояли в том, что ты мне не указчик. На основании вот этих-то прав у слободчан и сложилась жизнь, непохожая на городскую. А именно: женщины занимались преимущественно торговлею не только внизу, в своей слободе, но и вверху, на городском рынке, ссорились с верхними торговками, надували покупателей, умели с одним веслом переплыть реку, ловили дрова, когда шел лед и т.п. Мужчины не считали за грех украсть лодку, канат и все, что плохо лежит за чертой слободки, и главное — свободно торговали в городе рыбой.

Днем не умолкали голоса женщин, а по вечерам голосили оба пола: жена доказывала мужу, что он подлец и она подлячка, поэтому они оба правы и друг другу не должны мешать. Дело заключалось в том, что в слободке, во-первых, большинство домохозяев были раскольники, только на бумагах считавшиеся единоверцами, а во-вторых, жизнь их была такая, что они постоянно находились в кругу народа и, например, веснами предавались разгулу, а проникнуть в их внутреннюю жизнь постороннему человеку было трудно, потому что в мало-мальском кураже посторонний человек, горожанин, которых они ненавидели, улетел бы с крыльца в воду, а полиция знала только харчевни, да и то часто спорила с служителями водяной коммуникации, которая нередко простирала свои права на слободку как на прибрежных жителей.

Нечего и говорить о том, что слободчане были народ крепкий, сильный, сметливый. От этого происходило то, что горожане иногда побаивались рыбачить на реке против слободки, а слободские ребята всегда хорошо поколачивали городских даже на бульваре, и без крику выносили наказание розгами.

Обрисовав в нескольких словах характер слободки, автор приступает к рассказу.

Почти в самой середине слободки стоял ветхий дом в три окна и с дверью, на половинках которой ничего не было написано и нарисовано. Казалось, что этому дому житья только до первой грозы, но он так засел в землю своими срубами, что выдерживал не только грозы, но и наводнения. Впрочем,

хозяин дома, Василий Терентьич Шилохвостов, обязал его толстой веревкой и эту веревку привязывал за сосновые деревья, находившиеся на горе, — как это делали и другие домохозяева.

Шилохвостов был рыбак; в то время, как у него родился сын от Маланьи Карповны, на которой он еще не был женат, ему шел двадцать четвертый год. Рыбак он был сметливый; знал чуть ли не все места реки на расстоянии тридцати верст, драчун был отчаянный, так что все его называли «сорвиголова», в спорах только его и послушать, но водки не пил.

Маланья Карповна была существо Богом данное, так как об ее отце и матери в слободке никто не знал, а попала она в дом Шилохвостовых очень случайно. Отец Василия Шилохвостова, возвращаясь домой с дровами, увидел плывущую без человека лодку. А так как ему не хотелось упустить лодку, то он и привязал ее к корме своей на буксир. Когда же он стал ее втаскивать на берег, то увидел в ней ребенка, уже полуживого. Тут к нему подошла его мать, и дело приняло такой оборот, что ребенок стал воспитываться матерью Шилохвостова.

Так и росла Малашка, как прозвали девочку слободчане. С пяти лет начали замечать в ней не то дикость, не то пугливость. Известно, что торгаши-рыбаки не могут выражаться негромко и вежливо, а почти каждое слово произносят где криком, где руганью. Слободские ребята к этому привыкли; но Малашка от каждого почти крику вздрагивала. Если заставляли ее что-нибудь делать, то она смотрела дико, бежала, и бежала не туда, куда ее посылали. С годами это не только не уменьшилось, но увеличилось больше, и с пятнадцатилетнего возраста она слыла во всей слободе за полоумную, так что все, от мала до велика, старались обозвать ее как-нибудь, осмеять ее. Но на все эти насмешки она только хохотала и бежала прочь с визгом — что еще более смешило молодежь и придавало им более смелости безнаказанно потешаться над беззащитной девушкой. А что она была вполне предоставлена самой себе, так это видно из того, что дома ее все считали бессловесной скотиной, били и почти каждый день хотели прогнать из дому, но не прогоняли потому, что через нее получали более дохода, чем от собственной работы.

Развитие ее остановилось на том, что она умела вязать чулки, варежки, стряпать пирожки, пельмени и черный хлеб. Печь белый хлеб она никак не могла выучиться. Мало того, она не сумела научиться даже куклы шить: иглу совала не так, как бы следовало.

В характере ее на семнадцатилетнем возрасте все замечали прилежание к работе; и она — стряпала ли, вязала ли чулки — пела песни большей частью любовного содержания; но привязанности ни к кому не выказывала, что еще больше подстрекало мужчин к насмешкам. Например, подскочит к ней парень и начнет ее щипать, она хохочет и визжит, а не ругается и не дерется, как это делается другими девицами рабочего люда. Но горе тому, кто сильно надоест ей и, так сказать, измучит ее: так укусит глубоко, что тот с полгода прохворает. Только на рынке крепко доставалось ей от шаловливых ребят. Подходит, например, кучка из пяти человек, и один отнимет у нее скалку и побежит, она за ним, а товарищи его возьмут и опрокинут в грязь корыто с рубленой говядиной. За этим, разумеется, хохот следует по всей харчевне; ругают Малашку мужчины, ругают Малашку и женщины, которым она очень не нравилась за то, что она не ругалась, не пила с пирожницами водку, не нюхала табаку, как это делают пьющие пирожницы, и, значит, не сыпала табаку в мясо, не допускала, чтобы в ее мясо плевали соседки, не зазывала криком посетителей; да у нее и хватило смекалки огородить своими досками себя со всех сторон на два квадратных аршина. Едоки пельменей любили поесть именно ее пельменей, потому что они оказывались хорошего качества, хотя десяток их стоил три копейки. Одно только замечали торговки, что после того как побалуют с ней парни или озорники-мужчины, она сядет в угол и давай нюнить. Бабы сперва захочут, а потом которая-нибудь из них примется уговаривать ее, что «здесь-де не лазарет, чтобы плакать. Плаканством своим ты, проклятая, только деньги от нас отбиваешь»... Но нигде не плакала так Маланья, как дома, и то по ночам, и плакала она горько, так что будила спящих. О чем она плакала? О том ли, что она неизвестного происхождения, о том ли, что ее ругают и смеются над ней все, о том ли, что ей Господь

Бог разуму не дал — она никому не говорила. Да если бы она и объяснила это кому-нибудь, так ее всякий осмел бы.

Так ее все и называли дурочкой. Так она и осталась дурочкой, когда родила.

Надо еще объяснить то, что семнадцати лет она не была красивой, а девушкой с смуглым лицом, не очень длинными волосами пепельного цвета; глаза у нее были карие, не выражавшие ничего особенного; росту она была среднего. К этому году, после смерти стариков, она осталась хозяйкой в доме и уже на рынке не торговала. Василий Терентьич, единственный наследник в доме, не выгонял ее, но, напротив, обращался с ней как с сестрой, да и она так привыкла и привязалась к нему, что когда его долго нет, то стоит, стоит на крыльчке, смотрит на одно место реки и вдруг заплачет... Говорил ли Василий Терентьич что-нибудь Маланье о любви своей — неизвестно; одно только известно, что Малашка родила сына, которого Василий Терентьич взял на руки, поцеловал и, ухмыляясь, произнес:

— Али я подлец?.. Человек как есть: парня сотворил!

Когда пришли в харчевню гости, он, показывая им младенца, спросил:

— В кого?

— В тебя... Глаза только чужие.

— Что глаза?! Вот вам слово: коли облик мой — никто, кроме меня, на Малашке не женится. Голову тому отверну, кто только прикоснется к ней, — кричал отец, а на глазах его появились слезы.

Через два месяца он женился на Маланье и усыновил Степана.

Маланья не изъявляла ни радости, ни удовольствия: ей как будто было все равно.

Нужно же было случиться так, что Василия Терентьича за воровство сослали в Сибирь на третьем году жизни Степана, а воровство было не пустое: утащил с пристани три куска меди, каждый весом пуда в полтора, и зашиб до смерти караульщика. Перемены в характере Маланьи Карповны не было никакой, только она теперь не плакала; над ней, как над женой и хозяйкой, не смеялись, но она похудела, глаза впали и сделались еще бессмысленнее. К мужу она ходила в острог, просиживала по

часу, но, как вообще бывает в простом народе, сидела молча, да и муж ее молчал или заговаривал с посторонними о рыбной ловле, о краже вещей. Муж знал, какое ему будет наказание, но говорил, что он человек молодой, и ему будет стыдно, если он не убежит. Жenu он за собой не взял, да и она не напрашивалась. Маленький Степан уродился в отца: он скоро понимал вещи, ругался, как и большие, и когда возвращался из острога домой с матерью, то храбро говорил, кому ни попало: «Тятка убежит. Меня сошлют — и я убегу рыбачить!».

Когда Маланья провожала мужа — она не плакала, зато всю ночь не могла спать, а утром, часа в два (дело было весной, во время разлива реки), четверо соседей видели ее с Степкой севшими в лодку. Когда один мужчина спросил ее: «Куда, Маланья Карповна?», она отвечала: «По рыбу», — и отплыла. Соседи удивились, пересказали своим семейным, те по-своему растолковали: «К Царю!», и, вероятно, вследствие этого простого заключения, сперва одна девица, потом целовальничиха, за ней калачница и, наконец, пирожница приходили к крыльцу дома Шилохвостовых и, увидев, что дверь не заперта, вошли поочередно сперва в избу (харчевню), потом в комнату, поглядели на стены, изукрашенные старанием Василия Терентьича разными лубочными картинками, на кровать, занавешенную ситцевым пологом, на крашенные заводской работы сундуки, погляделись в зеркало и ушли. Потом вся слобода занялась своими делами, об Шилохвостовой вспомнили только утром на другой день, но поговорили немного.

Так прошла неделя, в конце которой об ней уже успели все позабыть.

Ровно на восьмой день Маланья Шилохвостова, во втором часу утра, причалила к берегу. Лодка ее была нагружена березками; сама она, кое-как вздернувши лодку на берег, ушла домой.

Рыболовы, увидев в лодке Шилохвостова березки, расхохотались и пошли в его дом.

Маланья спала на кровати, но при шорохе скоро проснулась.

— Извини, Маланьюшка! Мы думали, какой грех случился, — сказал один рыболов-старик.

— А какой грех-то! — отвечала скороговоркой по-пирожнически Маланья.

— Березки-то зачем у те?

— А Троица...

— Троица когда была?.. А Степан-то где?

— Степанко?.. А почему я знаю... Степанко березки рубил...

— Грех!!!

— Да ты где была-то?

— Где? Исака в жертву приносила... — и Маланья захохотала.

Рыбаки вышли, потолковали и отрядили двух рыбаков плыть вниз по реке: одну по сю, другую по ту сторону.

Через два дня рыбак Мокрушкин привез в слободу Степана, и вот что он рассказывал слободчанам:

— Остановился я у елки и гляжу: кабы это Степка сидит у огня. Ладно! Вздернул лодку, руку эдак — потому солнце в глаз (делает левой рукой к глазам) — он!.. «Степка?» — кричу... А он, шельмец, только язык показал... «Ты что?» — говорю. Он глаза пялит, ажно ошалел... «Рыбак-то дома?» — спрашиваю... Он что-то мяучит — хяя!.. Вот провалиться... Вот я его накормил луком да простоквашей и взял его с собой, а сам снасти поглядел: рыбы — дрянь!.. Все налим поганой, а стерлядь одна... Щука сперва большая егозила, да жалость — сорвалась, чтоб ей триста раз зубы выпали... Ну, поехал я, а сам доглядываю, кабы Степка-паренек не юркнул. «Хочешь — говорю — ись?» — «Нии...» — А сам глаза жмурит. А я сидел в гребях, правило у меня что у вас, однако... Ложись, говорю, спи... Ну, и заснул... Приплыл к балагану, где Еллинский Куракин, да еще немец Покупар пристает ради шутовства... Тот мережи весит... Ну, он и толкует вот что: «Еду-де я с мереж и гляжу — на берегу лодка знакомая, на берегу огонь. Приплыл; трубку наколотил — смотрю: мальчонко к дереву привязан и как заревет!.. Я скорее, шарк ножом — чиррр!.. Мальчонко бежать... Вдруг — Маланья... «Это что же», — спрашиваю Маланью. «Исака в жертву». Как я ее хлесь да еще... Взял мальчонка и к себе... Вот те и все...».

После этого рассказа слободчане решили выгнать из слободы Маланью, сломать дом, а Степана Шилохвостова взять на поруки кому-нибудь.

Степана взял на поруки целовальник Петров.

Маланью выгнали взашей, но через месяц узнали, что она живет в городе с извозчиком Ходулиным.

И это опять история темная, но объясняется просто.

Ходулин был не городской извозчик, а обозный и притом ездил на чужих лошадях; в городе он бывал редко и обедал в харчевнях. Он еще до замужества Маланьи постоянно закусывал у нее и спал в доме Шилохвостова. Конечно, Маланье нельзя было, при всей ее глуповатости, не обратить внимания на Ходулина, но она на все его шутки и щипки постоянно отвечала хохотом, что, вероятно, еще более подзадоривало подвижную натуру извозчика. Когда он узнал, что Маланья вышла замуж, ему стало даже завидно, что не он женится на ней.

Максим Ходулин на полторы четверти выше Маланьи. Человек он телосложения здорового. Лицо обваренное, корявое, нос от ушиба приплюснут. Ему в год ссылки Шилохвостова было 27 лет. Глаза его выражают что-то отчаянное, горделивое и вместе с тем плутовское. Но нужно сойтись с ним где-нибудь: болтовня необыкновенная, сарказм, до слез доводящий даже человека образованного.

И вот эта увлекательность, сарказмы прельщали не одну девушку и женщину; но для Маланьи они были так себе, как и речи Василия Терентьича.

Но вот когда прогнали ее из слободы и когда она, сидя в харчевне с пятнадцатью рублями и семьюдесятью семью копейками в кармане, да с принадлежностями для пирожницы (по крайней мере, на 3 рубля), угощала того и другого уже подгулявших и опохмеляющихся, вдруг приходит Ходулин, важно спрашивает на тридцать копеек пельменей, садится ближе всех к ней, и вдруг на пятьдесят первом пельмене говорит ей смиренно:

— Лошадь у меня теперь своя, свой домишко в городе завел; хозяйство свое заведу... Пельмени некому стряпать.

Маланья смотрит на него дико, потом хохочет.

— Чему же ты, дура, смеешься?.. Хошь быть моей хозяйкой?

Маланья еще пуще засмеялась, а Ходулин ей доказывает, что они славно заживут; он — извозчик, она — пирожница, мальчонка к себе возьмут; товарищи его тоже советуют Маланье приютиться у Ходулина на том основании, что муж ее каторжный.

Так и приютилась Маланья у Ходулина, но целовальник Петров не отдавал маленького Степана, уверяя всех, что он с Васильем Терентьичем заключил на словах условие такого рода, чтобы ему, Петрову, до возвращения Василия Терентьича, приучать Степана к делу, воспитывать на свой счет. Да и Степан не шел к матери.

Прошел год, прошло два, три и пять лет. Никакой перемены ни в образе жизни слободчан, ни в характере Маланьи не случилось. По-прежнему торговали женщины в слободе, по-прежнему рыбачили и воровали слободские мужчины. Маланья жила с Ходулиным согласно и, хотя он, возвращаясь домой пьяный, и бил Маланью, но она была терпелива по-прежнему, торговала в харчевне и, хотя не пила водки как прочие, но уже умела ругаться. На ее поступок подруги не обращали внимания, потому что они сами были такие. Наконец на десятом году жизни Степана Ходулин прогнал от себя Маланью, и так как о муже ее не было слухов ни в остроге, куда она часто ходила, ни на пристани, где работали арестанты, то она поселилась у одного отставного рядового, сапожника Никитина, который стал требовать к себе Степана.

Степан весь, как говорится, вылился в отца, то есть был силен, сметлив и терпелив. Он знал, что мать его ведет себя нехорошо, и поэтому у него явилось отвращение к матери. К кабацкой жизни он привык, но не любил рыбачить. Мало того, что он сидел в кабаке, он успевал сбежать на бойню, находившуюся вблизи кабака, и с удовольствием смотрел на резню быков и свиней, за что часто получал подзатыльники. В это время, десяти лет, он уже умел кого угодно обсчитать и раз даже надул самого поверенного.

Никитин крепко взялся за свое дело. А Степан был ему нужен для того, чтобы иметь помощника. Начальство не вняло воплям Петрова и присудило Степану жить с матерью, но Степан стал бегать от нее к Петрову, и как мать ни драла его в полиции, а он не унимался и наконец поступил на бойню. Здесь не мешает объяснить отличительную от прочих слободских парней черту характера Степана. Бывало, сидит, сидит в углу лавочки, глаза у него сделаются дикими, вдруг вскочит и возьмет

плетку, висевшую около печки и употреблявшуюся Петровым в виде науки на спине Степана, и начнет этой плеткой стегать полуштоф. Если ему попадется в это время кошка, то он непременно отдует ее. И знал он, что за это ему плохо будет, но уж как-то случалось так, что он выходил из себя. Если бывали гости в кабаке, то он каждому отвечал на вопросы, возражения, остроты; и если ему надоедали, он вдруг, ни с того ни с сего, начнет ругаться, и ругаться так зло, что гости глаза на него выпучат. Однако с ребятами он играл без скандалов, и если его обсчитывали на бабках, он молчал и не дрался, как это бывает у ребят. Но случалось иногда, что если во время игры мимо него проходила какая-нибудь девица, он кидал в нее налиткой (бабка, налитая оловом), глаза сверкали, и уж его трудно было уговорить продолжать игру. За это он получил название от ребят — чудило, от девиц — злой.

Также он любил смотреть, как наказывают преступников. Но после каждого смотрин он делался печален и шел прямо в бойню.

Сперва, как водится, ему неловко было взяться за нож и очищать что-нибудь, но потом он так усовершенствовался и пристрастился к своему занятию, что не знал, как ему провести свободное время.

Девятнадцати лет он уже колол быков. И нужно было удивляться, с какой ловкостью он подплетал палкой ноги быка, скручивал веревкой голову и потом всовывал в шею быка огромный нож, поворачивал этим ножом, потом всовывал нож в горло и опять поворачивал. В это время на лице его замечалось удовольствие. Но, надо заметить, он не мог есть мяса своего колотья, а для него покупали из рынка, по крайней мере, говорили так.

Двадцати двух лет он сделался рослым, крепким и красивым мужчиной, так что, когда он одевался в черный кафтан, то свободские девицы заглядывались на него; но им казалась страшна его фигура, от которой их пробирала дрожь.

— Быков колет, — говорили они.

И если он приближался к ним, они бежали прочь с криком:

— Убьет! Глядите — с ножом...

Особенного расположения к женскому полу он не высказы-

вал, но у него была все-таки на примете одна девица Хорькова, дочь городского булочника; только она на него не обращала внимания и даже не знала, кто он. А он увидал ее раз на рынке, куда она приходила с отцом за мясом, потом случайно в булочной. Стал он ходить в булочную часто, заговаривал с ней, но раз отец подслушал его наивные слова и отправил в полицию. С тех пор он боялся ходить в булочную, а бродил мимо окон. Как только кончит он свое дело, вымоется и пойдет в город к дому Хорьковых; раз пройдет мимо, два — нет девки; зло берет.

— Возьму же я ее! — думает он и сжимает кулаки.

В одно из таких гуляний он увидел свою мать: идет она полупьяная, в худеньком зипунишке с кошельком. Остановилась она перед одним домом, поклонилась и проговорила:

— Подайте убогой, неимущей, православные...

Ей подала старушка из окна ломтик ржаного хлеба.

Степан подошел к матери, рванул за рукав и сказал ей: «Пойдем».

С этих пор мать поселилась в его комнате. Он жил на квартире, потому что отцовский дом давно был кем-то срублен и истреблен в печах.

Попытки завладеть Хорьковой не удалось Степану, вот он и послал мать в виде нищенки разведать: не собирается ли она замуж. Мать сходила, но ничего не добилась: ее даже прогнали из избы.

На другой день хватились Степана, а его нет, а через день слобода была удивлена тем, что Степапа Шиloxвостова поймали в спальне дочери Хорькова с ножом, и он уже чуть-чуть не нанес удара ей, как два работника, следившие за ним со времени его перелезания через заплот, схватили его за руку. На вопрос хозяина: «Что ты хотел сделать, мошенник?» — он отвечал: «Хотел заколоть твою дочь, потому она мне покоя не дает».

Степана Шиloxвостова посадили в острог.

На другой день с Шиloxвостовым сделалась горячка: он бредил, молол вздор. Однако ему не поверили, а стали снимать допросы. А так как он молол вздор, то позвали лекаря.

Лекарь признал его сумасшедшим, и только на другой день в губернском правлении врачи нашли, что он нездоров.

По выздоровлении стали его спрашивать:

— Зачем ты хотел убить девицу Хорькову?

Шиловостов молчит.

— Слышишь?

— Разве я хотел?

— Ах ты, мерзавец! Еще отпираться! Ведь ты сам сознался до лазарета.

— Быков я точно бил, а людей нет, вот провалиться на сем месте.

Бились с Шиловостовым два дня. На третий — он спросил:

— Так я точно не убил?

— Сознаешься — хотел?

— Как не хотеть, коли я убил, потому я ее, ух! как любил.

Стали судить Шиловостова, и этот суд продолжался полгода. В это время Шиловостов вел себя смирно, изредка играл в карты, ни с кем не ссорился, и если товарищи говорили ему: «Эх, голова, еще быков колот, а девку не мог убить», он вскакивал, вытягивался весь и ревел: «Али не убил?», так что все оставались с разинутыми ртами.

— Вот то-то, что не убил...

Шиловостов начинал искать свой нож и метался по камере, кидаясь то на того, то на другого. Удары его были так тяжелы, что арестанты перестали дразнить его, а только глазели, говоря:

— Эх ты, сердечный человек! Было бы за что в каторгу идти... Эх!

Уголовная палата усомнилась в здравом рассудке Шиловостова. Потребовали его на освидетельствование.

Лицо его похудело, глаза сделались дикими.

— Такого-то числа ты был в доме Хорькова?

— Точно так.

— Зачем?

— Хотел убить девку — и убил, потому я ее любил очень, а она, стерва, нет...

— С каким намерением?

— Понравилась, потому чувство имел, потому кто Богу не грешен...

Ф. М. Решетников

Члены захохотали.

— Для того только, что понравилась?

— Убил именно из-за того... Потому единственно, зачем она презирала меня...

Опять хохот.

— Господа, он не в здравом рассудке, — заметил доктор.

— Эдакая-то дубина? Что вы, г. доктор! Все эти мерзавцы довольно хладнокровны.

— Однако позвольте мне, как врачу, спросить его... Ты чем занимался?

— Коров-то бил — быков колол.

— Не надоело?

— Хотя сейчас, так вот как шарахну! — и Шиловыхостов сделал поворот так, что солдаты, до сих пор улыбавшиеся, теперь приняли угрожающую позицию, а один из членов вздрогнул.

— Ну, разве он не в здравом уме? — заметил член.

— Ты говоришь: убил, а тебя схватили.

— Это точно схватили... Вот что обидно!

— Что?

— Зачем схватили, когда я с быками управлялся? Небось, сам бы пришел, сознался.

— Надо позвать девицу Хорькову, потому что преступник уверяет, что он ее убил, — предложил доктор.

Но на это не согласился другой доктор.

Присутствие нашло Шиловыхостова в здравом уме. Палата решила наказать плетью и сослать в Сибирь.

Вдруг умер палач, и это сильно обеспокоило начальство.

Известно, что палач играет в глазах обвиненных важную роль. Теперь только о том и было речи: кто будет палач? Было даже несколько человек, которые хвастались тем, что они выпросятся в палачи. Но вдруг Шиловыхостов и говорит арестантам:

— А что, ребята, меня приговорили к плетям и говорят, что я девку не убил, так я же говорю: буду я палач единственно для того, что девку хочется застегать.

— А ежели придется мать свою наказывать?

— Не придется: она сумасшедшая, а сумасшедших не дерут.

После этого разговора скоро Шиловыхостова сделали палачом, а двое арестантов сошли с ума и попали в дом умалишенных.

В первое время Шилохвостову неловко было в родном городе исполнять должность палача, и он частенько получал наказания за неправильное выполнение своей обязанности, но потом так привык, что даже гордился. Жил он в остроге, в особенной комнате. Днем ему была дана полная свобода гулять по острогу, в город он выходил с полицейским солдатом, а на ночь его запирали. С первой поры арестанты боялись его, но так как он был со всеми вежлив, то все скоро привыкли к нему: он любезно разговаривал с ними, решал их споры, унимал ссоры, и все любили его. Случалось, если смотритель не мог справиться с арестантами, то приглашал Шилохвостова, и тот унимал арестантов двумя-тремя словами, а потом смотритель говорил нотацию, как нужно обращаться с арестантами. Но смотрители, вследствие ли нетрезвой их жизни, или вследствие мотовства казенного имущества, менялись часто, и так как они были вообще люди грубые, считали арестантов за таких людей, с которыми и говорить не следует, не только что уважить какую-нибудь их просьбу, то арестанты преимущественно стали относиться с просьбами к Шилохвостову: в лазарет ли кому хочется, водки ли кому нужно, или на рынок сходить — Шилохвостов все эти дела хорошо обделывал и даже частенько давал денег арестантам.

Дошло наконец до того, что ему нельзя было показаться во дворе во время прогулок арестантов: покажется — все обступят его, засыплют просьбами. Часто он жаловался стряпчим на дурную пищу, и это очень не нравилось смотрителям, которые почти постоянно жаловались на него городничему, но жалобы их почти никогда не уважались, потому что во время бытности Шилохвостова в остроге не было ни одного бунта.

Однако как арестанты ни раболепствовали перед Шилохвостовым, считая его царьком острога, все же они и побаивались его, потому что, как ни была мала вина каждого, каждый боялся того, что он будет наказан, да еще публично палачом.

Вот поэтому-то все и льнули к нему и изредка просили «не стегать шибко». Шилохвостов только посмеивался. Но нужно было видеть арестантов накануне наказания: они со слезами вымаливали у Шилохвостова пощады, а он сперва трунил, потом говорил: «Помажу... Дурак, брат, ты: али я не человек! Ведь там-то еще, чать, много придется терпеть». Так он говорил бед-

някам, и слово свое исполнял, делая вид, что наказывает изо всей силы, и даже при криках городничего: «Шибче! Самого задержу!» — привскакивал, но плетью ложилась легко, а не ударила. Подобные испытания он часто даже делал над арестантами в своей комнате. Были в остроге и богатые арестанты, и от них он наживался много, так что от этих доходов имел в городе свой дом, в котором жила его мать, уже сумасшедшая. Он был до того честный человек, что все деньги, бросаемые на эшафот зрителями, собирал в шапку несчастного и отдавал ему.

Прослужил он палачом десять лет и совсем изменился против прежнего: лицо стало бледное, несмотря на то, что он пьянствовал с солдатами и арестантами постоянно; сам он потолстел, волосы на голове вылезли, только борода придавала его лицу вид степенный; в выражении глаз было что-то задумчивое, и хотя он был человек веселый, но его красная рубаха и плисовые шаровары пугали всех. Он, то есть палач, был угроза для всех нечиновных людей половины губернии. В самом городе Плоске еще его не так боялись, потому что он часто рыбачил неводом (эта свобода ему была дана начальством во внимание примерного поведения и исправной службы), но зато в уездах, куда его посылали для практики, он наводил ужас на крестьян и мещан. О женщинах и говорить нечего: те его считали богоотступником. От этого с ним бывали случаи такого рода.

Раз он приехал ночью в одно село. Ехал он на земских в сопровождении казака. Земских не оказалось, да и Шилохвостов захотелось отдохнуть.

— Уложи-ка ты, брат, меня спать, — говорит Шилохвостов старосте.

Староста молчит.

— Аль боишься?

— Погоди, я бабу спрошу.

— Дурак, коли бабьего совету спрашиваешь. Припомню я тебе это.

Староста затрясся и все-таки пошел к жене.

— Офимья... Палач...

— Что ты! Неужели у нас? — всплеснула руками жена и вскрикнула.

— Я, бает, стегать тебя...

— Господи!

— Да дай слово сказать: спать просится.

Долго вопила жена старосты, ревели дети: наконец староста пошел в село искать для палача квартиры, но в селе никто не хотел принять богоотступника.

— Лучше под плеть лечь, чем его в дом пущать.

Когда староста воротился домой, Шиловостов уже спал на лавке у стола, на котором стоял пустой полуштоф и лежала недоеденная краюха хлеба.

По отъезде Шиловостова староста поднял образа, то есть освятил свой дом посредством священника.

В другом месте, в какой-то деревне, Шиловостову захотелось пообедать. Остановился он перед одним домом и строго наказал ямщику не говорить никому, кто он. В доме были только старуха-бабка, женщина-мать, дочь-невеста и еще трое ребят. Все они с удивлением поглядывали на вошедшего Шиловостова, одетого в черный кафтан, красную рубаху и плисовые шаровары.

— Здорово, тетка! Нет ли чего пообедать?

— Нету, родимый... Места-то здесь, сам знаешь, какие...

— Да ты не разговаривай: у те что, хлеб есть?

— Как не быть.

— Ну, вот и ладно. А говядину ты ешь?

— Каку говядину! Разе в светлый Христов праздник... Горошница есть.

— Ну, вот и ладно. Давай — заплачу.

Уселся он за стол, хозяйка-мать прислуживала, дочь-невеста пряла куделю и взглядывала изредка на него и краснела; ребята теребили его за кафтан.

— А ты, поштенный, из каких?

— Торговый человек, тетка: на площади знатно торгую красным товаром: и мужским, и женским.

— Это хорошо.

— А вот невеста-то, поди, замуж скоро выдет?

— Как не то: не все же в девках сидеть.

Между разговорами Шиловостов выпивал водку и по мере выпивки становился более и более разговорчив, шутил, острил, так что все бывшие в избе до слез хохотали.

Пообедавши, он поцеловал всех, поцеловал даже пришедшего на ту пору жениха хозяйской дочери, дал им рублевую бумажку; хозяйка было не брала, но принуждена была взять. Шиловостова вышли все провожать, а около дома, удостоившегося принять купца, столпился народ.

— Прощайте, православные. Теперь догадались ли, кто я? — спросил вдруг Шиловостов.

Жители деревни рты разинули.

— Видели: я крещеный?

— Крещеный.

— Так спасибо за угощение. самого палача Шиловостова угостили.

Жители ахнули, а Шиловостов уехал, и долго хохотал над своей штукой.

Но эта штука наделала большой переполох в деревне. Суевренные крестьяне, имеющие много предрассудков, считающие палача бичом Божиим, напали на принявших его к себе. Те божились, что они не виноваты, что верно уж так Господь Бог пристроил, послал им такое наказание. Но, несмотря ни на какие уверения, крестьяне положительно рассорились с добрыми людьми и побожились не иметь с ними никаких дел. Мало этого, рассказали об этом случае в соседних деревнях, объявили в селе начальству, что они Никиту Петрована не хотят иметь в своей деревне; но начальство не вняло этой просьбе. Жених отказался от невесты на том основании, что она из поганого дома, а от парня, целовавшегося с палачом, бежала каждая девка, а общество наперло-таки — сдало его в солдаты... А семейство Петрована в конец разорилось.

В характере Шиловостова долго ничего не замечалось выдающегося. Каждый день то он разговаривал с арестантами, то ходил по городу, навещал мать, разъезжал по другим городам, пил много водки, много спал — одним словом, жизнь была хорошая; но вдруг в нем начала проявляться меланхолия: стал он показываться на арестантский двор реже и реже, а если и выйдет, то сядет на землю в уголок и молчит; все деньги, полученные им от состоятельных родственников арестантов, он раздавал зря арестантам. Станут докучать ему расспросами

и разговорами арестанты, он уйдет в свою комнату, ляжет и смотрит на одно место или строит из карт домик. Даже водку стал пить реже. При исполнении своей обязанности он сделался нерешителен и почти после каждого исполнения получал наказания.

— Жениться надо тебе! — говорил ему друг-приятель, казак.

— Кто за меня пойдет, друг любезный? А ты сам знаешь, гульную девку мне не надо — таких у меня в остроге много. А скучно мне так, что я, кажись бы, готов в воду.

— Полно: ты ведь немало доходов-то получаешь.

— Плевать мне на них! Я бы дорого дал тому, кто заменил бы меня. На воле я давно не живал... Э! Пропадай моя голова, — заканчивал Шиловостов; и после такого заключения от него уже трудно было добиться слова.

Мать его умерла; после ее смерти он сделался еще задумчивее; его приятнейшей прогулкой было кладбище.

Живя с арестантами, имея рассуждение со всякими из них, он знал характер почти каждого, так же он знал и женские характеры. Конечно, к женщинам ему доступ был трудный, но он все-таки мог разговаривать с ними и даже имел интимные отношения с одной девицей, Машей, 18 лет, посаженной за кражу серебряных ложек на сумму свыше 40 рублей. Эта девица, впрочем, не сознавалась. Знал ли про его связь смотритель и заменявший эту должность квартальный надзиратель, только раз полицеймейстер и говорит ему:

— А что, Шиловостов, не думаешь ли ты жениться? У меня для тебя благородная есть.

— Покорно благодарю.

— То-то. Ты нынче что-то устарел в своем ремесле. Смотри, отставим.

— А что, в б-дие, ежели бы я точно задумал жениться, — можно?

— Попытайся.

— Да у меня в остроге есть такая, Марья Огорошина.

— А, это — что у купца деньги да серебро украла? Знаю, знаю.

— Точно так. Вот я и хочу уплатить деньги купцу и жениться на ней. А там дело пусть по-своему.

— Ну ладно, после поговорим.

Через месяц полицеймейстер объявил Шиловостову, что Марью Огорошину скоро выпустят, потому что «купец, по случаю своих именин и твоего согласия жениться на ней, прощает ее. Жди разрешения».

Шиловостов загулял, загулял и весь острог. Скоро Шиловостов женился на Марье, жил с нею дружно два года в остроге и прижил даже с нею сына.

В первый год женитьбы он был очень весел, и начальство не могло даже нахвалиться на него, но на другой год к нему опять вернулась меланхолия, а жена его вместо того, чтобы рассеивать его думы, то и дело корила его чем-нибудь вроде того, что он сидит сложа руки, пьет много водки, не качает ребенка. На третий год в нем начала появляться мономания: пробудится он ночью и ворчит:

— Зовут!

— Куда? — спрашивает с испугом жена.

— Зовут. Надо идти... Ах, работы-то ужас!.. Поскорее надо, — и он начинает одеваться.

— Да куда ты? Ведь сегодня некого наказывать.

— В слободе теперь пятнадцать быков — изволь их всех заколоть...

И он шел к дверям. Двери были отперты во внимание к его долголетней службе.

— Куда, Шиловостов? — спрашивает его часовый.

— Постой! А где же у меня фартук?.. Дурак! И ножа не взял...

Наконец он стал надоедать часовым, жене, смотрителю. Один раз солдата избил за то, что тот не пустил его на бойню.

Эта история больше продолжалась по ночам и по утрам месяца три; днями он был в здравом рассудке, только изредка задумывался.

Раз ночью он выскочил из своей комнаты с ножом и в фартуке, точ-в-точь как работник на бойне, и кричит:

— Гришка, что ж ты? Не справиться одному! — и потом убежал в комнату.

Немного погодя в комнату вошел смотритель с солдатами. В комнатке теплилась лампадка. Шиловостов крошит ножом кровать. Жены его и сына в это время не было в остроге. Увидев вошедших, он бросил нож и, схватив палку, ударил по плечу одного солдата и сказал:

— Ну-ну, христовая! Ну-у!!!

— Шиловостов! — крикнул смотритель.

Глаза Шиловостова горели, грудь поднималась широко; он широко размахивал палкой; наконец смотритель приказал связать его и запер в секретную.

Через день привели Шиловостова на освидетельствование.

Глаза его впали, щеки тоже, но были бледнее прежнего.

— Освободите меня, — не могу, — сказал Шиловостов.

— Чего же тебе нужно?

— Не могу без быков жить: страсть моя. Коли бабы не мог застегать — быков буду бить.

— А знаешь ли ты то, что ты третьего дня совершил преступление?

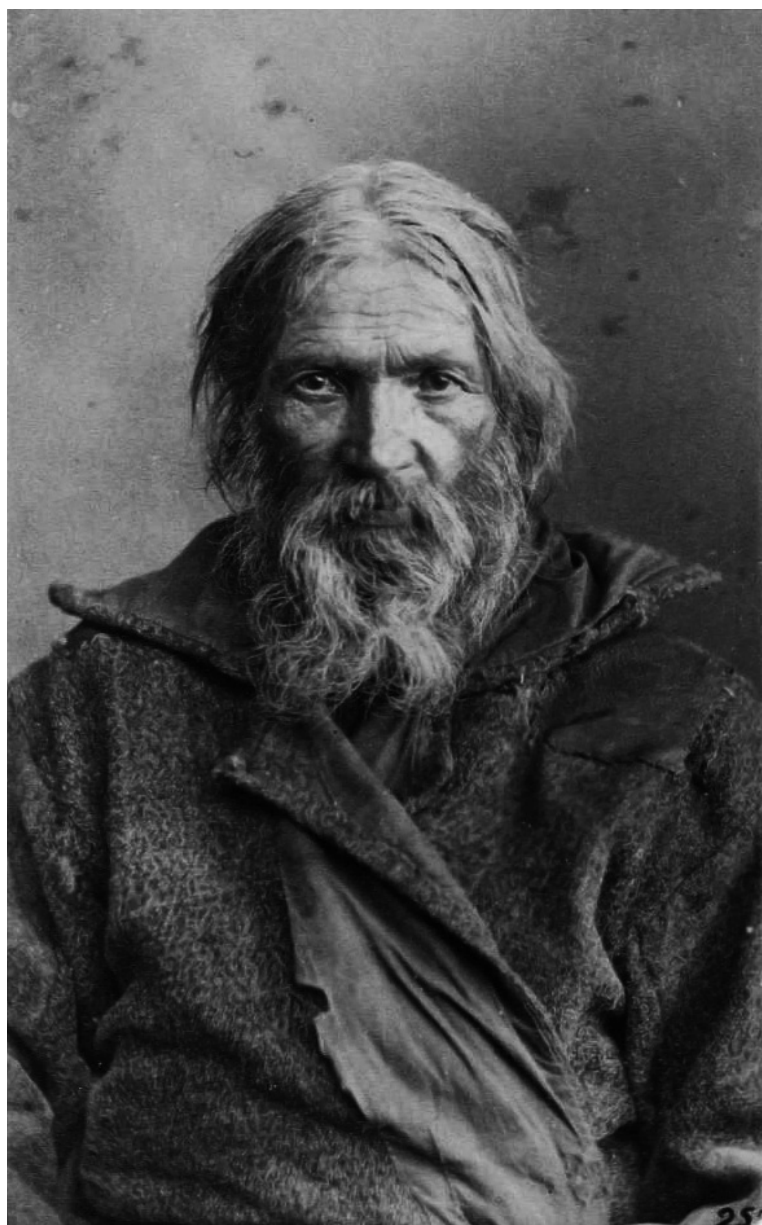
— Ничего не знаю.

— Солдата прибил в присутствии смотрителя.

— Виноват, только это бык был, в. вскорodie.

Доктора решили, что Шиловостов сумасшедший, но губернское правление долго не хотело признать его таким и только во внимание к его усердной службе и примерному поведению решило не ссылат в Сибирь, а водворить в сумасшедший дом.

Через неделю Шиловостов перерезал себе горло и был похоронен, как собака. Провожала его только жена, которая в настоящее время торгует водкой.



Николай Иванович Наумов

Поскотник^{*}

Н. И. Наумов (1838—1901) родился в Тобольске в семье судебного чиновника, служил в Омском, а затем — в Томском пехотных батальонах, во время службы всерьез увлекся литературой. В 1860 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В начале 1860-х арестовывался за участие в студенческих волнениях и по подозрению в связях с «Народной волей». Сотрудничал в «Искре», «Деле» и «Отечественных записках». Самый известный сборник рассказов Наумова «Сила солому ломит» вышел в 1874 г. Примыкал к народническим литературным кругам, но, очевидно, разделял не все взгляды народников. В середине 1880-х гг. покинул Петербург и занялся чиновной карьерой, однако совсем литературу не оставил. Рассказ «Поскотник» напечатан впервые в журнале «Слово» (1881, № 1).

^{*} В Сибири выгон для скота окружает обыкновенно село или деревню и обносится изгородью (выгон называется там поскотиной), при въезде и выезде из села или деревни у ворот поскотины летом живет какой-нибудь бездомный старик, нанимаемый обществом за незначительную плату. Обязанность этих стариков заключается в том, чтобы отворять проезжим и запирасть за ними ворота поскотины и чтобы скот, пасущийся в выгоне, не мог попадать на пашни. Для этих стариков обществом крестьян всегда устраивается у ворот поскотины избушка или землянка для жилья, и старики эти называются обыкновенно «поскотниками». — *Примеч. авт.*

В жизни нередко случаются такие встречи, которые, несмотря на всю свою мимолетность, производят до того глубокое впечатление, что спустя десятки лет сохраняются в памяти с поразительной яркостью и полнотой в самых мельчайших подробностях, как будто еще недавно, не далее как вчера, ты видел эти лица и беседовал с ними. Такое впечатление оставила по себе и встреча моя со стариком Ларионом...

В июле месяце 186* года я ехал по делам службы в село Бунгур. Дорога вилась, как лента, среди полей, засеянных хлебом. Солнце только что закатилось, и окрестности слегка подергивались прозрачной синевой, придающей летнему пейзажу мягкий, нежащий зрение колорит. Вдали на горизонте виднелись скучившиеся строения села и темной массой обрисовывались на безоблачном небе высокая колокольня сельской церкви и в беспорядке разбросанные вокруг села ветряные мельницы. Ямщик мой, молодой словоохотливый парень, в продолжение всего пути сообщавший мне длинную повесть о том, как медведь разорил целовальника, открывшего питейный дом в лесу на перекрестке трех дорог, — когда мы стали подъезжать к изгороди поскотины, крикнул: «Эй... Ларивон, отворяй проезжающим!» Скоро кони остановились уже перед широкими воротами поскотины, а Ларион и не думал показываться из своей низенькой землянки, походившей скорее на муравейник, чем на жилье человека. Ямщик соскочил с облучка, сбросил сплетенную из ветвей петлю с ворот, растворил ворота, издавшие при этом пронзительный стон, провел в них лошадей и снова крикнул: «Эй, Ларивон Маркыч... Здрав ли?..».

— Кто тут? — слышалось из землянки.

— Проезжающие!.. — смеясь, ответил ямщик, выгребая из дымившегося костра, разложенного перед землянкой, уголек, чтоб раскурить трубку. — Здоров ли, говорю? — снова крикнул он.

— А коли хвор скажу, так нешто ты поможешь мне? — спросил Ларион, просунув в узенькую дверь землянки голову, украшенную седыми, реденькими волосами.

— Никак ты сердит ноне?.. — смеясь, спросил ямщик.

— Сердит, аль милостив — тебе опять-таки дела нет!.. — ответил Ларион, вылезая из землянки и вытягиваясь во весь рост.

Это был высокий, худощавый старик, державшийся прямо по привычке, привитой к нему, по-видимому, дисциплиной. Голова его была покрыта седыми, спереди крайне реденькими волосами, завивавшимися в кольца на висках и затылке. Коротенькая, слегка окладистая борода и щетинистые усы скрывали нижнюю часть лица его, которое вообще было крайне бледно и изрезано морщинами. Сначала я не обратил внимания на Лариона и только случайно, пристально взглянув в лицо его, неожиданно увидел легкую, едва почти заметную синеву на щеках его и на лбу, обозначающую роковые буквы: на правой щеке К, на лбу А и на левой щеке Т. Это был поселенец из каторжных, отбывший определенный срок работ. Заметив, что я пристально смотрю на него, старик несколько не смутился и, в свою очередь, не сводил с меня своих серых, прищуренных глаз. Он был в одной рубахе грубого холста, довольно уже заношенной, в портах, спускавшихся немного ниже колен, и босой.

— Ну што ж ты стал... што ты не едешь-то?.. — крикнул он, обратившись к ямщику. — Вишь, ведь молоко исхо на губах не обсохло, а уж табак сосет... Трогай... чего без пути торчать-то! — крикнул он и, поглядев, плотно ли заперты ворота поскотины, почесал себе поясницу и полез в землянку.

— Осерчал старина-то! Видать, кто ни на есть разбередил его за день-то, — произнес ямщик, усаживаясь на облучок и трогая лошадей. — Уж поворчать это любит, — говорил он, поворачиваясь ко мне. — А душа, слышь, старик-то... не гляди, што бранливый....

— Он поселенец? — спросил я.

— Посельщик... из каторжных, слышь... Годов уж пять будет время-то, как живет здесь... За убивство в каторге-то был...

Мужики-то, слышь, здешние сказывали, што поглядели раз в бане на спину-то его, так ужаси, говорят, подобно... Такая эта страсть взяла их, не доведи Господи, сказывают! — горячо жестикулируя правой рукой, пояснил он. — Спервоначалу-то как глянули, говорят, и не в примету было — тело как тело... А в пару-то это, слышь, в теплом-то духе — оно, видать, отошло што ли, так словно, говорят, спина-то вся кровью полита. Ну как не возьмет ужась — по себе посуди.

— Отчего же это?.. — прервал я.

— От плетей, сказывает... Плетями ведь его бучили... — пояснил парень. — Не легкое же, видать, брат, дело... О-ох... Не доведи Господи! — с глубоким вздохом произнес он, покачав головой. — В ину пору теперь сказывает... едва, говорит, ноги волочу... вот оно сколь легко, видать, а!..

— Чем же он занимается, живя здесь?

— Стар уж... чем заниматься-то?.. Силенки-то тоже, брат, поубыло; в каторге-то, поди, не миловали!.. Лето вот в поскотниках бьется — десять рублей ему за лето общество-то платит — на готовом харче... А зимой-то кое у кого по хозяйству подсобить, аль-бо што... ну и кормят... Тавлинки делает теперя...

— Какие тавлинки?..

— Под табак... вот что нюхают... Табатерки, штоль — сказать-то тебе!.. Мы-то их тавлинками зовем... И столь-то он это, братец, наострился делать их... а-ах... ты шут его... На иную, слышь, любо глядеть...

— Из чего же он делает их?..

— Из бересты... да так-то приузорит, слышь, што любо-два!.. Ноне, сказывают, отцу Миките, попу здешнему, так церковь, слышь, на тавлинке-то вырезал и дом его, попа-то, как есть вот в яве обнатурил. Мало ль дивились... и-искусник! Теперича у него этих тавлинок сколь торговцы-то покупают да в город возят на продажу.

— И хорошо платят ему?

— Уж где, поди, не платят!.. Она вот и малая вещь, а тоже ведь за ней посидеть надоть, покорпеть... пла-атят!.. — протянул он.

— А не боятся его, а?.. Худого за ним ничего не примечают?.. — полюбопытствовал я.

— Спервоначалу-то оно, што греха таить, оглядывались за

ним... Узор-то на лице тоже всякому глаз колол... остерегались!.. Ведь Бог его знает, каков он... В каторгу-то, поди, недаром шлют. Но только, братец, все это занапрасно сумнение на человека клали... ду-у-шевный старик, ворчливый — это поискать таких, а смиренный, погожий старик. Мужики-то здешние, слышь, не нахвалятся им...

В это время мы подъехали к селу, и ямщик, по общей страсти всех ямщиков, с гиком пустил лошадей вскачь по широкой улице села, усталенной сплошною гатью, и не без усилия осадил их перед воротами земской квартиры.

Дело, вызвавшее приезд мой в Бунгур, задержало меня в нем на несколько дней. После разговора с ямщиком, описавшим мне в таких привлекательных чертах личность Бунгурского поскотника, я совершенно забыл о нем... да и мало ли доводилось мне на своем веку, при постоянных разъездах из села в село на расстояние нескольких тысяч верст, слышать самые разнообразные рассказы о личностях, выдававшихся в глазах крестьян какими-нибудь особенностями. Но случай совершенно неожиданно столкнул меня со стариком Ларионом. Спустя два дня после приезда моего в Бунгур, прождав часов до двух крестьян, вызванных мной для спроса из ближайшей к Бунгuru деревни и убедившись, что они не прибудут ранее следующего дня, я пошел побродить от скуки по окрестностям Бунгура. День был жаркий. Выйдя за черту села в поскотину, я пошел полем вправо к опушке березовой рощи, часть которой захватывалась изгородью поскотины, и, войдя в рощу, направился тропинкой, вившейся среди густых частых берез, листва которых, переплетаясь в воздухе, образовывала над головою свод, дававший тень и прохладу. Дойдя по тропинке до крутого берега речки Бунгур, я пошел берегом, любуясь бурливым течением ее, мчавшимся почти водопадами среди груды камней, заграждавших ей путь. Крутые, глинистые берега, ежегодно подмываемые и осыпавшиеся, были очень живописны. Они спускались к речке иногда отвесной стеной, обнажая то синеватые, то желтые и розовые пласты глины, и сочетание этих красок с густой и сочной зеленью травы и росших на вершине деревьев придавали им чрезвычайно оригинальный вид. Иногда берега были изрыты уступами, висевшими наклонно над потоком, и росшие на вершине

их деревья, казалось, едва держались, так что обнаженные корни их висели на воздухе, точно гнезда какой-нибудь гигантской птицы. По-видимому, достаточно было промчатся более порывистому вихрю, чтобы весь уступ с росшими на нем деревьями рухнул в поток. Порой река круто заворачивала вправо или влево и совершенно скрывалась из глаз в густой заросли молодых берез, лепившихся внизу по берегам ее, и затем вновь выскакивала, как шальная, и пенистые струи ее, казалось, катились с удвоенною яростью. Увлеченный разнообразием этого дикого ландшафта, я не заметил, как зашел слишком далеко, и глухой удар грома, неожиданно раздавшийся вдали, заставил меня остановиться. С востока медленно плыла совершенно черная, грозовая туча, и глухие, частые раскаты грома предвещали одну из тех гроз, какие редко проходят без несчастий. Надо было спешить укрыться от дождя и грозы, которая всего опаснее в лесу. Я спустился вниз к реке, с трудом придерживаясь за сучья деревьев, росших по склону. Перейдя Бунгур вброд по камням, я с трудом поднялся на кручу противоположного берега, предпочитая идти прямым путем, который скорее привел бы меня к селу, чем тот, которым я шел. В это время солнце скрылось уже за тучей, в воздухе наступила удушливая тишина, обыкновенно, предшествующая грозе... Я бежал по незнакомому мне лесу, поминутно спотыкаясь о валежник и толстые корни деревьев, выступившие наружу и заросшие густой травой, доходившей иногда до колен. Назойливое карканье ворон, с шумом ютившихся в листве берез, также предвещало наступающую бурю. Меня скоро охватила мгла... Раскаты грома становились все резче и резче... Молния, прорезывая лесную чашу, ослепляла глаза... Крупные, хотя и редкие еще капли дождя стали похлопывать по листве, начинавшей уже трепетать от повеявшего теплого ветра. В это время я выбрался из леса на поляну; весь небосклон был сплошь охвачен тучей... Вдали, за видневшимся селом, шел уже проливной дождь, спускаясь сплошной темной синевой. Не более как саженьях во ста от того места, где вышел я, виднелась изгородь поскотины и землянка старика Лариона. Я побежал к ней, и только что успел войти в ворота поскотины и постучаться в низенькую дверь землянки, как хлынул дождь с градом величиною почти в горошину.

— Ой, погодка... ну бе-е-еда, кого захватит в поле! — произнес старик, пропуская меня в свое душное, низенькое жилье.

Войдя в землянку, я ничего не мог видеть крутом себя, так как крошечное оконце или, вернее, отдушина, вероятно, и в ясную-то погоду пропускала очень мало света, при наступившей же почти ночной мгле, в землянке было темно, как в могиле.

— Ну, счастлив ты, барин, што вовремя добег! — с худо скрытой иронией в голосе произнес старик. — Постой, уж я засвечу для твоей милости жировичок, вишь, палаты-то у меня не шибко штобы светлые! — говорил он, шаря в углу землянки и бормоча про себя: «Вишь, куда запало... Штоб тебя Бог любил!»

Затем он стал вырубать огнивом огонь и, приложив к труту длинную серную спичку, зажег фитиль в небольшой глиняной плошке, наполненной жиром. Все время, пока он вырубал огонь и зажигал жировик, я стоял на одном месте, не смея пошевелиться в темноте из боязни споткнуться на что-нибудь. Засветив жировик, старик поднес его к самому лицу моему, как бы желая лучше рассмотреть меня.

— Милости просим, батюшка... Погости уж, присядь, авось погодка-то и скоро перейдет на твое счастье... Не шибко, штобы красно у меня было здесь!.. — с иронией продолжал он, ставя жировик на доску, заменявшую стол. — Ну да все лучше, чем в поле-то под капелью быть!..

Землянка, жилье Лариона, была действительно не красна на вид и могла удовлетворять только человека с самыми неприхотливыми требованиями. Это просто был четырехугольный сруб, не более двух с половиною аршин вышины... Стоя с Ларионом друг против друга, мы занимали почти все свободное пространство в ней. У стены на правой стороне лежали две доски, а на них — свеженакошенная трава вместо перины; в изголовье лежал полушубок и узел грязного тряпья, вероятно, заменявший подушку. Доска, на которой стоял жировик, освещавший тускло-багровым светом только ближайшие предметы, распространяя вместе с тем удушливый, сальный запах, заменяла, по-видимому, стол.

На этой доске валялись клочки бересты, лоскутья синей, розовой и белой фольги, осколки от простого стекла, нож, шило, — и тут же в кусок грубого серого сукна было воткнуто несколь-

ко швейных игол различных величин. У стола стоял, вместо стула, деревянный обрубок. В углу — небольшая кадлушка с водой, над ней полочка, на которой виднелся берестяный туяс, деревянная чашка и на ней краюха черного хлеба. Сырой, затхлый воздух в землянке от плотно припертой двери, в которую хлестал теперь дождь, сделался невыносимо удушлив. Но бревнам сруба, слегка покрытым зеленоватой плесенью и небольшими гнездами мелких, белых грибков, местами уже просачивалась вода от дождевого ливня. Вода капала местами и с потолка, протекая чрез дерн, которым была выкрыта землянка. Я сел по приглашению старика на обрубок, стоявший у доски, на которой были разложены его инструменты по выделке тавлинок. Сам Ларион прислонился к стене в углу, и сел на кровать, уступая только моей просьбе.

— По делу ходил... аль так погулял, батюшка... што непогодь-то захватил? — любопытствовал старик, пристально смотря на меня своими щурившимися глазами.

— Гулял, Ларион Маркыч!.. — ответил я.

— Откуда же ты, батюшка, узнал это мое-то имя-отечество?.. — удивленным тоном спросил он.

— Ямщик сказал прошлый раз...

— Памятлив же ты, погляжу... памятлив!.. — повторил он, покачав головой. — Ларивон Маркыч, — снова повторил он и усмехнулся. — Д-и-иковина! — протянул наконец он.

— Какая диковина, в чем? — спросил я.

— Я так... это, батюшка, про себя промолвил!.. — уклончиво ответил он. — Вишь, погодка-то как расходилась, а?.. — начал он, как бы желая избежать дальнейших расспросов. — Ну, кому чего, а нашим мужичкам все — горе... Экойолой... да град о-о-о... Не одного из них без хлеба оставит... Гляди, как хлеб-то выбьет али повалит... Ну — да Божья воля... Я, признаться-таки, с утра чуял, што быть погодке... Моя-то уже примета не обманет!

— Какая же у тебя примета?..

— А так скажу, милостивец, што коли к непогоде когда, так всего-то тебя разломит, каждая ровно косточка в тебе скрыпит да ноет... Измучаешься весь...

— Стар уж ты, Ларион Маркыч, а-а?..

— Не стар бы еще... Какие года!.. Другой в мои-то годы ишло женится да робят плодит... успевай только, баба, поворачиваться... Какие мои годы... полвека, не боле отмеряло-то!.. Муки-то немало принял... вот и сказывается под старость-то!

— Какой же муки!

— Аль не знаешь ты меня?.. — пытливо посмотрев на меня, спросил он.

— Не знаю!..

— Ишь вот... Ямщик-то твой имя и отчество сказал небось тебе, а кто я, и не поведал... Ну, я уж увижу его, соловую голову... погоди-и! — не то с иронией, не то шутливо произнес он. — Ну, коли не знаешь, так и я не скажу...

— Отчего?

— А не ровен час... еще испугаешься.

— Чего же пугаться-то мне...

— Чего-о-о?.. — насмешливо протянул он, и серые глаза его сверкнули каким-то лучистым огоньком. — Энто ныне, батюшка, скажу тебе... — начал он после непродолжительного молчания... — Ехал мимо не то купец, не то што... а полагать боле надоть, што купец... Тарантас это отменный... такой... ну и все прочее при нем по-хорошему... видать, што богате-ей! Ладно!.. Подъехал это к поскотине-то и кричит: о-отворяй! А я-то, сказать тебе, позамешкался чего-то в ту пору... Хорошо! Выхожу это, отпер ворота, — отпер это я их, а он и напустился на меня: я тебя, говорит, такой-сякой разэтакой... разве ты смеешь задерживать проезжих, а?.. На то рази приставлен тут, штоб спать, а?.. Да я те, говорит, так и так... А я стою супротив его, слушаю... Выкричался он, утих. Ну, думаю, не велик ты кобелек, да лай-то звонок!.. Глянул ему это в самое, почесть, лицо — да и молви: а ты, говорю, добрый молодец, погляди-ка наперво: какое тавро-то на мне стоит, а?.. Эх, ты, говорю, кудельная смычка! Да ведь у меня, говорю, в спине-то восемьдесят плетей лежит, а што кнута меж ребер напратано и не сочтешь... И ты это меня испугать задумал, а?.. Ведь мне, говорю, такую-то ворону, как ты, пришибить-то легче, чем в горсть воды зачерпнуть... знаешь ты это, а?.. Помертвел ведь, батюшка, он, как глянул это на меня-то... верь не верь!.. Словно лист вот на осине — задрожал весь... лепечет, лепечет чего-то, а слово-то ровно не выходит у него...

И разбери же меня смех... А-а-ах ты, думаю, аршинный воевода! Глотка-то шире котла, а сердце-то уже лапы заячей... Так вот ты, батюшка, у какого богатыря в гостях-то сидишь, да еще Ларивонном Маркычем величаешь, а к лицу-то мне одна только кличка — варнак*... — не то с иронией, не то с горечью закончил старик.

В это время, казалось, над самою землянкой раздался оглушительный удар грома... Я невольно вздрогнул. Старик трижды перекрестился, произнося полупшепотом: «Свят... Свят... Свят...»

— Ну и пого-о-одка! — протянул он, выдвигая из угла кадуюшку с водой, так как у двери, по бревнам землянки, уже текла дождевая вода, мерно капавшая на земляной пол.

— Ты давно живешь здесь, Ларивон Маркыч?.. — спросил я, когда он снова сел.

— В Бунгуре-то, аль в Сибирь-то давно ли пришел, спрашивашь ты? — переспросил он, скрестив на груди руки.

— В Бунгуре?

— Давненько уж, батюшка, народ-то здесь порчу, а особливо баб да девок... никак годков пять, аль и все шесть будет время-то!.. Обжился уж! — ответил он. — Старожил!

— Как это, баб да девок портишь? Чем?

— Колдую!..

— Ты колдуешь! Да разве ты знахарь?..

— А ты как бы, батюшка, полагал, а?.. — смеясь, ответил он. — За мной, брат, ремеслов-то много водится... промышленный человек! — с едкой иронией заметил он. — Всякий наговор знаем, от какой хошь болезни ослобоним, и напустить сможем... Всякий грех водится...

— Я думал, ты только одни тавлинки делаешь?

— Забавляемся и тавлинками... одно другому не препятствует, батюшка...

— Покажи-ка мне твою работу, — попросил я.

— Изволь, изволь, кормилец... погляди... одобришь ли!.. — сказал он, вставая, и, взяв в руки жировик, нагнулся и выдвинул из-за досок, служивших ему кроватью, небольшой деревянный ящик и раскрыл его.

* Варнаками называют в Сибири каторжных. Слово «варнак» — самое позорное, ругательное слово на языке сибирских крестьян. — *Примеч. авт.*

Я заглянул в ящик: в нем хранилось свернутое в трубку бересто, тщательно очищенное и приготовленное для работы; в ящике, как и на столе, валялись стекла, клочки бумажек, по-видимому, с рисунками, фольга, кисет, сшитый из ситцевых лоскутков, в котором, может быть, хранился и весь необширный капитал старика, и несколько готовых уже тавлинок различных величин.

— На-ка, погляди, кормилец!.. — произнес он, поднимаясь и подавая мне две выбранные им тавлинки совершенно одинаковой величины и, закрыв ящик, снова поставил жировик на доску, заменявшую стол. Обе тавлинки были не более полутора вершка каждая в диаметре; крышки их были сделаны из гладко очищенного дерева. Более всего, конечно, привлекли мое внимание замысел и выполнение рисунка на таком неблагодарном материале, как бересто. Глядя на эту работу, на обстановку, в какой производилась она, и на лицо художника, отмеченное роковыми буквами К. А. Т., — мне невольно пришла мысль: как много талантов гибнет в нашем народе, не находя никакого исхода для развития и проявления себя, и кто знает, может быть, самый талант, скрытый в человеке, брошенном судьбой в темную среду, служит и роковой причиной его гибели.

На одной из тавлинок не было никакого рисунка, но она казалась сплошь покрытою тонко плетеным кружевом. Узор кружева, тонкость работы в выполнении ткани, которая казалась прозрачной, выделяясь на фоне подложенной под бересту белой фольги, — сделали бы честь первоклассному художнику. На другой тавлинке была изображена крестьянская изба с резным коником и двумя окнами, в которые были вставлены кусочки голубой фольги; пошатнувшийся несколько дощатый забор сделан был до того отчетливо, что каждое бревно в избе, тесина в заборе и столбы носили на себе оригинальную особенность... Я залюбовался на эти вещи, не зная, которой из них отдать предпочтение.

— Где ты учился этому мастерству, Ларион Маркыч? — спросил я.

— Где?.. — усмехнувшись, спросил он в свою очередь. — Побывай, батюшка, в каторге-то, так всему научишься... Всякое художество спознаешь — и худое, и доброе!.. — со вздохом ответил он...

Н. И. Наумов

— Ты долго был в каторге-то?

— Пятнадцать годочков, как один денек выжил... Было время-то поучиться... бы-ы-ыло!.. — протянул он...

— Какими же инструментами, Ларион Маркыч, ты работаешь... Например, вот это кружево ты чем делал?.. — спросил я, показав на тавлинку.

— Иголочкой...

— Неужели... одной только иглой, и более ничем?

— Да чем боле-то?.. Боле-то ничего у меня и нету. Ну вот ножичком поковыряешь в ино место, где поглубей-то требуется, стеклом, подпилочек в дело тоже идет, а боле-то ничего, батюшка, у меня нету... никаких инструментов! Да ведь я... так балую только этим, а не то, штобы взаболть мастерил!.. Глаза-то уж вот плохи становятся, кормилец... — с грустью в голосе пожаловался он. — А прежде и-и-и... мастер я был... чего сказать, не потаюсь...

— Ты и теперь мастер...

— Ну-у... уж... где мне в мастера... Ты мастеров-то еще не видал, кормилец... Э... э... такие ли мастера-то живут на свете! Вот у нас мастер был, скажу тебе, в одной со мной казарме жил... ну так мастер... вот это ма-а-астер!.. — воодушевленно произнес он. — Из глины тебе патрет твой, бывало, лепит, так диву дашься... ровно живой, только вот не говоришь... Шибко его начальство-то баловало за это... А бумажки, брат, это делал он — ассигнации, так словно выльет... што его бумажку возьми... што настоящую... не отличишь, хошь в сто глаз гляди... вот это ма-а-астер! — снова протянул старик, — стоящий человек!.. Он вот тебе на бумажке-то, в коем месте письмо полагалось, што ись рукой-то не писал... знаешь ли эта, а?..

— А чем же, машинкой какой-нибудь?..

— Ногой!.. **

** Подобный же факт был обнаружен в военно-судной комиссии, учрежденной в Томске над поддедывателями фальшивых кредитных билетов, кажется, в 1856 или 1857 году. Один из виновников, бегло-каторжный, на вопрос следователя, чем он писал текст на ассигнации, «по предъявлении сего билета», рукою или каким-нибудь инструментом, каторжный отвечал: «Ногою!» Сначала этот ответ был принят за насмешку, но он вызвался доказать на деле правоту его. Сам

— Не может быть...

— Ногой!.. верь мне... врать не стану... Возьмет это, бывало, разует правую ногу, вложит перо-то промеж большого пальца, положит бумажку-то на пол и пишет... вот и подиви!.. Так самонастоящие-то мастера, глядя на него, бывало, с диву ахали!.. Вот они, брат, мастера каковы бывают... Ну, средь экого-то народа как поживешь, так всякую науку твердо учишь...

— Где же теперь этот мастер, в каторге остался?

— Сгорел!

— Как сгорел... отчего?

— Живьем спалили!.. В Сибири-то, батюшка, шибко любят эких-то мастеров приголубливать... только спасибо-то не всегда говорят им...

— Да кто же спалил его?

— Нашелся добрый молодец, што очистил от греха огнем его душу... Теперь уж он — купец, слышал я, почетный купец, со званием человек стал!.. Через эстаго самого мастера и в купцы-то вышел, потому он ему капитал-то саморучно начеканил... Дело-то, сказывали, так было, милостивец: мастер-то этот, настоящего-то прозвания его не скажу тебе, потому и сам-то он путался в нем... В ино время скажется Перфильевым, в другое Васьковым... а Васьков или Перфильев и сам, пожалуй, не ведал... есть, брат, там и экие молодцы! — говорил старик, снова присаживаясь на кровать и скрещивая на груди руки. — Житье-то ему в каторге было бы не худое... Чего сказать напрасно!.. Начальство-то баловало его... Вот энтими патретиками да подделками всякими угождал он им... иконостасы в церкви писывал... мастер-то на все руки был, — и денежки водились у него... допускало ему начальство эту льготу... Житье-б... Ну, сманил лукавый в побег... Ладно! Ушел — и так тебе, как камень в воду, ни слуху, ни духу... Опосля уж только... стали это поговаривать:

очинил гусиное перо и положил поданный ему лист бумаги на пол, прижал его левой ногой... Затем, разув правую ногу, сел на стул — и, вложив перо между большим пальцем ноги, написал по несколько строк крупным, средним и мелким почерком. Члены комиссии были поражены и сознавались, что они в жизни своей никогда не видали более тонкого, правильного и изощренного письма. — *Примеч. авт.*

спалили его... Пробрался он, слышь, сказывали, в город Т., уездный городишко-то... и с компанией, говорили, человека три их артели-то было... Ну и снюхались они там с мешанином... Щелваков его прозвище-то... Из худеньких это был он, из бедноты — скотом маклачил... Сколотится как-никак деньгой-то, скупит хлеба, да в степь киргизцам и сбудет; наменяет на скот — продаст, да сызнава хлеба закупит... Одно слово, маклачил... Ну, как с этой-то артелью спознался он, и не будь плох — подговори: иди-де жить ко мне... вы деньги мне куйте, а я-де сбывать стану, барыш пополам... Ну те... уж народ прожженный... плеч-то зря под сыромятную набойку не хотелось подставлять... да видят: парень он верткой, и глаз и ухо вострей шила, — стало быть, дело вести с ним можно, и ударили по рукам. Он и помести их, братец, на заимку, куда, стало быть, летом и по осени скупленный скот на пастьбу сгонял... Бумагу, краски и все, што, значить, для энтого мастерства требуется, он доставлял им, а они чеканили да чеканили. Ладно! Купить это Щелваков хлеба, ситцев, того-сего на настоящие деньги, свезет в степь, наменяет у киргизов скота, да прикупит еще вдвое, втрое на деньги своего завода, пригонит и распродаст... Да годочка-то, может, за два, за три, батюшка, так расторговался на эту комерцию-то, што и добрым тысячникам невмочь с ним тягаться стало. Ну, видит он, што пока Бог пронес — на грех не наткнулись, так надо дело улаживать... Приезжает однава это на заимку, будто с угощением... Угостил... их так, милый человек, што кто где сидел — тут и свалился... Как угостились они, он припер дверь-то у избы колом, ставешки-то у окон призаклепал, обложил избу-то соломкой, пустил петушка, да и пропел всем вечную память. Тем и порешил дело! Вот какие шутки с мастерами из нашего брата шутят по Сибири-то!.. — закончил он...

— От кого же ты узнал эту историю, если все сгорели?..

— Слухом-то, батюшка, сказывают, земля полна!.. Экие-то дела тоже подолгу в мешке не залеживаются. Своя же братья... лесные лыцари дознались, да весть-то принесли... И начальство опосля распознало все это, да уж прискрестись-то не могло... А ездили: слых-то был... и под пожарищем-то копались: не осталось ли где следов каких! Нет... все прикрыть сумел... л-ловкой... А теперь, слышь, сказывают, в ордене ходит... да-а... Мно-

го по Сибири, батюшка, народу с капиталом стало от нашего-то брата — вольных мастеров... мно-о-ого!..

— Ты за что судился-то, Ларион Маркыч? — спросил я.

— Э... о... батюшка, што уж старое перетряхивать! О покойниках, рассказывают, не к ночи, а ко дню вспоминать-то надоть... За убийство!.. — ответил старик, но тон, каким произнес он последнее слово, звучал такою болью, что я из понятного чувства деликатности не стал более расспрашивать. По всему было видно, что я дотронулся до тяжелой душевной раны, которой и время не успело еще залечить.

Разговор невольно смолк между нами. Снаружи долетали до нас учащенные раскаты грома и шум ливня. Внутри же нарушал тишину только однообразный звук капель, падавших с потолка и стен в лужицы, образовавшиеся на полу землянки.

— Вот уж шестой годочек, батюшка, на спокойное-то живу... на вольной-то воле... — неожиданно начал он, качая головою. — А все ровно воли-то не вижу... все, слышь, муки-то не избавился...

— Теперь-то какая же у тебя мука, Ларион Маркыч?..

— А хворь-то, кормилец, нешто легкое, думаешь, дело, а?.. В ину пору ведь так изнимет, особливо к погодке-то, што жизни не рад... ноги едва волочишь...

— Простужены... верно?

— Отбиты!.. Ременная это простуда-то рассказывается, верь!.. Сколь этой ломки — битвы кости-то приняли... дивую, как это ишло Господь Бог живым-то вынес... Умри я теперь, да уж коли небесный Творец судил и на том свете муку терпеть, так уж энта мука-то будет ровно и не в муку. О-обтерпелся!.. О-ох, каторга-то энта, родимый, шибко увечит нашего брата!..

— Тяжелые работы там, а?

— Што работа!.. — произнес он. — Рабочему человеку к работе-то не навывать, милостивец... и на воле-то мужику работа не всласть... не работой мучит каторга, не-е-ет!..

— А чем же?..

— Тиранством... битвой... вот чем каторга-то губит.

Утро-то, бывало, встанешь — да только и думать: не в последний ли Божий-то свет видишь... Прошел коли день, не стеган, не бит ты — ну и слава те Господи, да ведь таких-то деньков немного выпадало кому, сердешный. Уж не тебе говорить, знашь, поди, —

сколь народу из каторги-то бежит да зверствует по Сибири. Не вини их, батюшка, — люди из них зверей-то сделали, люди!.. Возьми ты собаку, к примеру, да учни ее бить да бить... разве не станет она бросаться да кусать встречного и поперечного!..

— Ну конечно!

— И не вини человека, коли он зверю стал подобен... не принимай этого греха на душу!.. Вот к слову скажу тебе, батюшка, не погневи, коли оно не под стать будет. Гляжу я теперь на тебя да и дивую... Какие ноне чиновники-то пошли... ровно, слышь, и не чиновники...

— Почему так?

— Сурбодинацей-то нету в них надлежащей...

— Как так? — произнес я, невольно улыбнувшись.

— Да так... энтобы прежний чиновник стал тебе с варнаком разговаривать... да еще Ларивоном Маркычем величать его. Упаси Господи! На прежнего-то чиновника, батюшка, взглянешь, бывало, так оторопь возьмет... Мужику, ровно, и мать-то Бог на то только давал, штоб у чиновников на конце языка без пути мотаться... Не знашь ли вот ты, не слыхал ли: жив, аль помер теперь Федор Семеныч Р-ев? Смотрителем он был у нас на Карийском золотом промысле...

— Не знаю, не слыхал!..

— Вот чиновник был, так чино-о-вник...

— Хороший?

— Сыра-то земля, поди, дрогнет... да не приметъ в себя, коли умрет он. О-ох, батюшка, как только уродятся экие люди на свете — подивить бы! Уж каторжник — последний человек на свете, ну и в нем, милый, сердце есть... есть!.. А экий человек, как Федор Семеныч, Господь его знает — кто: тигра не тигра, змей не змей, а только не человек...

Сколько на его душеньке животов лежит, и-и-и счету нет... Лютый убивец был... Ни за што, ни про что в гроб людей вбивал. Р-ие розги, батюшка, по всей Сибири в славу вошли; кнут легче на спину ложился, чем лоза его... Битый и перебитый ведь народ был под началом-то у него... У иного в спине-то по двенадцати тысяч палочек лежало; кажись, оттерпелся человек... ну, а с его лозы горькими плакивали!.. Невмоготу были!.. У него порядок-то был, штоб лоза-то ворохами парилась день

и ночь в горячем соляном рассоле; так — как нож в тело-то вре-
зывалась... Ну и дра-а-ал! — протянул старик вздохнув. — Уж
кого кликнут, бывало: иди в сборную к зрителю, — так мо-
гутной человек, што мал малоденец, из лица-то помертвеет, да
идучи-то у всякого прощенья попросить... не поминать злом...
На смерть шли...

— Неужели насмерть задирали!..

— Задирали...

— Правда ли это, Ларион Маркыч?..

— Э... Эх, не спрашивал бы ты — правда ли, а спросил бы
лучше: то ли еще бывало!.. Суди: человек ли был али тигра:
дере-е-ет, дерет, бывало — видит уж, голосу не дает человек,
из памяти вышибло. «Стой, — скомандует, — всыпь ему соли,
очнется...» Ну и очнется... как по живому-то мясу солью по-
сыплот... завоюет... «А-а-а, говорит, запе-е-ел... ну-ко, вспрысни
еще лозьем-то...» Ну и начнут сызнава прыскать... Мясо ведь,
батьюшка, лоскутьями летело — вот как вспрыскивали! Ну, по-
сле экой-то вспрыски и зачнет тебе человек чахнуть... чахнет
— чахнет, да и Богу душу отдаст... Перекрестись только, бы-
вало, за помин души да и ждешь своей очереди. Вот она, бес-
судная-то каторга, какова!..

— За какие же проступки он наказывал так?

— Проступки!.. — произнес старик, улыбнувшись с какою-то
грустью. — Жил со мной, батьюшка, в одной казарме арестант,
Антон Дрожкин... Стар уж был человек и до скончанья-то срока
недолго уж оставалось ему... человек был — так тебе скажу —
воды не замутит... и за што он только судился, Бог его веда-
ет. Одно только все почесть примечали за ним, не в своем он
ровно уме был — все, бывало, бормочет чего-то, а чего чело-
век бормочет, никому невдомек. Киластый он был... грыжей,
слышь, маялся. Изнимет энта грыжа-то его, бывало, так, верь
мне, дерево зубами грыз... сдавит это кулаками живот, а сам-то
словно вот уголь из лица-то выглядит. В ину пору по земле это
катается... мученик был!.. — набожно перекрестившись, произ-
нес Ларион. — Ну вот одна поскажу тебе... дело-то на работе
привелось... воду из шахты откачивали... А был у нас в те поры
приставом дозорным за нами Мозжухин Митька... Головной
мы звали его боле... Сколько это от него утягченья народ-то

терпел... и-и язык не вымолвит... Последний-то грош у кого бывало подметит, и тот из тебя вытянет... Аспид был, по его навешам боле и от Федора-то Семеныча страждали мы... Што ведь, батюшка, делывал этот Митька, послухай: уж знашь, поди, нелегко кандалы-то таскать, — трет ногу-то... ну так обручь-то у ноги и обматывашь тряпками... подкандальники, кабы сказать тебе... Так энтот Митька-то чего выдумал — как на работу идти и скомандует: разувайся!.. Подкандальники, говорит, долой, жи-иво!.. «Батюшка!» — взмолимся... «Снизойди! Чего они тебе доспели... не утягчай!..» А-а, говорит, такие-сякие... вы думаете, каторга на утеху вам дана... Долой!.. А то перековать велю, штоб в тело обручь-то врос... Ну и сбросят ведь... власть!.. Так ведь обручами... кожу-то на ноге до живого мяса сотрет тебе... Свет-то из глаз у тебя выкатывается, а ты робь, коль лозы не отведаль. Вот чего делывали, батюшка!.. Ну так вот, бишь, начал-то я обсказывать тебе... толи уж Митька-то не в духе был, аль уж зуб точил на Антона што ли — не могу тебе доказать... только как увидел он в те поры, што Антон-то от боли упал на землю и подскочи к нему и ну его палкой встряхивать. Знаю я, говорит, так и так тебя... энту болезнь твою я те, говорит, вылечу! Поднялся Антон, да, видать, его из памяти вышибло, аль уж Бог ему так судил — только ухвати он камень с земли, да и свисни Митьку-то... да так-то, брат, засветил, што у того голова только затрещала...

— Убил?... — прервал я.

— Отдо-о-ох... Убьешь экаго сразу... Ну, только мы и видели Антона, скажу тебе, братец мой... так его на наших глазах и запылали...

— Без суда?

— Суда захотел!.. да разве над нашим братом есть суд?.. О-о-о, батюшка, кабы тебе все-то рассказать, чего глаза видели, да плечи вынесли, так ты бы подивил: как исшо живы люди-то выходят!.. И суди теперь, суди ты по-божьи — какого добра от человека ждать, коли он вырвется из эстакрой-то жизни на волю, да знает, што не сегодня-завтра сызнава туды же угодит... Иной ведь так на смерть-то и лезет... Себя ли ему убить, другого ли кого — все единственно. Был у нас, скажу тебе, вот этакий-то козырь... из солдат званьем-то!.. На двадцать пять годов сроку сужден был... Так на него иной раз находила болезнь... Так уж,

бывало, как начнет он скучать — заприметят это — так и стерегутся его, как зверя... у-убьет...

— Какая же болезнь-то находила на него?

— Крови, стало быть, человеку хочется... убить кого ни на есть надоть ему... тоску отвести...

— Неужели ты думаешь, что есть такая болезнь, а?..

— Есть, батюшка, верь не верь, твое это дело!.. А я те доподлинно говорю: есть этакая болезнь... Не дай-то, Господи, никому ее. За родительские грехи, может, Господь наказывает иного, а есть — помни мое слово. Скажу я тебе, батюшка, послушай: какова эта болезнь-то, чего она с человеком-то делает! В мое это время бежало у нас двое молодцов — Золотов Максим, из мещан он сказывался, и Антропов Василий... опосля уж Золотов-то на вечную был осужден и к тачке прикован... Дружили это они промеж себя все время, ну и бежали... Хорошо! Идут это лесом, идут не день, не два и напади вот эта смертная-то тоска на Золотова. Чует он беду, сам опосля сознавался. Ну, идут. Вот Максим-то и говорит Василью: уйди, говорит, ты от меня, уйди с глаз моих, а то быть, говорит, беде — убью я тебя! А тот, слышь, возьми да подними его с дуру-то на смех. Максим, слышь, об одном молит его: уйди!.. Не послушал он его... ну и сложил свою голову... Зарезал его Золотов-то, испил его крови и словно, говорит, в себя пришел... словно рукой, говорит, тоску-то сняло ***.

Много лет прошло со времени встречи моей со стариком Ларионом, передававшим мне таким спокойным голосом возмущающие душу сцены из жизни отверженных... Я никогда не забуду этих рассказов. Мне было больно в ту минуту, так же больно, как и теперь, когда я пишу эти строки, больно за участь этих душевнобольных людей, подвергаемых вместо лечения — мукам, людей, которые сами сознают, что они больны и не имеют сил преодолеть в себе болезненных симптомов, проходящих, по их понятиям, от глотка свежей крови, выпитой из раны убитого ими брата. Кроме рассказанного я приведу еще следующий факт.

В 1865 году в Тобольске ходил по домам, продавая булки

*** Истинное происшествие. — *Примеч. авт.*

и крендели, крестьянин Сметанин. Наружность этого человека была весьма степенная и даже симпатичная; он был сдержан в речах и заметно не любил даром тратить слов. Принося мне ежедневно к утреннему чаю булки, Сметанин не раз пил по моему приглашению чай со мной и иногда, разговорившись, выказывал обильный запас юмора. Однажды утром Сметанин не явился с булками, и в тот же день я узнал, что он задержан ночью полицией вместе со своими единомышленниками, намеревавшимися ограбить чиновника А-ва. При производстве следствия по этому делу обнаружилось, что Сметанин в короткое время убил девять человек и, между прочим, показал следующее: по дороге в г. Тобольск он убил крестьянина, который вел в город лошадь. Убив несчастного, он никак не мог отойти от него, так как ему постоянно слышалось, что убитый гонится за ним с криком: «Добей меня!» Как ни добивал его Сметанин, возвращаясь к трупу, крик этот все-таки преследовал его. Тогда Сметанин, напившись крови убитого, положил на грудь ему копейчку за помин души и после этого, с успокоенной совестью, отошел от трупа, не преследуемый более галлюцинацией. Преданный военно-полевому суду, Сметанин был расстрелян.

Живя в Сибири и слыша чуть не каждый день рассказы о преступлениях, совершаемых бегло-каторжными, мне невольно приходили на память слова старика Лариона: «Не вини человека, что он стал подобен зверю!» И действительно: можно ли ждать сострадания от людей, к которым никто в свою очередь не имеет сострадания, которые стоят вне законов, ограждающих жизнь и права других, с которыми обращаются самым варварским образом за ничтожное слово, сказанное пред начальником, сказанное иногда не с целью наглубить ему, а по невежественной наивности, или за поступок, вызванный злоупотреблениями самой же надзирающей за ними власти. Послушайте рассказов бегло-каторжных, содержащихся в сибирских тюрьмах, о причинах, вызывающих побег их, — и у вас волосы станут дыбом на голове от этих простых, незатейливых рассказов, в которых кнут, палки, розги представляют самое обыкновенное явление. Должно быть, мало же привлекательного имеет жизнь для человека, если он для избежания всех этих пыток нарочно совершает преступление, зная, что погиб-

нет страшной, мучительной смертью под кнутом или палками, но, по крайней мере, погибнет сразу. Это лучше, нежели изо дня в день постепенно, в течение, может быть, долгих лет испытывать эти муки...

Я знаю, найдутся такие знатоки русской жизни и порядков, которые прямо заявят, что все сказанное мною — ложь, но таких любителей казовых сторон нашей жизни не прошибешь никаким фактом. Для них и письмо бывшего прокурора Павлова-Сильванского, и «Записки из мертвого дома» г. Достоевского представляются, может быть, плодом расстроенного воображения, хотя г. Достоевский, по всей вероятности, по независящим от него причинам, умолчал о многих подвигах такого деятеля, как бывший в Омске плац-майор Кривцов, которого вернее всего можно характеризовать выражением старика Лариона: «тигра не тигра, змей не змей, а только не человек!» И таким-то личностям, как Р-еев, Кривцов и т.п. вверялась почти бесконтрольная власть над несчастными отверженниками.

Лет тридцать тому назад в г. Омске существовала суконная фабрика, устроенная по инициативе бывшего генерал-губернатора Западной Сибири, князя Горчакова для снабжения местных войск сукнами. Фабрика находилась в черте города и работы на ней производились каторжными. Бывший в то время смотрителем этой фабрики капитан Кобылянский до того бесчеловечно обращался с несчастными, что однажды днем несколько человек каторжных, выскочив из здания фабрики на улицу, закричали: «Суди нас Бог и Государь, но у нас нет больше силы терпеть!» Они бросились на платформу, схватили лежавшие в сошках ружья караула и кинулись на Кобылянского с целью убить его. Но караул успел удержать и обезоружить каторжных. Весь город ходил потом смотреть, как этих несчастных гоняли сквозь строй насмерть. Все это совершалось в виду главного начальства края, и Кобылянский все-таки был оставлен смотрителем этой фабрики. А между тем большинство преступников, осужденных влачить подобную жизнь, несомненно, люди душевнобольные, совершающие преступления в каком-то болезненном состоянии. Неужели найдется человек, который признает душевноздоровым каторжника Золотова, умолявшего своего товарища уйти от него, предупреждая, что иначе, он

убьет его? Неужели здоровым человеком назовут Сметанина, который, убив человека без всякой побудительной причины, не руководясь даже целью грабежа, под влиянием преследующей его галлюцинации, — пьет кровь убитого и кладет ему на грудь копейчку за успокоение души. Не каторга, но больница должна бы быть уделом этих, действительно, «несчастных» людей, как и называет их народ наш; здесь я приведу пример, слышанный мной в детстве от человека, производившего следствие по очень странному делу. В селе Боготол Томской губернии лет пять-десять тому назад жил поселенец, отбывший срок каторжной работы. Выйдя на поселение, он женился, занялся хлебопашеством, торговлей — и дела его пошли так удачно, что под старость он нажил крупное состояние, прекрасный дом и хозяйство. Дочь его была выдана замуж за богатого купца. Старший сын также вышел в купцы и торговал в городе, младший заведовал по дряхлости отца делами его. Старик пользовался общим почетом и уважением, отличался добротой и набожностью. В течение нескольких лет он был церковным старостой и сделал крупные пожертвования на церковь — и вдруг этот дряхлый старик убивает ночью двух церковных сторожей и крадет из церковной кружки несколько копеек, крадет, имея тысячи и сделав крупные пожертвования на ту же церковь... Неужели это не больной человек, нуждающийся в глубоком психическом анализе вместо кары?

В Сибири не редкость встретить людей, отбывших двенадцать, пятнадцать лет каторжной работы и водворенных на поселение. Многие из них отличаются примерным трудолюбием, трезвой жизнью и пользуются хорошим благосостоянием и отличной репутацией в обществе. Значит, не все же из этих несчастных — неисправимые злодеи, достойные только мук, совершаемых над ними людьми, по-видимому, утратившими, в свою очередь, все лучшие человеческие чувства.

Гроза постепенно стихала, хотя время от времени до нас доносились еще глухие раскаты грома; но проливной дождь не переставал лить как из ведра. Старик не раз уже, свертывая из береста трубки, втыкал их в землю в углы, в которых сквозь пазы сруба и сквозь дерн на потолке образовалась течь.

— Э... эх, хоромина-то совсем сквозная стала! — произнес он. — Того и гляди — размоет ее.

— А не холодно тебе в ней по ночам-то? — спросил я.

— Привышны!.. Я ведь в ведро-то на улице боле сплю... блоха выживает; блохи этой страсть сколь здесь... А в ведро-то на улочке хорошо... Просто-ор кругом тебя... тихо все... а под зорьку-то птахи тебе стрекот поднимут... ровно и развеешься...

— Как это развеешься...

— От тоски-то, батюшка... тоска сосет в иную пору... Есть тоже о чем подумать-то!.. Уж какая теперь моя жизнь... на што она мне... Посуди... Ни силы-то во мне нету, ни кола, ни двора... Всем-то я чужой на свете! — говорил он слегка дрожащим голосом. — Спасибо хоть добрые-то люди ишо не сторонятся да кормят меня...

— Ты откуда же родом-то, из какой губернии? — спросил я...

— Костромич, батюшка... Костромской...

— Есть родные на родине?..

— Надо бы быть-то... брат есть — жив, аль помер теперь, не знаю... сестры... племянники...

— Переписываешься с ними?

— Нет!.. — отрывисто ответил он.

— Отчего?..

— Не пишется чего-то, батюшка. Сначала-то, как на волю-то вышел, оповестил их о себе... два письма посылал... да ни ответу, ни привету не дождался... — и старик, не dokonчив, махнул рукой. — Ведь только богатых сродственников любят да помнят... а бедный-то и-и-и хошь век его не будь... — с болью в голосе произнес он.

— Худо же ты думаешь об людях, Ларион Маркыч!

— Не повелось как-то подумать-то лучше, не суди!

— А на родину тебя не тянет?..

— В ину пору, чего таить, берет, слышь, скука-то, так бы вот хоша бы глазком глянул на родимые-то места. Што кто ни говори, а своя сторона завсегда мила. Ну да, подумаешь, подумаешь — и махнешь рукой... Не долго уж век-то мой — скоро-таю, как ни на есть... Знать, уж судьба такая, предел!.. Одному уж оно так и от Бога написано: живи в спокойе, будь талантлив и удачлив во всем; а иному одно только заповедано: терпи! Уж

за родительский грех, што ли, Бог наводит на человека экую заповедь — не мне судить, батюшка... темен!.. Не долг мой век-то, да горем избыточен... всячины я насмотрелся — о-о-ох, всячины!.. Суди меня Бог, а вчастую сумленьем задаюсь... Пошто это невинным-то Бог страждить попускает, — с грустью в голосе спросил он.

— Как это так?..

— Да как... Вот у нас в каторге-то на наших глазах извелся человек, неповинно всю жизнь свою, страдивший... совсем неповинно...

— Кто же это? — прервал я его.

— Старик один был... крестьянин, как сказывался... Онуфрием его звали! Я уж, придя-то, застал его почесть на последях, двадцать один годочек он, милостивец, тиранство-то безвинно нес, да так и в землю ушел, не дождавшись суда правого. А все знали, што невинно гиб человек. Вот и помышляй!..

— За что же он был сослан-то?

— За убийство судился-то, а тут же вместе с ним робил и настоящий-то убиец, за кого он грех нес, и все это знали...

— И начальство знало?

— Знало; и просьбу он подавал... и убиец-то винулся; испить его хотел...

— И неужели ничего этого не приняли во внимание?

— Знать, не приняли, коли по гроб своей жизни муку нес... Он тутошний был сибиряк... Жил-то, сказывал, не бедно — жена, дети большие на месте-то остались... Хозяйство, говорит, в большой исправности было. Да, вишь, грех-то как подкатил, — произнес Ларион, глубоко вздохнув. — В деревне-то, где жил он, был, слышь, крестьянин, — помнится, Бурановым звал он его, — тоже не бедный был мужик, но верткой, говорит, этакой разбитной — на все руки. Жили-то они промеж себя — это, стало быть, Онуфрий-то и Буранов — не то, штобы в ссоре, сказать тебе... ну, и дружбы-то не было, а все боле усобицы да перекор шел меж ними... и все из того, будто б, што Буранов за все, почесть, поперек дороги Онуфрию-то становился... Оба, видать, богатенькие были, стяжанием заимствовались, ну, и вестимо — завидовали друг дружке. Старик-то Онуфрий не раз плакался, што, может, Господь за то на него и участь такую надел, што

он завидовал Буранову, што всякое-то дело у него в трижды спорилось, а у тебя, говорит, чего ты не деешь, все равно клин кто вобьет! Возьмет, говорит, это в ину пору зло, особливо как Буранов-то зачнет, бывало, подскрывать, и не раз это в сердцах-то при всем обществе говаривал ему:

— Уж я те, пса, доеду когда-нибудь... жди!..

— Эх, ты, соломенная голова, тебе ли меня доехать, — смехом огрызался Буранов, — ты ишо и колес-то у телеги не успеешь смазать, а уж я те пыли в нос пушу, штоб чихал да не прочихался.

— Ну, кто допреж чихнет, поглядим уж, дай время.

А общественники, известно, глядя на эту усобицу да перебранки, только гоготали. Уж не скажу тебе, батюшка, долго ль, коротко ль время шли эти перекоры меж ними и из-за чего сыр бор загорелся, только Буранов-то шибко подъял, слышь, Онуфрия в каком-то деле... Уж так-то мне, говорит, было обидно в те поры, — сказывал старик-то, покойная головушка, дай ему Господи царство небесное, светлое место, — такое-то, говорит, горе взяло меня, што хоть хлеба лишись, так в ту же пору... и не стерпел это я однова и скажи ему при народе: «Ну... Ирод, помни ты меня... уж заткну я те глотку, отучу тебя из чужого рта кусок вырывать!». С этих-то слов, говорит, я и на страду пошел. Вот оно, слово-то, батюшка, сколь его с оглядкой выпускать-то надоть из рта!.. Потому, говорит, общество-то опосля под присягой энти похвальные слова мои и вывело... Ну и жили они так-то до поры до время, ни в ладу, ни в ссоре. Подошел, говорит, Успенев день — праздник на селе-то, съезжий по-здешнему-то зовется, у всякого, говорит, гости, гульба... хорошо! И встретись где-то Онуфрий-то с Бурановым за чарочкой, как обсказывал старик, и пойди у них похвальба... Речь-то, вишь, о том, быдто, зашла, што есть-де на свете экие молодцы, што вот разболют тебя до ниточки и ты не услышишь, потому-де «слово» экое знают усыпляющее...

— Э-э... все, говорит, энто пустое, бабья брехня одна.., — Буранов-то говорит. — Энто штоб меня раздели, да я не слышать бы, а-а... Да я сплю-то, так слышу как муха летит... Раздень-ка вот поди... сунься...

— Раздену!.. — Онуфрий-то говорит ему внезапно это...

— Ты, говорит, это разденешь меня!

— Я... Уж коли раздеть, говорит, не раздену, так уж подушку из-под головы наверняка унесу и ты не услышишь, не тряхнешься — аж потому, говорит, я энто слово-то знаю...

— А-ах, ты, говорит, вяленный язык... ты бы, говорит, это унес у меня из-под головы подушку и я бы не слышал, а!.. Н-ну, — говорит это ему Буранов-то, — коли ты взаболъ энто слово знаешь и унесешь у меня подушку из-под головы и я не услышу, то вот тебе обчество в поруку — проси тогды, чего хошь... все твое будет, все отдам...

— И солового жеребчика отдашь? — спрашивает Онуфрий.

— Не постою... твой!.. Только унеси подушку из-под головы! — говорит Буранов. — Но смотри, говорит, парень, коли ты да прохваснешь, то, говорит, при энтом же обчестве дегтем уж я тебя вымажу... знай!

— Мажь!.. — говорит Онуфрий.

Ну, ударили это по рукам, посмеялся над ними народ-то и разошлись. Уж знал ли точно Онуфрий этакое слово, аль уж так сдуру сбrehнул — грех-то его путал!.. — не скажу тебе... и сам-то он опосля спознавался, што, может, Бог-то и отвел бы, говорит, меня от энтой участи, кабы Буранов-то словно на зло не подскрывал. Ровно, слышь, кто толкал его на беду-то мою: где бы ни встrelись мы с ним, сичас это на смех вздымет меня: «Уж я, говорит, запас лагушку, што ни есть само лучшего дехтю... уж моего дехтю, говорит, не смо-о-оешь, Онуфрий... не-е-ет!.. де-еготь — первый сорт... сам его, говорит, на твою милость курил!» Ну, ладно!.. Осень уж это подошла. Однава — сказать, дело-то, говорит, это под хмельком было — и взбрeди мне... подшутить-то над ним... Сем-ка, думаю, будет ужo смеху-то на миру!.. Ходы-то и выходы в избе-то его знал, говорит, как в своей. Сам-то он, Буранов, завсе спал в избе... вповалку на полу, на войлоке... Ночь-то выпала темная... Я и говорю Федюшке, старшему сыну: дай-ка ужo топор мне!

— На што, — говорит, — тебе топор-то в экую пору занадобился?

— Не твое, — говорю, — это дело знать!

А топор-то, говорит, взял я на тот случай, што в ино время Буранов-то свычку имел окна то с улицы ставешками приширать, так, может, думаю, не занадобилось бы ставешек-то отодрать...

Хорошо! Разулся, говорит, это — взял топор, подошел к избе, а изба-то его, сказать, стояла почесть посередь деревни и задворками-то выходила в поле.... а за полем-то, неподалечку и лесок шел. Ну, ладно!.. Подошел, говорит, к избе-то... вижу, не приперты окна ставешками. Послухал... тихо все в избе, спят, только одно, говорит, мне маненько чудно показалось в те поры... собака на дворе-то жила у него злоющая... и-и, бедовая собака... одно слово... не чует — не дает это голосу... Ну, да ладно, думаю, мне же лучше... Потрогал это створки у окна-то: вижу, веревочкой одной приперты... просунул, говорит, это, топор под них... натянул одну-то створку, перерезал топором веревочку и растворил окно... спят, слышу, спят и не чухают... «Вот те и чуткой, — думаю, — а!» Влез это тихо — тихо... пошарил его, Буранова-то, у лавки спит!.. В головах-то полушубок... вынул я энтот полушубок и назад... назад... лезу это опростыю... Не спустился испо из окна-то на землю... слышу: «Стой, — говорят, — што за человек!..» А староста это ездил за чем-то в волость, да как раз на энтот случай и подкати на вершней с крестьянином одним из ихней же деревни. Увидел это, што он из окна-то лезет — прыгнул с вершной-то и крикнул: «Стой!»

— Пусти-и!.. — говорит Онуфрий-то. — О-о, штоб те, неуж не узнал меня, Онуфрия-то?

— Да што ты, говорит, парень, в уме ль... по ночам-то задумал в чужие избы в окна лазить?.. — спрашивает его староста. — Молчи...

Онуфрий-то говорит ему:

— Выпивка-то уж будет здо-о-оровая!.. Теперь уж, говорит, соловой-то жеребчик мой, хошь не хошь, а будь слову верен!..

Ну, обсказывает старосте, што про заклад-то бились... Ну и староста-то знал про энтот спор их. Смеются... И не пошевелинулся, говорит, как я у него из-под головы полушубок-то вынул... вот сколь чутко дрыхнет!.. Не токма разболоки, а хошь за ноги-то выволоки, так не услышит!

Ну, сызнава, говорит, это посмеялись и пошли было. Только староста-то остановись, да и говорит:

— Вернемся-ка, говорит, парень, да побудим его... ладно ли так-то уйти?

— Пойде-е-ем, — говорит Онуфрий. — Ужо завтра полушубка-то хватит... будет смеху-то...

— Не взъелся бы, слышь...

— А и взъестся, так што ж — неуж укусит... иди-и!

— Нет, парень, побудим!.. Ловчей, говорит, дело-то будет... — настаивает староста, — и вернись...

Ну, вестимо, и Онуфрий-то с ним же вернулся... подошли к окну, из которого Онуфрий-то вылез... староста и крикни Буранову-то смехом: «Эй, надень-ка, говорит, уж полушубок-то да выдь-ка на улицу-то!» Ответа нет... «Ну и спи-и-ит же парень...» — говорит себе, смеясь, Онуфрий-то с мужиком. Вот староста и вдругорядь крикни и примись стучать, не в шутку уж кулаком-то зазыкал... но в избе слышь, хоть бы шелохнули тебе... Тут уж и из суседских изб на стук-то окна поотворялись... народ сталъ показываться, а в избе Буранова не щелкнет што ись!.. «Што за диво! — говорит староста-то. — Разоспался-то как наш Буранов... уж ладно ли дело-то, братцы? Давай-ка уж о огоньку да буди народ-то!..». Ну, взбудили кое-кого, кто поближе... огню-то принесли, глянули... А полушубок-то, што в руках у Онуфрия, был весь в крови... «Так я, говорит, братцы, — сказывал Онуфрий-то, — как стоял это на месте-то, так и обомлел весь, так и похолодел... и куды это хмель из головы девался!» Ну, вошли, говорит, как в избу-то и примолкли. Буранов убит... Жену его под кроватью нашли уж без дыханья... Дочь была на возрасте тут же успокоена... Сынок, говорит, паренек лет десяти... и што ись собака-то на дворе и та пришиблена. Слыхал экое диво? — спросил Ларион, пристально посмотрев на меня.

— Кто же убил?..

— Кто?.. — переспросит он. — Кто убил, тот руки-ноги не оставил... Вот и посуди: куды его шуточка-то привела... Ну чего ж рассказывать дале-то! И пошло суд да дело — и клялся, и божился, покойник-то Онуфрий; сказывал, што не мой-де это грех, не повинен я в их крови... да рази дадут тебе веру, коли свид на лицо, а?.. Его у окна поймали, топор, как он положил на окно, отворив его, так и оставил, как в попыхах-то в обратный лез... и сам от полушубка-то в крови выпотрался... и общество, говорит, под присягой доказало, што не одна Онуфрий-то похвалялся заткнуть рот Буранову. Так уж дадут ли веру твоей слезе в эфтом случае, по себе посуди, а?.. Ну и смазали его... только не дегтем, как сулил ему Буранов, а плетьюми... да уж

так-то, што вовек не смоешь... да на двадцать годков каторги осудили сердешного... Вот сколь легко пошутил-то!..

— А как же открылось, что не он виновник?

— Открылось-то?.. А случай, батюшка, подошел такой... С пустого разговора дело-то зашло. Лет за пять исшо до моего прихода, пришел на заводы-то молодец один... Он уж и ране был в каторге-то, да убег... и лет, никак, боле десяти в бегах-то по каторге скучал... Ефим Козлов прозывался... из дворян исшо выдавал себя... Ну и сызнава попал в то же гнездо... И выпадн раз такое дело: отрядили, слышь, партию из наших-то верст за пятнадцать от завода дрова рубить и попади ж в эфту партию и Онуфрий-то старик, и Ефим. А партии-то энти иной раз по месяцу живут в лесу бессменно. Ну, ладно... Там-то одна и разговорись Ефим-то с Онуфрием. Откуда, да што, да как... На поверку-то и выйди, што Ефим-то все те места знает, из коих Онуфрий-то... и деревню-то знает... проживал, говорит, в ней, хоша и не в явь.

— У кого? — спрашивает тот

— У Буранова, — говорит...

— Когда?

— В такое-то время... — да внезапно, кабы сказать тебе, и спроси Онуфрия-то: — Да ты говоришь, из тех мест, што ли?

— Из тех, — Онуфрий-то говорит, — из той самой деревни, где Буранов жил.

— За што судился?

— За убийство, — говорит, — будто бы самого энтого Буранова...

Посмотрел, говорят, на него Ефим-то... долго столь посмотрел, да и говорит:

— Ну, сердешный, никак ты тут беспричинно муку несешь... не твой энто грех... не твое бы здесь и место...

— Не мой, — говорит Онуфрий-то, — видит Бог, не мой!..

— Не твой, — говорит Ефим. — За наш, говорит, грех ты муку несешь... знай!.. Мы, говорит, Буранова-то уходили...

Иповедай он тут, што Буранов-то энто стан имел у себя: стало быть, беглые тайно проживали у него... и занимались конокрадством... Ефим-то с двумя молодцами и проживали у Буранова в лесу на пасеке... да што-то и повздорили с ним одна... Буранов-то и пригрозил выдать их... Как угрозу-то энту он вымолвил им, они, не запусая дела, и порешили уходить его,

да ночью проберись это полем-то и войди в дом — задворками... и только, говорит, порешили с ним... стали деньги, было, да худобу искать в избе... слышим... с улицы-то стали створку у окна подергивать... и видим — человек в окно-то с улицы глядит. «Бе-еда!» — думаем... знать, мужики-то возню услыхали, спохватились, да избу окружили... И давай Бог ноги — в бег!.. Ну и ушли с эстих мест... Один-то из товарищей — отшатнулся, говорит, опосля... да без вести пропал... Другой-то уж в остроге помер, а Ефим-то и угоди сызнова в каторгу.

— Ну, что же, заявил Ефим о своем преступлении? — прервал я.

— Заявил!.. Повинился пред начальством... Обсказал все, как дело было... и што ране-де не винился в эфтом грехе единственно, штоб не утягчить своей участи... Ну, да не приняли, вишь, довинной-то его... оставили втуне... Полагали, может статься, што энто сказки все... потому вчастью это, батюшка, бывает, што наша братья за деньги принимает на себя чужие грехи... Бывали и такие случаи... А уж убивался же Онуфрий-то... и сказать тебе не могу, как убивался... инда вчуже жалость брала... — с грустью в голосе произнес Ларион Маркыч.

— Он так там и помер?...

— В скорости почеть после эфтого и конец принял... Стар уж был... ну и сокрушенья-то немало было ему... Все энто тосковал, все убивался — почеть до последнего часа деток все вспоминал, места свои... Вот и подумай, кормилец, — снова начал Ларион после минутного молчания. — Ну, грешен... уж кто... повинен... так поделом вору и мука, сказывают... А каково оно энти муки-то терпеть... неповинному-то человеку, а-а?..

— Ужасно...

— Ужась... верно ты это сказал... — согласился он. — Э... эх... батюшка... не рад я, што и язык-то свой расчесал с тобой... право!.. — вдруг неожиданно заключил он, махнув рукою...

— Отчего?

— Молчать-то лучше бы... греха меньше... а то вот разболтаться как, так, ровно дрожжа в пиве, дума-то бурлить в тебе почнет... Сколько этого непотребства в голову полезет. А кто бы и говорил-то... хоша бы человек!.. — с нескрытым презрением в голосе произнес он.

— А разве же ты не человек, Ларион Маркыч?

— Члове-ек... Уж какой я человек... червь пресмыкающийся...

— Ну, полно... для чего ты так унижаешь себя!

— Верно тебе говорю... верь!... Уж униженным какое исхо-
ужиенье знать... Уж одну мне только думу надо думать теперь:
«Прости, Господи, прегрешения раба твоего Ларивона». А я еще
в помыслы пушаюсь, где не моего ума дело... и то бы-де не так
надоть... и другое бы не этак... Ндравятся тебе, батюшка, тав-
линки-то мои, што ли? — каким-то отрывистым, сердитым то-
ном спросил вдруг он...

— Нравятся... хороши...

— Ну и за то спасибо, што похвалил... все утеха...

— Продай-ка мне их, Ларион Маркыч? — спросил я.

— О-о-о!... Неуж и взаболь они тебе любы?...

— Я не шутя тебе говорю...

— Продай! — усмехнувшись произнес он... — А што, сердеш-
ный барин, не почтешь ты моего слова за обиду?.. — ласково
спросил он, и на лице его отразилось что-то беззаветно доброе...

— Не знаю... какое ведь слово...

— Прими ты их от меня, будто бы как в дар, не погнушайся... а-а?

— Да за что же ты даришь меня, Ларион Маркыч?..

— Прими... окажи эту милость!..

— Ежели ты этого хочешь... изволь...

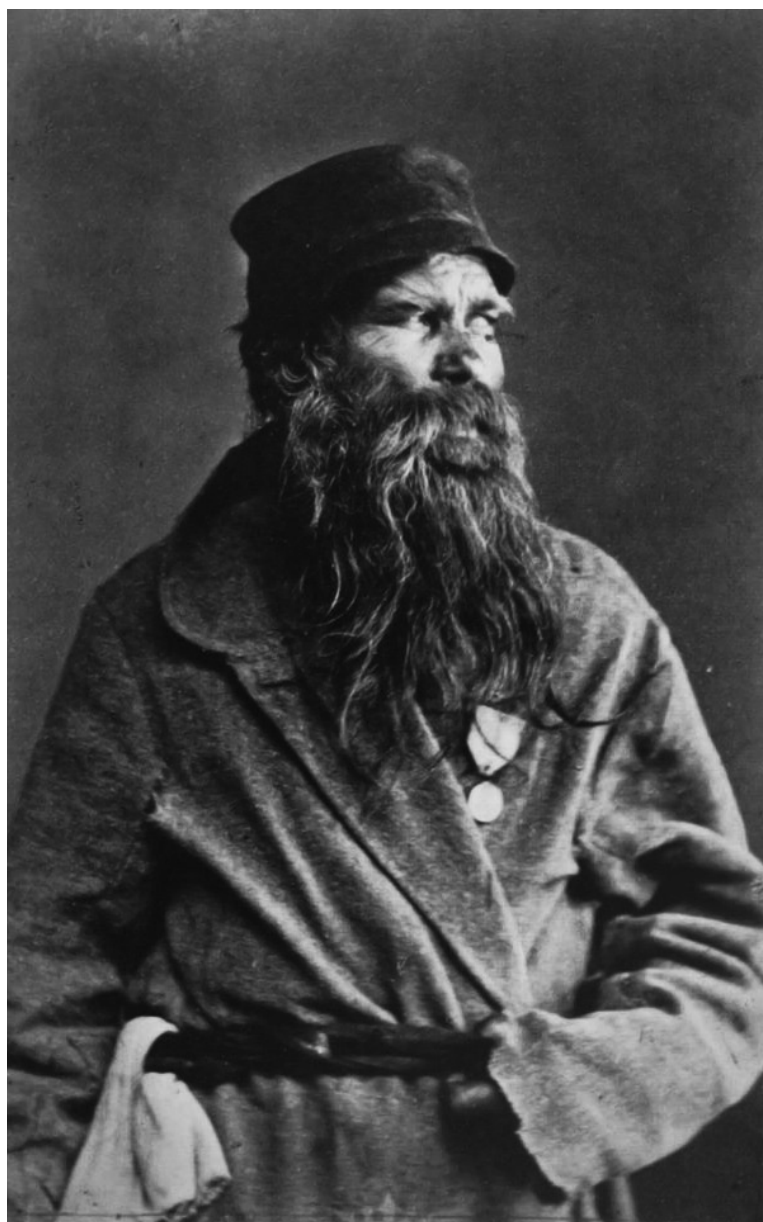
— Прими... сердешный ты человек... прими... Дарю-то я их за
привет... за привет твой, за доброе твое слово, што не погнушал-
ся вот ты варнаком, не презрил его.

Старик заплакал.

Я растерялся и, положительно, не нашелся, что сказать в от-
вет ему.

— Э... эх... батюшка! — снова начал он... — Для меня ласка-то,
доброе-то слово — дороже горы золота. Мне вот в радость, што
ты, вот, поговорил-то со мной, как с путным... по-божьи... не
погнушался вот клеймом-то... — говорил старик.

Было около девяти часов вечера, когда я возвратился на за-
нимаемую мной квартиру, и на другой же день уехал из Бунгу-
ра... Мне не довелось быть более в этом селе и встречаться со
стариком Ларионом. Несмотря на все мои расспросы крестьян
из той местности, о дальнейшей участи Лариона я ничего не
слыхал. Вероятно, век его был недолог...



Владимир Галактионович Короленко

По пути

Святочный рассказ

В. Г. Короленко (1853—1921), знаменитый писатель-народник, происходил из дворянской семьи. Мать Короленко была дочерью польского шляхтича, до 1861 г. в семье говорили преимущественно по-польски. Окончил Житомирскую классическую гимназию, учился в Технологическом институте в Петербурге и Петровской академии в Москве. Принимал участие в студенческих волнениях 1876 г. и был арестован и выслан в Вологодскую губернию. Примыкал к «лавровскому» крылу народнического движения, участвовал в «хождениях в народ». С конца 1879 г. для Короленко началась череда арестов, тюрем и ссылок. Быт ссыльных и каторжных с этого времени становится одной из основных тем Короленко-писателя. Рассказ «По пути» впервые был напечатан в журнале «Северный вестник» в 1888 г. (№2).

I

Лихо взлетев на пригорок, тройка остановилась, ямщик сошел с козел и стал оправлять разладившуюся упряжь.

Седок, пробужденный внезапной остановкой, высунул голову из-под шинели, потом потянулся и сел в просторной повозке, стараясь не потревожить спавшего рядом мальчика.

— А? Что такое? — спросил он, зевая.

Денщик, который крутил, сидя на облучке, сигарку из толстой бумаги, ответил, не торопясь:

— Ничаво, ничаво! Сейчас поедem, ваше высокородие. Недалече!

Колокольчик под дугой коренника звякнул несколько раз, оставив в воздухе мягкий отголосок. Ветер шевелил гривы лошадей и шелестел в придорожных кустах. Седок, офицер лет около пятидесяти, снял мохнатую папаху и посмотрел на небо.

Денщик скрутил сигарку, взял ее в зубы и, добывая из кармана спички, сказал:

— Партия, ваше высокородие.

Офицер встрепенулся, черты его румяного лица приняли определенное начальственное выражение, и он посмотрел вперед.

Дорога сбегала в долину и опять полого подымалась кверху длинным «тянигузом». На подъеме она, казалось, жила, шевелилась, кишела серыми движущимися точками. Кое-где можно было различить телеги, которые казались отсюда странными насекомыми... Вся масса тихо, почти незаметно на этом расстоянии ползла кверху...

— Расползлись, каналы, точно овцы, — сказал офицер с недовольством. — И конвоя не видно...

— Вон они, забегали, — сказал денщик, закуривая и улыбаясь. — В телегах спали, видно...

— Ничего! — уверенно прибавил ямщик, взбираясь на козлы. — На слово партия идет... Фролов за старосту. Спи знай!

— Фролов, — какой Фролов? — спросил полковник. — Бродяга? По прозвищу Бесприютный?

— Ну! Он самой... Фролов по всей Сибири человек известный. Можно сказать — знаменитый бродяга... Сказывают, не знаю — правда, не знаю — нет, но будто в Питербурхе и то Бесприютного знают...

— Фролов... — оказал офицер задумчиво. Он вспомнил себя молодым урядником, вспомнил первую партию, которую конвоировал, и молодого бродягу и прибавил:

— Да, вот она жизнь...

— Так точно, — отозвался с козел денщик, пуская в воздух синюю струйку дыма.

Замечание офицеру не понравилось.

— Дурак ты, Климов, ей-богу! Ну что «так точно»?.. Я вообще говорю: жизнь!.. А ты: так точно!.. Глупо, братец.

— Да ведь и я, ваше высокородие, вопче... Самая это собачья жизнь, бродяжья.

— А, ты вот насчет чего! Привычка, говорят, вторая натура.

— А я что же говорю: натура волчья, в лес тянет.

Почему-то и это замечание не удовлетворило офицера...

— Э! Все ты не то говоришь... Молчи, Климов! Ямщик, поезжай.

Ямщик подобрал вожжи и привстал. Тройка понеслась под гору и потом лихо взяла кверху. Через несколько минут, замедлив ход, она врезалась в середину расступавшейся партии. Теперь конвойные шли по сторонам, с ружьями на плечах. Смешанный говор и шум охватил едущих со всех сторон. Из-за шороха колес слышался плач детей, топот толпы, переливчатый звон кандалов. Арестанты снимали шапки и низко кланялись. Каторжане с достоинством и не торопясь обнажали наполовину бритые головы...

В одном месте мелькнула фигура не совсем обычная: моло-

дой человек в вольной одежде и в очках шел стороной дороги рядом с высоким арестантом и о чем-то разговаривал с своим спутником. Полковник нахмурился; когда повозка поравнялась с этой парой, — молодой человек снял запыленные очки, протер их платком. Он с любопытством, но не кланяясь, взглянул на проезжающих. Другой арестант поклонился вежливо, но тоже без особенной почтительности... Повозка проехала дальше.

В голове партии, в стороне, ожидал, стоя навытяжку, старший конвойный. Полковник остановил ямщика и подозвал его жестом.

— Все благополучно? — спросил он.

— Так точно, ваше-дие.

— Почему запоздали? Смотри: до заката не попадете на этап...

— При выходе из N, ваше-скородие, случилось неблагополучие.

— Что такое?

— Скоропостижно скончался старик арестант...

— А!.. Да-да... За старосту у вас Фролов?

— Так точно, ваше-скородие... Бесприютный.

— А где он, кстати?.. Покажи мне...

Старшой пригляделся и сказал:

— Вон он, — с политическим идет... Прикажете позвать?

— Не надо... Пошел!

Тройка подхватила и понеслась по свободной дороге... А партия ползла дальше.

II

В самом конце партии тащилась, шурша колесами, телега. На других телегах ехали «привилегированные» арестанты, женщины с грудными детьми и старики. Порой на них присаживались конвойные. На этой виднелся только мужик, правивший лошадью, и старый седой арестант. Он сидел на краю, спустив ноги и повесив обритую голову с белой бородой. За ним виднелось что-то длинное, покрытое серыми халатами.

Казалось, присутствие этой последней телеги бросает тень на всю партию...

Невдалеке за нею шел Фролов с «политическим»...

«Политического» звали Залесским. Это был молодой блондин, с закинутыми назад волосами и серьезным, немного наивным лицом человека, привыкшего к кабинетной работе, над книгами. Каким-то внезапным порывом политического ветра его подхватило из привычной обстановки и кинуло на эту дорогу с тюрьмами и этапами. И от нечего делать он присматривался к этому новому и удивительному для него миру. Арестантская среда, в свою очередь, присматривалась с неменьшим удивлением к странному «барину», глядевшему на нее через очки наивно изучающим взглядом. Он был «привилегированный» и ему полагалось место в телеге. Но от самого Томска он ни разу не сажился в нее, предоставив партии распоряжаться своим местом как угодно. Теперь его небольшой чемоданчик лежал рядом с мертвым телом.

Имя Фролова, шедшего рядом с Залесским, было действительно широко известно по всему сибирскому тракту от Благовещенска до Перми. К партии он был присоединен в Томске, и тотчас же его выбрали старостой. Он принял этот выбор спокойно, как должное, и тотчас же Залесский почувствовал, что это большая сила. Партия сразу подтянулась. Распоряжение этапом фактически перешло к Фролову. Он вел партию «на слово», и конвойные знали, что на слово теперешнего старосты можно положиться: ни побегов, ни экстренных происшествий не будет. Конвойные шли вольно и даже спали в телегах...

Всякая профессия имеет своих выдающихся людей. Фролов был таким выдающимся человеком бродяжьей профессии. Еще ребенком он последовал за отцом, которого сослали в Сибирь. Мать его умерла в пути, и мальчик рос в тюремной среде. В тюремной церкви он слышал кое-что о Боге... кое-что торопливое, казенное и небрежное. В тюрьмах выучился грамоте. Впоследствии из него выработался настоящий герой сибирской дороги.

Об его побегах ходило много рассказов, слагались даже песни. Никто не знал за ним убийств, но он обладал большой хитростью и изобретательностью. Однажды на глазах Залесского он закатил глаза так, что видны были одни белки и физиономия его, даже вся фигура сразу изменилась до неузнаваемости. Он протянул вперед руку, как будто держась за поводыря, и стал поразительно похож на старика слепого, бредущего за милую

стыней. Через минуту лицо его опять изменилось. Прежний Фролов смотрел на Залесского пытливо и печально, как будто стараясь узнать, какое впечатление произвела на «барина» эта метаморфоза. «Он мог бы быть замечательным трагическим актером», — подумал про себя Залесский... Во время дневных переходов, вечерами на этапах они часто говорили друг с другом. Их влекло друг к другу, какое-то взаимное чувство. Фролов знал сибирскую дорогу и тюрьмы так, как их не знал никто. Арестантская одежда, в которой другие выглядели чуждо и странно, сидела на нем, точно он в ней родился. Это был его мир, и в нем он чувствовал себя хозяином. Широкий сибирский тракт, обставленный столбами, глухая таежная тропа, с чуть заметными признаками прохода людей, этапы, тюрьмы, солдаты, начальство, смотрители, надзиратели, арестантская среда с ее волнениями и страстями — все это было ему знакомо во всех самых глубоких подробностях... Когда он подходил к околице сибирской деревни, старик, «поскотник», присмотревшись к нему, узнавал его так же легко, как тюремный служака на любом этапе.

— Опять ушел? Отколе бог несет? — спрашивал мужик, сторонясь и давая место у огня с тем радушием, с каким товарищи арестанты очищали место на нарах... И Фролов занимал это место в своем мире уверенно и просто, зная, где нужно быть настороже и где можно спать спокойно даже под звон колоколов проезжающего трактом начальства...

Но зато это был совершенный ребенок по отношению ко всему остальному божьему миру, который казался ему сказочным и странным. В Залесском он видел представителя этого другого, странного мира, лежащего за гранью его горизонта. К которому, однако, его влекло всю жизнь. Вернуться в Рассею, на родину, которую он не знал, и зажить там какою-то новою жизнью, — было его мечтой. Залесский, в свою очередь, был совершенным младенцем в той среде, куда его теперь занесла судьба. Отсюда странный взаимный интерес, который привлекал их друг к другу...

Разговоры их были как будто несистематичны и случайны. Однажды на остановке в пересыльной тюрьме, когда арестанты толковали о выборе нового старосты, Залесский вмешался

в общий разговор. Он заговорил, просто и наивно, о том, что ему казалось несправедливым в арестантских обычаях, в законодательстве этого странного общества, где достоинство и значение людей определяются важностью совершенных ими преступлений и отчаянной решимостью на новые преступления. Всем руководили «каторжники», — аристократия тюрьмы. «Шпанка», забитая и загнанная, подчинялась безропотно и робко. Женщины продавались «на майдане» из полы в полу; воровство общественных денег и хищения старост и артельщиков было как бы установленным институтом, освященным обычаем. Со всей искренностью наивного и прямого человека Залесский, просто и вдумчиво, старался выяснить свое мнение... Арестанты слушали с любопытством... Политическая ссылка еще была явлением новым, и ее представители внушали интерес и невольное почтение. Но затем «общество» перешло к обсуждению своих дел, как будто «барин» ничего не говорил. Залесский почувствовал в этом особого рода почтительное, но бесповоротное пренебрежение и более не пытался поднимать общие вопросы.

Но Фролов именно с этих пор стал проявлять к нему влечение. Все, что говорил этот молодой человек в очках, Фролову казалось тоже ребячески наивным. Но он понимал как будто, что есть где-то такой мир, для которого все это не наивно и не глупо.

Фролов был не молод, хотя возраст его определить было бы трудно. Его движения были уверенны, неторопливы и ровны. Залесскому постоянно казалось, что когда-то они должны были быть порывисты и быстры. И теперь по временам глаза арестанта загорались, а плечи вздрагивали, заставляя ожидать резкого движения... Но случалось это редко, — как будто было что-то в настроении этого человека, что постепенно умерило живость его порывов. Бывали минуты, когда его глаза уходили еще глубже и как будто задерживались. Тогда именно Залесскому казалось, что этот человек, знающий так хорошо все, чем живет серая масса, знает или предполагает еще и о жизни вообще что-то, неизвестное другим. Знает, но не хочет сказать.

Не этим ли, думал Залесский, объясняется то влияние, каким пользовался Фролов в своей среде. Было что-то придававшее особенное значение самым простым его словам. За прямым

смыслом этих слов слышалось еще нечто недосказанное, что глядело на слушателя из глаз Фролова и прикасалось к душе при звуках его голоса, будя в ней какие-то смутные чувства и намекая на что-то, кроме вопросов обычного тюремного дня.

III

Однажды Залесский перебирал в своем чемоданчике книги и письма. Староста принес чемодан и должен был отнести его обратно. С наивной бесцеремонностью простого человека он стал рассматривать книги, и его внимание привлекла одна. Заглавие ее было: «Вопросы жизни и духа» (Льюиса).

Бродяга заинтересовался и прочитал вполголоса:

— Наш век страстно ищет веры.

Залесский поднял на него глаза. Фролов прочитал про себя еще несколько фраз и сказал задумчиво:

— Это гнали лонисъ (в прошлом году) штундистов из Екатеринославской губернии. За веру... Капитан с ними был, а прочие мужики... Книжка у него, Евангелие. Отнять хотели. Ну, прошение написал. Дозволили. Придут на этап, сядут в уголок... Он читает, те слушают.

И он положил книгу. Затем взгляд его остановился на фотографии, выпавшей из письма.

— Это кто? — спросил он, поворачивая карточку обратной стороной, на которой была надпись.

Залесский взял у него карточку и сказал:

— Не надо читать. Это написано только для меня...

— Начальство, небось, читало, — ответил Фролов.

— Вы ведь не тюремщик, — ответил Залесский, — если хотите, посмотрите карточку, но не читайте. Это — моя сестра с семьей.

— Ну, не сердись, барин... Мне что!.. Сестра так сестра. У меня тоже сестра... была.

— А теперь?

— Кто ее знает... Может жива, может нет. Я ее не видал... Сказывают: хорошо живет... в Рассее...

Затем, когда Залесский стал опять закрывать чемодан, Фролов вдруг сказал:

— А книжечки этой... можно мне почитать?

В уме молодого человека быстро промелькнула общая физиономия труда Льюиса. Он примерил его к умственному уровню бродяги, и ему хотелось отказать. Но затем он сказал:

— Возьмите... Только будет ли понятно?

И ему почему-то стало совестно. Ночью он видел, что бродяга за сальным огарком читал Льюиса. Брови его были сдвинуты... На лице отражалась упрямая и трудная работа мысли...

Залесский не спрашивал, понимает ли он книгу и как именно понимает... Фролов стал в дороге часто заговаривать с ним, но тоже не упоминал о книге... Разговоры эти носили странный характер. Они были как будто бессвязны, но Залесскому казалось, что их направляет какая-то одна постоянная мысль, стоявшая в голове бродяги. Его рассказы порой были так выразительны и красивы, что Залесский думал про себя:

— Из него мог бы выработаться замечательный рассказчик...

Порой у Фролова готовы были сорваться с языка какие-то полупризнания... Что-то вроде внезапной откровенности прорывалось в голосе, но он, обрывал их на полумысли и опять только приводил какой-нибудь эпизод.

— Мальчик-то... что у вас на карточке?.. Стало, вам племянник приходится? — спросил он как-то.

— Да, — ответил Залесский.

— Славный парнишка... сытенький... А неизвестно, — прибавил он вдруг, — какая ему линия выйдет...

Залесский молчал и ждал.

— У всякого человека своя линия... Вон мужик пашет. Ввел коня в борозду, — он идет, и погонять не надо... А небось в первый-то раз неохота лезть в оглоблю. Так-то... У мужика опять своя линия... У нашего брата, бродяги, своя. Вы, барин, про генерала Кукушкина слышали?

— Нет, не слышал.

— Бродяжий генерал... По лесу кричит: ку-ку, ку-ку... Крик нет весной, у бродяги сердце горит... Последний раз втроем мы из Акатуя бежали. Одного часовой застрелил, другого поймали, тоже, пожалуй, прикончили: у них, у архангелов тюремных, опять своя линия. А я все-таки к генералу Кукушкину явился в тайгу... Все одно, как к начальству... Здравья желаю, ваше превосходительство...

Фролов замолчал и потом сказал серьезно, как будто удивляясь своим словам:

— Веришь ты, барин. Один раз на поселение вышел. С поселенкой слюбился. Одну весну руками за нее хватался, на другую не выдержал, сбежал... Пришел в тайгу и думаю: ну, генерал Кукушкин! Не слуга я тебе! Лучше жизни решусь... А все-таки... остался на своей линии...

В другой раз он опять заговорил о племяннике Залесского и стал расспрашивать, сколько ему лет, когда его отдадут в школу...

И потом вдруг рассказал эпизод из своей жизни.

— В первый раз отец мой из поселения бежать надумал. В Рассею пробраться. Мать-отец там у него остались, внучка у них... Жили хорошо. Пошли. Хомяк еще с нами — вон тот, что с мертвым телом в твоей телеге едет... Идем дорогой. Оголодали. А народ в том месте плохой. Не то, что дальше по Сибири: завсегда для бродяги краюха хлеба, молока кринка на окне у амбара ночью стоят... Бери, мол, да ступай себе мимо. В Забайкалье этого нет. Надо, значит, самому промышлять. Ломать амбар, услышат. А тут оконце небольшое. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, Яш! Пробуй: не пролезет ли голова. Голова пролезет, и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре темно, может, еще и чалдон сторожит... И совестно — в первый-то раз... Не воровал еще никогда... Сунул голову: не лезет, мол... Слышу, отец говорит Хомяку: «Эх, брат, ломать, видно, не миновать!» — «Плохо это, — отвечает Хомяк... — Озлится чалдон... И то они по здешним местам варвары». А отец опять: «Так-то оно так... Да, вишь, мочи нет... И мальчонко отощает... Не дойдем...». Повернулось у меня сердце, и стало опять совестно: зачем солгал. «Тятка, — говорю, — а тять!.. Голова-то у меня пролезла...» Взяли хлеба каравай да холста на онучи... Пошли дальше...

Фролов посмотрел на Залесского своим вдумчивым взглядом и прибавил:

— Понял ты?..

— Кажется, понял, — ответил Залесский.

— А понял, так и ладно...

IV

В тот день, с которого начинается наш рассказ, Залесский во весь переход чувствовал себя в особенном настроении. Недолгий осенний день отходил... Партия продолжала тянуться по дороге... «И завтра, и через неделю, — думал Залесский, — и через месяц то же солнце увидит тех же людей на той же дороге... Только вон тот, что лежит на задней телеге, уже кончил свой путь. И старик, который сидит с ним рядом, пожалуй, тоже скоро его кончит... Да вон еще ребенок, который жалобно плачет в другой телеге... Он родился весной на одном этапе, умрет на другом осенью...»

Партия вытянулась на гребень, и голова ее стала спускаться вниз. Фролов, который молча шел рядом с Залесским, взглянул вниз на долгий спуск и крикнул:

— Подтягивайся, братцы, подтягивайся... Ямщики, подхлестни лошадей... Ближко!

Партия дрогнула; пешие пошли живее. Колеса зарокотали быстрее...

Но Фролов опять шел рядом с Залесским, молчаливо и задумчиво...

— О чем вы задумались? — спросил Залесский.

— Так... вообще... вспомнилось, — сказал бродяга...

И потом, пройдя еще несколько сажень, он тряхнул головой и посмотрел на Залесского вдумчивым и вопросительным взглядом. Залесский понял, что сейчас он опять расскажет ему один из эпизодов своей жизни... На этот раз под влиянием настроения, витавшего над партией во весь этот переход, он будет, может быть, более откровенным...

Фролов начал без всяких приготовлений.

— ...В третий раз я тогда бродяжил. Отец уже помер, товарищ отстал, — пошел я один. Все думал к сестре пробраться. Тоскливо было до страсти, скука! Иду, и все вспоминается, как мы тут с родителем с покойником шли; и зарубки на лесинах его рукой деланы. Вот раз к вечеру бреду тропкой, запоздал до ночлежного места шибко. Хотел в шалашике переночевать, который шалаш вместе мы с отцом построили. Только подхожу к самому этому месту, через ручей перейти, — гляжу: за ручьем

огонек горит, и сидит у огонька бродяжка. Исхудалый, глаза как у волка, кидает на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, голодный человек и холодный: одежда, почитай, вся обвалилась. Вот, хорошо. Обрадовался я этому случаю, — думаю: товарища бог послал. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел — как следует, по-товарищески. У нас, барин, — своя честь есть, бродяжья. Иной, подлец, из-за халата товарища убьет... Ну, это уж нестоящие люди. Меня отец не тому учил... И в товарищах я ходил с такими людьми, на которых можно положиться. Ну, все-таки и этому товарищу рад... Посидели мы, потолковали... Спать! Лег я, веток под голову наломал... Полежал, полежал... Не спится. Отец вспоминается покойник: этак же вдвоем в шалаше лежали. Слышу: встает мой бродяжка, из шалаша вон идет. «Куда?» — говорю. Да так, мол, не спится что-то. Дойду, говорит, к ручью, воды в котелок зачерпну да сучьев натаскаю. Завтра пораньше чай варить... Да, ты, говорит, что же это, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, — чай ведь душно...

А меня отец-покойник учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать, — пуще всего голову береги; в живот ткнет — не убьет сразу... Вот я завет отцовский храню, хоть на этот раз ничего и в уме не было... «Ничего, — говорю, — в привычку мне так-то, и комар меньше ест». Хорошо.

Ушел бродяжка к ручью, — не идет, да и не идет. Ночь темная была, на небе тучи, да и неба сквозь дерев не видать. Огонек у шалаша этак потрескивает, да листья шелестят... Тихо.

Вот лежал я, лежал, об отце думал, про своих вспоминал, про сестру, да про Рассею... Вздремнул. Только слышу, отец меня окликает: «Яшка!» Так это будто с ветром издалика принесло. Прокинулся, открыл глаза: костер дымит, да ветка над входом качается. И я опять заснул.

И опять слышу: идет кто-то к шалашу, сучья хрустят, за огоньком будто кто маячит. И опять: «Яшка! Не спи!»

Перекрестился я сонной рукой, вздохнул об родителе... а не могу вовсе проснуться. Глаза так и сводит. Заснул опять, крепче прежнего.

Прошло сколько-то времени, слышу: идет отец к шалашу, стал в дверях, руки эдак упер, а сам наклонился ко мне в дыру-то.

— Слышь, говорит, Яшка! Не спи, а то заснешь навеки!..

Да явственно таково сказал, что сна моего как не бывало. Прокинулся: огонь погас, по листьям дождик шумит, и нет никого.

Присел я тихонько. Думаю: неспроста это дело. Где же это товарищ мой богоданный?.. Слышу: дышит кто-то сзади меня, ветками шебаршит... Поднялся я на ноги, вышел неслышно на волю. Гляжу: сидит мой товарищ на корточках, над головой моей шалаш разбирает... И корягу вырезал в тайге здоровую...

Фролов смолк и потом спросил:

— А вы и не спросите, что я тогда с тем человеком сделал?

— Не спрошу, — ответил Залесский... — Захотите — сами скажете... А не захотите — не надо.

Фролов посмотрел на него и пошел молча.

V

Партия с тихим рокотом скатывалась по дороге. В вечеряющем воздухе звон кандалов и шуршание колес звучали мягче и тише. Серые люди, телеги, казавшиеся какими-то бесформенными животными, проплывали мимо... Ребята спали на руках матерей, люди говорили друг с другом тихо и сдержанно. Неровный топот двух сотен ног покрывал все остальные звуки.

Этап с высоким частоколом стоял на холмике, и мелкий хвойный перелесок подбегал к нему с одной стороны. Невдалеке, в ложине, искрились и мигали ранние огни села. Все было по-старому. Только разве лес отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочки, да частокол потемнел, да караулка еще более покосилась.

Ворота отперли, партия столпилась около них с шумом и говором, во дворе сидели торговки из села... В этапной кухне горел яркий огонь, и около крыльца этапного начальника зажгли фонарь. Полковник, проезжавший по ревизии, стоял, окруженный другим начальством, и смотрел на прибытие партии. Его военная тужурка была расстегнута, и из-под нее виднелась белая жилетка с форменными пуговицами... Вообще он держал себя нараспашку, курил трубку, отводя по временам длинный чубук в сторону, и порой обменивался с кем-нибудь добродушными шутками. От всей его фигуры веяло самодовольством.

— Эй, — спохватился вдруг полковник, — а где же тот, как его?.. Бесприютный?

— Фролов, — крикнул кто-то... — Барин требует...

Полковник обождал. Но партия успела втянуться в ворота, которые были заперты за ней, а Фролов не являлся.

— Прикажете позвать, Семен Семеныч? — спросил один из конвойных офицеров.

— Нет, не надо, зачем? Я это так — по старому знакомству... человек усталый, зачем его тревожить... Все равно, завтра выдаю... Притом — у него забота. Ведь он староста?

— Так точно, ваше высокоблагородие...

Невдалеке, в тени частокола, стояла тройка. Лошади ржали и фыркали, и колокольчик позвякивал под дугой.

Полковник собирался навестить старых знакомых в стороне от тракта и завтра должен был вернуться, чтобы продолжать дальнейший объезд.

Через полчаса лошади были поданы к крыльцу, денщик помог полковнику усесться, усадил мальчика и сам вскочил на козлы.

— Прощайте, господа! — сказал полковник добродушно.

— Счастливого пути! — отозвалось несколько голосов.

— А вы, Степанов, — обратился полковник к этапному начальнику, — смотрите, чтобы все было в порядке. Вы меня знаете: я никому зла не желаю; ну, а за беспорядки не взыщите. Солдата и арестанта в обиду не дам, не дам-с!.. У меня правило!..

— Слушаю-с...

Тройка взвилась, повозка обогнула холмик, и звуки колокольчика долго еще неслись из сумерек, тихо порхая вокруг запертого и примолкшего этапа.

Залетел этот звон и в этапную камеру, в которой воздух, несмотря на открытые окна, был спертый, затхлый и душный... Через час камера спала тяжелым сном усталости. Порой слышался сдавленный писк ребенка, порой прорывалось сонное бормотание, и затем опять все сливалось в одном дыхании, точно камера дышала одной грудью, обладала одним пульсом. Порой по тракту проезжала обратная тройка, и тихие удары колокольчика врывались сюда и висели в воздухе ровными толчками, точно рядом с камерой бился еще чей-то пульс, — пульс раскинувшейся за оградой свободной и свежей ночи.

В камере не спали два человека. Один был Залесский. Заложив руки за голову, он глядел вперед, и мысли бежали лихорадочно в его голове... Порой они туманились, и тогда только смутные образы стояли в воображении. Ему слышался ровный шум леса. Громадные ветви, теряясь в темноте, качались сумрачно и важно; темнело; колокольчик замер где-то в бесконечной дали и оборвался... Как будто целая бесконечность отделила эти звуки от темной чащи, в которой бились затерянные люди... И ему казалось, что сам он тут же, рядом с ними, в таком же темном лесу и не может найти выхода ни себе, ни им. Когда же он опять открывал глаза, он видел на другой наре напротив сальный огарок и лицо Фролова, склоненное над книгой. На лбу бродяги залегли глубокие морщины...

«Не понимает», — думал Залесский, и ему опять стало отчего-то совестно...

Потом он совсем забылся...

Ночью его разбудил шум... Фролов стоял около него и гневно смотрел на его соседа. Это был тощий и жалкий субъект, шут и балагур, который постоянно подходил к нему с предложением услуг и лестью. Залесского это тяготило, и, чтобы избавиться от него, он раза два давал ему по мелочам деньги. Теперь Жилейка (так звали этого арестанта), пользуясь темнотой, прилег тесно рядом с ним и попытался выдернуть из-под головы Залесского пиджак, в котором были деньги. Фролов, очевидно, заметил это и теперь держал Жилейку сильной рукой за шиворот... Начали просыпаться арестанты.

— Что такое? — спросил кто-то.

— Жилейка, слышь, к барину подсыпался...

— Оставьте его, — сказал Залесский.

Фролов тряхнул Жилейку и бросил его опять на нары.

— Собака! — сказал он. — Ложись поди со мной. Ну!.. А ты, барин, тоже... Сам виноват... Не видишь, что это за человек... Зачем давал деньги?.. Слабы вы на это, господа политические...

Через минуту в камере все опять спали. Фролов тоже лег на свое место... Погасил свой огарок. В дальнем углу в фонаре тускло светила лампа.

VI

На следующий день Залесский проснулся поздно. Партия получила от этапного начальника позволение отрядить охотников за сбором подаяния в соседние деревни. Окруженные конвоем, нарочно звеня кандалами как можно сильнее, они проходили по улицам деревень, стараясь придать себе особенно угнетенный и несчастный вид, — и тянули хором жалобный мотив: «Мило-се-ердные наши-и ма-а-тушки-и...»

Они успели уже вернуться с целой телегой милостыни, и когда Залесский открыл глаза, староста и два помощника были заняты дележкой. Перед ними были навалены караван хлеба, куски ситника, баранки; они старательно резали ровные куски, прибавляя к каждой доле небольшие ломтики булок. Половинки баранок втыкались в хлеб.

«Много набрали сегодня, — подумал Залесский, — Должно быть, праздник».

Сегодня он чувствовал себя в другом настроении; вчерашние его впечатления отодвинулись куда-то далеко, и он опять с любопытством наблюдал суетливую толпу арестантов.

— Барин, милостыню возьмешь, что ли? — спросил у него Фролов, заметив, что он проснулся.

— Нет, не возьму.

Залесский никогда не брал своей доли. В первое время он старался победить в себе невольную гордость и брать милостыню, как все другие. Но затем он представил себя в числе поющих «Милосердную». Может ли он, как другие, заработать эти куски? Нет — стало быть, он не должен участвовать и в дележе.

Это выделяло его из арестантской среды и могло показаться гордостью. Фролов опрашивал его всякий раз и всякий раз равнодушно кидал его долю в общую кучу, не выражая своего мнения...

Залесский встал с нар и осмотрелся. Камера была почти пуста: большинство арестантов гуляли по двору, шутя и балагурия с торговками. Несколько человек зашивали у окон халаты, искали насекомых, кое-кто прилаживал коты или подкандадь-

ники, готовясь к завтрашнему пути. В камере господствовало настроение ленивых и прозаических будней.

Такой же будничной показалась теперь Залесскому и фигура Фролова.

— Кипяток! Кипяток! — раздалось вдруг у дверей, и два человека внесли в камеру ушат с кипятком для чая, поставив его около старосты. Арестанты торопливо наполнили камеру, подходя с чайниками и получая вместе с тем свою долю милостыни.

Торговки, продававшие на дворе съестное, убрали лотки. Залесский торопливо вышел, остановил одну из них и, взяв первый ломоть, попавшийся под руку, вернулся в камеру. Он также заварил чай и, усевшись в стороне, стал медленно пить.

День прошел так же тускло и скучно.

Солнце зашло, и на дворе быстро темнело; в окна виднелась большая тяжелая туча; она тихо ползла по небу, как бы раздумывая о чем-то и разглядывая то место, куда пролиться дождем. Но дождя не было, только в окна залетал свежий ветер.

Зажгли лампы; от этого стены сразу побелели, окна выступили пятнами, и туча потерялась в темноте. Теперь двор затих, а камера ожила и зашумела.

В дверях показалась голова караульного.

— Смирно, ребята! Сейчас будет полковник.

Во дворе послышался топот шагов.

В темном четырехугольнике дверей показалась добродушная фигура Семена Семеновича. Сюртук его с измятыми погонами по обыкновению был расстегнут, что придавало ему вид некоторой благодушной распушенности. В левой руке он держал свою трубку, с длинным чубуком, один конец которого посасывал углом рта. На голове у него была надета большая сибирская папаха с кокардой, откинута несколько назад, что как-то выделяло еще больше его лоснящиеся щеки, вздернутый нос, опущенные вниз усы. Небольшие глаза искрились добродушием человека, довольного собой и другими.

— Здорово, подлецы, — сказал он весело, вынув чубук изо рта и остановившись на мгновение у порога. Глаза его заискрились еще больше. Он знал, что арестанты знакомы с его манерой, что слово «подлецы» выражает только фами-

лярное доброжелательство. Действительно, в камере слышались радушные ответные возгласы:

— Здравия желаем, ваше высококорodie... — а кой-где вынеслись голоса побойчее: — Здравствуйте, Семен Семенович, ваше высококорodie.

За полковником вошел начальник этапа, болезненный, очень высокий и худой офицер с воспаленными и неприятно бегавшими глазами. Он не имел на этот раз причин бояться каких бы то ни было претензий, но все же, когда он видел инспектора и арестантов вместе, — ему было не по себе. С ним вошли еще два молодых прапорщика конвойной команды, два-три солдата и, наконец, рослый фельдфебель вынырнул из темноты и тотчас же прилип к косяку молодежато вытянутой фигурой.

— Ну, каково дошли, мерзавцы, а? — спросил опять полковник и затем стал вдруг серьезнее, насутился и вынул изо рта трубку.

— Нет ли претензий? Говори, ребята, откровенно.

Полковник спрашивал отрывисто, резким голосом.

Внезапная серьезность, водворившаяся на его лице и во всей фигуре, показывала, что в этом деле он не шутит, и арестанты это знали.

— Слава Богу, — раздавались их голоса, — спасибо, ваше высококорodie, не забываете нас. Не имеем претензии. Идем хорошо, слава богу...

— Ну, слава Богу лучше всего, — и полковник опять расцвел. — Садись, ребята, садись по местам, — чай простынет. А где тут... у меня?..

Семен Семенович оглянулся по камере, как бы кого-то разыскивая; он на мгновение насутился: взгляд его упал в одном углу на фигуру Залесского. Молодой человек сидел недалеко на низенькой скамейке, сосредоточенно наливал чай из жестяного чайника в деревянную кружку и затем, отпивая медленными глотками, смотрел в другую сторону. Хотя полковник велел арестантам, вставшим при его появлении, сидеть свободно, но этот, по-видимому, не вставал вовсе, и начальнику это не понравилось. Кроме того, Семен Семенович был в душе демократом и хотя никого не притеснял, но вместе с тем не допускал никаких незаконных льгот для так называемых «привилегирован-

ных»... «Вольная одежда» молодого человека его смущала, но он знал, что на этот раз ничего не может сделать: «циркуляр»!.. Поэтому на выразительном лице его появилась гримаса, как будто он принял слишком крепкую понюшку табаку, — что заметили все арестанты, — и он отвел глаза.

— А где у меня тут старый знакомый... а?

Взгляд его весело пробежал по серой толпе, и он увидел около ушата с кипятком знакомую фигуру Фролова. Услышав вопрос инспектора, староста равнодушно посмотрел на полковника, но не двинулся с места.

— Фролов!.. Староста... Тебя, слышь... — толкали его ближайшие соседи, но полковник сам приближался к нему, проходя между нарами, причем свита следовала за ним.

Арестанты столпились вокруг них, глядя с почтительным любопытством на полковника и на своего старосту. Залесский тоже взял свою чашку и подошел поближе. Сверкающая фигура полковника вошла в освещенное лампой пространство, и арестанты остановились, сдерживая друг друга на почтительном расстоянии. Полковник и бродяга стояли в центре этого круга.

Глаза инспектора сияли веселым огоньком и бегали особенно оживленно; он имел вид человека, уверенного в том, что своим появлением он делает неожиданный сюрприз, радуется сам и готовится обрадовать другого.

— Что, Фролов, узнаешь меня? — спросил он, круто остановившись у нар и вынимая изо рта трубку.

— Узнал, ваше благородие, — просто ответил Фролов.

— Помнишь, стало быть? — и полковник подмигнул бродяге одним глазом весело и фамильярно, как человеку, с которым у него есть общие приятные воспоминания.

Фролов промолчал. Очевидно, для него в этих воспоминаниях не было ничего приятного.

Инспектор поднял брови и, отведя трубку, стал что-то рассчитывать в уме.

— Да, да! Лет восемь никак мы не видались — так ведь, братец?

— Не могу знать, — ответил Фролов с холодным спокойствием. — Нам года считать ни к чему...

— Да... восемь. Меня тогда в штабс-капитаны произвели. А в первый раз встретились двадцать лет назад... Верно! Я не ошибусь!.. Вот, господа, — повернулся он к своим молодым спутникам. — Имейте в виду: двадцать лет назад, это было в первый год после моего определения, мы с ним встретились в первый раз... Много воды утекло, ах, много!..

— Много, — повторил бродяга и бросил на полковника быстрый, короткий взгляд исподлобья. В этом взгляде мелькало то же выражение, с каким вчера он исследовал покосившиеся этапные постройки. Полковник угадал его мысль.

— Да, брат, — переменялся и я, что делать. А уж о тебе и говорить нечего: сгорбился, глаза впали, седина пробилась... постарел, братец, постарел!..

Фролов стоял неподвижно, слегка опершись рукой на край ушата. Его лицо не выражало ничего; окружающие тоже молчали; синяя струйка дыма вилась из трубки, расплываясь над головами людей причудливыми завитками.

— Д-да, — сказал полковник отрывисто и затянулся; трубка захрипела, и он принялся выколачивать ее о край нары. — Д-да! Русская поговорка: гора, дескать, с горой не сходится. Имейте в виду, господа. Двадцать лет... Молодой прапорщик, новые эполеты... так сказать, у порога жизни... Оба были молоды, и вот теперь... Знаете: для ума много, так сказать... для мысли...

И он кинул в сторону Залесского самодовольный взгляд. Выколотив трубку, он сунул ее в кисет и начал набивать табаком, потом, закурив, снял папаху, кинул ее на нары и запросто уселся.

Минуту стояло молчание. Полковник, очевидно, вспоминал... Тогда он был молод; усики только пробивались над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как новый мундир и погоны; все это наполняло тогда радостью и блеском его жизнь, которая представлялась молодому прапорщику целой лестницей повышений. Если во столько-то лет он достигнет чина поручика, то умрет, наверное, полковником... Теперь полковник оглядывался назад, на пройденную часть жизненного пути и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безумному фендрику. Вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих мечтаний. Все, чего удастся еще добиться, будет уже сверхсметным подарком судьбы.

Да, он доволен судьбой. Все ему удавалось. Сына он сразу поставил выше, чем стоял сам в начале карьеры, дочерям дал приданое... Теперь, если придется, он умрет спокойно и, конечно, с наилучшими надеждами в будущей жизни...

В это время со двора донесся ласковый визг собаки и веселый смех мальчика, игравшего с нею на крыльце смотрительской квартиры. Полковнику захотелось иметь его около себя, и он кивнул фельдфебелю.

— Ваську сюда!..

— Василий Семеныч, — почтительно позвал фельдфебель, — папаша требуют.

На пороге показался краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение ослепил его; мальчик с улыбкой закрыл глаза руками, но затем, разглядев отца, радостно кинулся к нему среди расступившихся арестантов. Его не пугали серые халаты, он привык к звону кандалов, и не раз жесткая рука каторжника гладила его белокурые волосы. Однако, встретив взгляд человека, стоявшего перед его отцом, он вдруг присмирел и прижался лицом к отцовской ноге.

— Вон какой бутуз растет у меня, это самый младший, — сказал полковник, глядя рукой голову сына, и взглянул на Фролова. Вместе с сожалением к бродяге, он испытывал то странное чувство, которое заставляет еще более ценить место у камина, когда вспоминаешь о том, что другие пробираются среди темной метели...

Фролов стоял сгорбившись, с темным лицом и угрюмой лихорадкой во взгляде. Залесский посмотрел на него и подумал, что он понимает его настроение... Встреча с «старым знакомым» заставила и его оглянуться на свою жизнь... Что-то смятое, спутанное, ряд годов, ничем не отмеченных, и какие-то обрывки воспоминаний, отзывающиеся тупой болью. Люди, которых он знал близко, — были не те, что живут полной жизнью. Города он знал только со стороны тюрем, в деревнях — бани и задворки... Жизнь прошла стороной, и он смотрел на нее со стороны, с опушек тайги и со своей бесконечной дороги. В одном месте он видел, как пахари выводили на заимочных пашнях борозду за бороздой, посматривая на солнце. Дальше уже косцы, звеня

косами, укладывают зеленые ряды на лугах. Еще дальше жнецы жали поспевшую рожь. Вся эта чужая работа катилась стройно по заведенной колее, из месяца в месяц, из года в год, и все это не задевало человека, который смотрел с дороги. Матери кормили ребят грудью; мужики, положив головы на колени баб, подымали кверху детишек, которые тянулись к ним ручонками и звонко смеялись... А он смотрел на все это из кустов.

— Много раз бегал с тех пор? — спросил вдруг полковник отрывисто.

— Одиннадцать раз, — тихо ответил Фролов.

— И все неудачно!

— До своей губернии два раза доходил...

— Ну?..

Бродяга молчал, полковник пожал плечами:

— Эх, Фролов, Фролов! Жаль мне вас, ей-богу... На дороге где-нибудь встречу, сам рубль подам, даром что от вас хлопот казне не оберешься. Вот ты одиннадцать раз прошел, и назад тебя гнали. Сколько казне расходу... А убей ты меня — не понимаю, зачем вы всё бегаете... Да и сам ты не скажешь.

— Сестра у меня, — тихо и как-то жалко сказал Фролов.

— Сестра! Что она тебе, письма, что ли, пишет, зовет на именины да на крестины?

— Никак нет...

— Может, давно умерла?

— Тетка еще была.

— Ну хорошо, ну жива, ну обе живы. Так ты думаешь, они бродяге обрадуются? Ведь она замуж вышла, семья у нее. Сама за сотским не пошлет, так муж во всяком случае... Имейте в виду, — повернулся полковник к офицерам, — чем опытнее в своем деле бродяга, тем глупее в житейских делах. Я этот народ изучил...

В голосе полковника звучала такая уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его маленьких и теперь несколько насмешливых глаз. Между тем Фролов, тот самый «Бесприютный», чье имя пользовалось у сотен людей безусловным авторитетом, о ком по сибирскому тракту сложились целые легенды, стоял перед ним и бормотал что-то невнятно и смутно.

Молодой прапорщик, стоявший сзади полковника и державший под мышкой новенькую папаху с блестящей кокардой, смерил бродягу с ног до головы пренебрежительным взглядом; двое его товарищей неодобрительно покачали головами. Только один Степанов, смотритель этапа, худой, с раздражительным и желчным лицом, стоял неподвижно, и вся его фигура выражала, по меньшей мере, равнодушие к излагаемым начальником мыслям или даже пассивное неодобрение. Впрочем, это могло происходить оттого, что Степанов, не молодой уже подпоручик, и сам-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, вдобавок был еще и с похмелья.

Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. Кто-то в задних рядах вздохнул. Хомяк сидел на одной из нар в своей обычной позе, и даже он как будто прислушивался к уверенному голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного. В серой массе чувлось напряжение; арестанты переглядывались, как будто поощряя друг друга сказать что-то такое, что у многих было на уме, но что не могло ни у кого сорваться с языка.

Вдруг мальчик, тихо прислонившийся к ногам полковника, посмотрел в лицо человека, стоявшего против отца, и с беспокойною просьбой сказал:

— Папа... пойдём...

Залесский тоже взглянул вслед за мальчиком и, протолкавшись через кучку арестантов, положил руку на колено полковника и сказал с наивной простотой человека, очевидно совершенно забывшего свое положение:

— Знаете, полковник... Вам бы лучше уйти.

Это было совершенно неожиданно. Полковник посмотрел на него с недоумением, но вдруг понял то что-то особенное и тяжелое, что нависло среди угрюмой, ожидающей тишины, и немного растерялся... Степанов тоже что-то сказал ему, нагнувшись, и полковник вдруг как-то жалко заторопился.

— Ну да, ну да... Я сейчас... Прощайте, ребята.

Никто не ответил, и когда полковник сошел с нар, было мгновение тяжелого ожидания и ужаса. Мальчик пошел вперед... Толпа расступилась...

Фролов стоял, схватившись за край нары судорожно сжатыми руками и подавшись вперед. Он дышал тяжело и весь дрожал мелкою судорожною дрожью. Он шептал что-то, но слов не было слышно...

VII

В этот вечер староста Фролов закутил. Он угощал всех, даже Жилейку; бродяги, усевшись кучей, затагнули протяжную и надрывающую песню. Приходил фельдфебель, потом начальник этапа, но все они видели, что это одна из тех неудержимых вспышек неповиновения, в которых увещания бесполезны, а насилие может повести к самым ужасным последствиям для обеих сторон. Еще третьего дня конвойные, провожавшие партию, спокойно спали в телегах, а кандалышники сами наблюдали дисциплину и порядок. Теперь староста первый шумел и вызывающе отвечал на увещания. Кругом этапа во дворе царило напряженное ожидание. Солдаты не ложились спать, караул удвоили, со двора слышалось сдержанное бряцание ружей. Казалось, зверь, которого вчера можно было водить на шелковой ленте, теперь ошетинился и грозил разбить свою клетку.

Опытные люди знают эти мгновенные вспышки в арестантской среде. Масса людей, которые обычно так или иначе руководятся своими разрозненными интересами, — тут вдруг проникаются общей всем страстью. Каждый чувствует это странное единодушие, наступающее без предварительного сговора, без рассуждений, и сознание общности настроения страшно усиливает его в каждом отдельном человеке. Тут трус становится храбрым, а храбрый человек — безумцем. Из двух сторон, стоящих лицом к лицу, одна чувствует себя сильнее, потому что заранее отказывается от самого дорогого, за что можно бояться...

Степанов, состарившийся на этапах, был знаком с этими стихийными вспышками. Поэтому он принял все меры, чтобы избежать столкновения. Он не пытался вмешаться, не отнимал водку, которую арестантам удалось добыть в большом количестве, и даже удалил от дверей камеры часового. Он надеялся, что таким образом пламя внезапно вспыхнувших страстей перегорит и погаснет, не выходя за пределы камеры.

Залесский старался заснуть, но это ему не удавалось: дремота была тревожна. По временам, открывая глаза, он видел будто в тумане силуэты двигавшихся людей; слышал сквозь дремоту говор и песни. Один голос особенно выделялся и тревожил его, напоминая о чем-то неприятном и тяжелом. Поэтому он не хотел просыпаться, а проснувшись, старался тотчас же опять заснуть.

В одну из таких минут он увидел Фролова. Староста сидел на краю нары, обнявшись с простоволосой арестанткой. Женщина покачивалась и, смеясь, с пьяною наглостью заводила циничную песню. В камере было душно, накурено и пыльно от движения; фигуры рисовались тускло, будто в волнах тумана, пронизанного скудным светом ночников. На одной из нар в середине выделялась тощая фигура Жилейки. Он потрясал в воздухе кулаками и выкрикивал охрипшим голосом, видимо кому-то угрожая: «Знай наших!.. Поберегайся!» Во всех концах камеры стоял оживленный говор. Даже те, кто не принимал в пирушке непосредственного участия, сидели на постелях кучками и громко беседовали друг с другом о самых разнообразных делах и случаях, не имевших, по-видимому, ни малейшего отношения к тому, что здесь происходило. Камера гудела, как улей, разбуженный каким-то толчком в глухую полночь.

Потом протяжная хоровая песня покрыла все остальные звуки, и под ее грустный напев Залесский опять забылся.

Проснулся он от наступившей вдруг тишины и, проснувшись, сразу уселся на своей постели. Теперь в камере слышался один только голос. Кто-то плакал, но это не был плач пьяного человека. Это был протяжный грудной рев, как-то безнадежно и ужасающе ровный, которому, казалось, конца не будет. Этот рев как будто поглотил в себе все оживление разбушевавшейся камеры. Остальные арестанты прислушивались к нему в тяжелом испуганном молчании. Только пьяная женщина тянулась к рыдавшему, стараясь приподнять с нары его голову, и по временам причитала:

— Яши-инька, Яш! Горемышный ты мо-о-ой...

— Мамка, не трог меня... — глухо и прерывисто отвечал бродяга.

— Не трог, не трог, — испуганно шептали арестанты.

Вдруг Фролов поднял голову и обвел камеру тяжелым взглядом.

дом. Казалось, водка не опьянила его, и трудно было бы поверить, что этот человек только что плакал. Глаза его были сухи, черты стали как будто острее и жестче. Он порывисто приподнялся, держась руками за край нары, и искал кого-то глазами.

— А, барин! — крикнул он Залесскому, который смотрел на него, сидя на своем месте, отделенном от бродяги тянувшимися посреди камеры двойными нарами.

С языка бродяги сорвалось короткое циничное ругательство.

— Ва-а-просы... Я, брат, и сам спрашивать-то мастер... Нет, ты мне скажи, — должен я отвечать или нет... ежели моя линия такая. А то — ва-а-просы. На сигарки я твою книгу искурил...

Залесский молчал.

— Сестра-а! — сказал опять Фролов тоном глубокого презрения... — У меня у самого сестра.

И затем целый град самых грубых ругательств полился из уст Фролова. Казалось, он чувствовал особое наслаждение, втоптывая в грязь образ мифической сестры, мечту своей жизни.

Залесский сидел молча и думал, чем кончится эта сцена. Арестанты смотрели то на него, то на Фролова, не понимая, в чем дело. С трудом сойдя со своего места, без халата и шапки, в одном белье и с палкой в руках, старый Хомяк пробиравался, между тем, вдоль нары, направляясь к Бесприютному. Подойдя на два шага, он протянул руку, пошарил перед собой и, нащупав плечо Фролова, сказал с неожиданной силой:

— Молчи... Яков... Я тебе говорю: нишкни!

Фролов отстранился и, дико глядя на Хомяка, продолжал ругаться. Старик поднял палку и ударил Фролова.

Среди арестантов пронесся внезапный вздох.

— Вяжи его, ребята... Вяжи щенка... Вали в мою голову...

— Врешь, — закричал Фролов. — Сам молчи, старая собака... Связал один такой-то!..

— Братцы, родимые, — ножик! — взвизгнула вдруг арестантка.

В камере поднялась суматоха. Около нар топталась и глухо наваливалась серая, безличная толпа...

— Старика смяли, — крикнул кто-то сдавленным голосом. — Что вы стоите, как быки?.. Уведи старика, ребята... Не-ет, врешь... Нет, отдашь...

Серая куча глухо сопела и ворчала, ворочаясь сплошной массой на полу...

— Берегись! Ножик, — крикнул кто-то, и, пролетев над головами, нож зазвенел на полу. Несколько тел опять глухо свалились на пол, и Фролов поднялся на мгновение над толпой, дикий и страшный. Но вскоре опять свалился со стоном.

Когда, привлеченные шумом, в камеру вошли конвойные солдаты с ружьями, все уже было кончено. Степанов вошел бледный и ждал столкновения, — но столкновения не вышло. Вся страсть этой толпы ушла на борьбу с одним человеком, который лежал на наре весь опутанный принесенной со двора веревкой. Фролов лежал неподвижно и только с какой-то странной размеренностью поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. От этого взгляда становилось жутко.

VIII

— Барин, а барин!.. Слышь, барин!..

Залесский проснулся. Утомленная борьбой камера была погружена в глубокий сон. Даже один из караульных, приставленных к связанному Фролову, крепко спал, прислонясь спиной к деревянной колонке. Другой — Жилейка — растерянно топтался на месте в большом затруднении.

Фролов сидел на наре все еще связанный и глядел на Залесского. Хомяк стоял около него, пытаясь развязать узлы своими дрожащими и бессильными руками.

— Помоги развязать, барин, — сказал Фролов. — Не бойся, ничего не будет. Видишь — старик меня знает.

Залесский поднялся и стал помогать Хомяку. У него работа тоже не особенно спорилась, но Жилейка, видимо обрадованный тем, что вмешательство барина окончательно снимает с него ответственность, принялся за дело сам, и через минуту Фролов стал на ноги.

— Ну, ложись спать, ребята, — сказал он своим обычным голосом Жилейке и другому караульному, молодому арестантику, который успел тоже проснуться и удивленно протирал теперь заспанные голубые глаза.

— Слушаем, Яков Иванович, — сказал подобострастно Жилейка; казалось, все происшедшее, внушило Жилейке еще более почтения к Фролову.

— Да смотри, ребята, никого не будить, — добавил последний. Теперь это опять был авторитетный староста, отдававший приказания, и оба караульные, не говоря больше ни слова, полезли на свои места и тихо улеглись, покрывшись халатами.

Фролов, между тем, взял свою шапку, надел халат, помог одеться Хомяку, и оба они вышли на двор, огороженный палями. Залесский, спавший у открытого окна, приложился лицом к железной решетке.

Две фигуры виднелись неясно на ступеньках крыльца. Они говорили о чем-то, но слов не было слышно. Только по временам грудной голос Фролова прорывался в темноте глубоко и полно. Хомяк говорил что-то глухо и неясно.

Ночь уходила своей тихой чередой. Фролов проводил Хомяка на его место и помог ему улечься. Затем сам он опять вернулся на крыльцо, и Залесскому все виднелись в окно неясные очертания неподвижной фигуры.

Острые концы палей все яснее проступали на светлеющем небе. Дыхание утра постепенно развеивало сумеречную мглу прохладной ночи... Небо синело, становилось прозрачнее, и взгляд Залесского, глядевшего из-за решетки, уходил все дальше ввысь...

Потом розовые лучи заиграли на зубцах и стали спускаться вниз на землю, золотя щели... Белое облако заглянуло сверху во двор и стало подыматься все выше. Потом другое, третье, целая стая... И за ними еще глубже проступала синяя высь...

Встреппенувшись от холодной росы, жаворонок, спавший всю ночь за кочкой вне ограды, поднялся от земли, точно камешек, брошенный сильной рукой, — и посыпал сверху яркой веселой трелью.

Из семейной камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину.

Бледная, изможденная вышла на крыльцо мать ребенка.

Некрасивое испитое лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевой; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко. Стоя на крыльце, она слегка покачивалась на нетвердых ногах. Казалось, она все еще спала и двигалась только под внушением звонкого детского крика.

Бесприютный поднялся.

— Матрена! — окликнул он женщину. — Тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза.

— А! ты здесь, Яков. Никак уже встал. Да, Яш, голубчик, — молочка бы ему: слышь, как заливается.

Фролов направился к небольшому домику, где помещалась караулка и кухня. Через минуту он вышел опять во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившеюся из-под платка косой, стояла тут же.

— Ишь — заливается, орет, — произнес Бесприютный. — Ты бы хоть грудь дала.

— Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

— Ишь ты. А жив!.. В кого он у тебя такой уродился? Ась?

Арестантка не ответила. Она поправила выбившиеся волосы и сказала:

— А ты, Яков, вечор пошумел сильно.

— Пошумел, — сказал Яков просто. — На вот, неси... Ишь орет... Наголодался...

День совсем разгорелся. Выкатилось на небо сияющее солнце. Невдалеке с одной стороны лес вздыхал и шумел, а с другой шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очеп колодца.

Деревня принималась за работу.

— Ну, ребята! Подымайся в дорогу!.. — раздался голос Фролова у входа в этапную камеру. — Живей! Переход нынче долгий...



Владимир Яковлевич Кокосов

Решенный

В. Я. Кокосов (1845—1911) — сын сельского священника, умершего от телесных наказаний за участие в крестьянском бунте. Исключен из Пермской духовной семинарии за распространение запрещенной литературы, работал кочегаром, грузчиком. Сумел самостоятельно подготовиться к экзаменам и поступить в петербургскую Медико-хирургическую академию. В 1875—1878 г. работал врачом на Кари́йской каторге, сблизился с рядом политзаключенных. В печати впервые выступил в середине 1890-х гг. Известен главным образом очерками быта каторжан. Рассказ «Решенный» был напечатан в журнале «Народная весть» в 1906 г. (№ 2).

В начале октября 1872 года в здании управления Нерчинской каторгой пред военным судом ссыльно-каторжный Антон Горшков, 47 лет от роду, покушавшийся на жизнь тюремного приставника Потемкина, показывал:

— Я терпел, все терпели, вся тюрьма...

Пришел я в каторгу недавно, в эту весну; раньше в каторге не был... Золото он отнимал; найдешь во время работы в разрезе золотины, обыщет, — отберет! Изо рта, из носу вытащит; по шее, по зубам набьет, — окровавит... Смотрителю пожалуешься, тот прибавит вдвое, — наказывают: ста два розог примешь; а лазарет не отправляют, — так и ходишь на работу, черви заводятся... Битва со всех сторон! Пятак денег в кармане отыщет — отберет... Трубку, спички, табак, кисет, шило, иголку найдет — отберет... По закону не дозволено держать, не полагается!!! Отдаешь, потому отбирает, а жалко. Где взять? По носу ударит, кровь потечет, искры из глаз сыпятся... Пятак, иголку, золотины жалеешь; наше житье известное — тюрьма да работа... Точил он нас, как ржа железо, ел с утра до вечера... Дадут ему пятак, гривну — отдых дает, передышку, в тюрьме на день от работы оставит, в слабосильные поместит, не выгоняет на работы... Где нам, ваше благородие, деньги брать? Пятак, гривна — большие деньги.

Слышал я о Потемкине по этапам, когда в каторгу шел; за Иркутском товарищи по партии рассказывали, г. Каре, на каторге бывали... «Аспид, кровопийца Потемкин приставник. Бог смерти ему не даст!» Так и шли, разговаривали; больше всех

Непомнящий рассказывал, — мы слушали... Не я один слушал, все слушали; на лапах мало ли народу собирается: бабы, ребята, наш брат кандалный — всякого народу довольно!

С этапов и дело началось, ваше благородие, там о Потемкине слышал... Крест на шее увидит серебряный, себе возьмет. «Серебро на каторжном положении иметь не дозволяется!» Что нам с ним было делать? Покорялись, пока сил хватало. В Кару я пришел, в Верхнюю тюрьму зачислили, к нему под надзор попал, — сразу и началось! Каждый день новинку придумывал. Не тому, так другому досаждал. Приставников Титыча, Маюрыча каторга хвалит, люди старые, незлобивые: покричат, поругаются по службе, а души не трогают... На ругань и брань на них не злобятся, любят по-своему, оберегают стариков... На Потемкина все злобились, — как ржа точил всех, душу выворачивал...

На работу, в разрезе, изо дня в день ходишь, ваше благородие; ночи в тюрьме сидишь, — положение известное. Тоска порой захватит, себе не рад, — руки на себя накладывать впопору, а Потемкин за душу берется, крест снимает, материнское благословление... Давай пятак, гривну, крест снимай... Где нам пятаков набраться?

Я не запираюсь, ваше благородие, ударил Потемкина, кайлом ударил — будто по голове — не помню я хорошенько, в безумстве находился... Работали мы в разрезе, нас восемь человек артели находилось; я тачку возил с породой на машину, золотины попадались в породе, это верно... Увидишь золотины — возьмешь из породы: видна она, у всех на глазах, — пить, есть, хочется; табак, калач купить; каторга на мать родную не похожа. В уме у меня не было убийства, работал с артелью положенное: кубическую сажень породы отдай артели. А как ее отдать? Тысячу пятьсот пудов породы ломом, кайлой не скоро отобьешь; с утра до вечера, не евши, не пивши, в тачке возишь на машину, кандалы тоже мешают при ходьбе... Кормят нас в тюрьме вечером, когда с работы возвратимся; с вечера до другого вечера не евши работаем... Золотины попадают на глаза не часто: в неделю раз попадет, в другой раз месяц золотины не видать; в породе разглядеть трудно... опаску имеешь, разыскивают строго; золото казенное... в земле оно находится. Каторга

говорит: «Воровать золото не грех, люди его не сеяли, не выращивали»... Пить, есть хочется всякому, — вот и берут!

В полдень рожок проиграл на отдых, — жара была, духота, улеглись артелью спать; спать не спали, отдыхали, может, кто и спал из артели — не знаю... Никто худого про Потемкина не говаривал: мало ли нашего брата быют и обыскивают! Я на речку сходил, воды напился; умаялся, с вечера не евши... Флаг на посту подняли, рожок проиграл на работу идти; пошли мы к забоям, за лом, за тачку, лопату взяли; урок дорабатывать. Я кайлой помогал, породу отбивал, забои уравнивал; тачкой на машину породу возил. Нагребли мне тачку, на машину повез, кайлу сверху породы положил, — так всегда делается; слежится порода, кайлой ее из тачки отбиваешь, чтобы в люк высыпать. Поднялся я на машину с тачкой, остановился в хвосте за очередowymi... дожидаясь, в уме ничего не было, глядел по сторонам... Подбёг ко мне его благородие Потемкин, под рубаху руку сунул, в портки полез обыскивать; спустил портки, оголил... В рот пальцы затолкал: язык вытянул... «Подавай, раскуин сын, золото! Куда спрягал? Говори...» Стыдно мне стало, ваше благородие... Народу на машине много, смеются, зубоскалят смотрят на меня, а он язык мне изо рта и вытягивает... Я толкнул от себя его благородие, взял кайлу и... ударил... Больше ничего не знаю, всю правду сказал... Его благородие упал, я подтянул порты и пошел обратно к артели, в разрез... Спустя немного времени казаки меня забрали, руки скрутили веревкой, прикладами... В сговоре ни с кем не был; на работу шел — об убийстве не думал; вечера не евши был. Ночь спал, голова не болела, — зачем напрасно говорить! — болезни никакой не было. У исповеди, причастья давно не был, — по тюрьмам, этапам какая исповедь! Пешком шли зиму и лето: в Томском я оставался, в больнице лежал: нога, как бревно, затвердела, резали ногу; оправился, пошли дальше по этапам... Судился за убийство; жена, дети в России остались... Виноват я, ваше благородие, больше ничего не знаю...

Закованный по рукам и ногам, Горшков стоял между двух конвойных. В течение шести часов заседания суда он ни разу не приподнял головы. Не смотрел по сторонам; изредка вздрагивали его плечи, как бы отряхиваясь, он поводил ими и снова

стоял неподвижно... При объявлении смертного приговора «через повешение» он вздрогнул, поднял голову, широко раскрытыми глазами окинул заседание судей, скривил рот в подобие улыбки. Он тяжело дышал, лицо и лоб покрылись крупными каплями пота... Заседание суда объявили закрытым, времени было часа четыре пополудни...

В начале суда Горшков привели в лазарет, он был болен воспалением легких; освободить его от кандалов его не позволили, и в ногах кровати был поставлен отдельный часовой. Несколько дней Горшков находился в бессознательном состоянии; громко и четко призывал в бреду жену Ольгу, детей Васю и Матренку; распоряжался по хозяйству. Вырывались бешеные угрожающие восклицания, больной порывисто вскакивал с кровати, и, позвякивая кандалами, вытягивая скованные руки, угрожающие размахивал ими, производя однообразные движения сверху вниз и обратно. Миновал кризис, началось улучшение: выздоровление было несомненно, появился аппетит. Больной свободно двигался по палате... В конце ноября из управления каторгой получилось предписание: «Приговор о Горшкове утвержден генерал-губернатором; исполнение назначено в 7 утра, 23 ноября, на золотопромывательной машине среднего разреза, где совершил преступление; предписывается врачу лазарета присутствовать при совершении казни». Узнал об утверждении приговора и Горшков.

Наступила последняя ночь пребывания Горшкова в лазарете. Палаты осветились сильными свечами в деревянных фонарях, подвешенных на бечевках к потолочным блокам. Было особенно сумрачно в девятой палате, где только один часовой, стоявший у кровати Горшкова, изредка нарушал тишину стуком своего ружейного приклада. Было около полуночи, я проходил по палате...

— Ваше благородие, доктор! Посиди со мной, завтра на подписку... слышал... судьба! Тяжело, — не знаю как ночь скоротать... — глухо, порывисто заговорил Горшков. Он сидел поперек кровати, опираясь спиной о печку, опустив на пол закованные ноги, низко склонив голову. — Сам я виноват, винить некого... Зачем вылечивал, трудился напрасно? Лучше бы помереть без памяти... Подумаешь, как смерть налетела...

Он замолчал, приподнимая голову. Сальные свечи мигали в фонарях, тускло освещая середину палаты, оставляя в полумраке кровати у стен; Горшков дышал тяжело: слышались хрипы в груди, и, казалось, судорога шейных мышц ниже и ниже наклоняла его голову...

— Умирать когда-нибудь надо, — говорил он, захлебываясь словами, — да не по-людски умирать приходится... Бог им судья! Тяжело мне, тошно...

Послышались истерические, без слез, всхлипывания; широко расширенными, остановившимися глазами смотрел он в пространство, вздрагивал; кандалы позвякивали на ногах... Закрыв закованными руками лицо и бороду, он мерно раскачивался из стороны в сторону...

— Жизнь наша тяжелая, горе-горькая, — всхлипывая, говорил он, — а жалко расставаться... Солнышка жалко, света Божьего дневного... Жена в деревне, дети остались, не пошли со мной, — куда им! Пашня была, сенокос, домишко, скотинка. Тяжело, не уходи! Христа ради, посиди со мной, Бог заплатит. Помолился бы, да руки скованны, боится начальство, заковали, как бы не убежал Горшков, — и он улыбнулся улыбкой помешанного, скривив губы с правой стороны рта, и долго держалась на его губах странная, безжизненная улыбка.

Утренний, морозный туман охватывал окрестность Средне-Карийского разреза, когда мы с фельдшером Иваном Павловичем подъехали к месту казни; в воздухе стояла тишина тридцатиградусного мороза. Восточную сторону машины полукругом охватывала серая масса кандалных, выгнанных из тюрьмы в качестве зрителей; цепь часовых огораживала толпу и свободную сторону, образуя круговое, оцепленное пространство. На перекладинах машины, сажени на полторы от поверхности земли, видна квадратная площадка, к западному краю которой приставлена обыкновенная лестница; над площадкой на перекладине висела веревка, не достигавшая площадки аршина на полтора. Около лестницы стоял палач Сашка, в полушубке, круглой шапке и валеных сапогах: он переступал с ноги на ногу, тер лицо руками, одетыми в рукавицы, тер уши и шею.

Саженьях в пяти стоял полицмейстер Апрелков, смотритель тюрьмы Одинцов, приставник Потемкин и два зауряд-офицера.

— Спали ночь, доктор? — здороваясь, спросил полицмейстер.

— Плохо спалось, Петр Николаевич...

— Напрасно! Я наоборот, — заговорил он, посматривая на часы, — как к Христовой утрени готовился: залег часов с семи, чтобы не проспать возложенное поручение... Закусил, выпил и спал превосходно... Распоряжения послал с нарочными; отца Ивана к Горшкову отправил, как полагается по закону, проводить честь честью, с ним батько и приедет. Скоро должны быть, время назначено точно...

— Я спал тоже хорошо, — заговорил зауряд-сотник Токмаков, пожилой человек, с деревянным лицом, с закуржевшими от мороза бакенбардами и усами, — скорее бы закончить! Мороз — ноги, руки захватывает; водки не захватил, погреться нечем.

— Сейчас приведут, надоело и мне ожидать на морозе, — проговорил полицмейстер, — приговор приведется читать, на площадку забираться...

— Везут! везут! едут! — раздался громкий полушепот в серой, кандальной массе; все сразу вытянулись, наступила мертвая тишина...

Я взглянул на пристава Потемкина: он стоял с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами: лицо дергалось судорогами; он часто мигал, кусая губы...

Из-за поворота реки с грохотом выехала запряженная парой быков телега, окруженная конвойными. Облако пара с шумом вылетало из ноздрей побелевших от мороза, тяжело дышавших животных, плывя по морозному воздуху, приближаясь, постепенно увеличиваясь в очертаниях, закрывая сидевших в телеге... Процессия остановилась. На поперечной перекинутой доске, спиной к быкам, в полушубке, в круглой с ушами шапке сидел привязанный Горшков; борода, усы были белы от мороза; лицо, уши, шея красны, как кумач; он судорожно вертел голову вправо и влево, как бы стараясь заглянуть позади себя... Сидевший с ним отец Иван торопливо вынул из-под ряссы крест, приложил к его лицу и вылез из телеги. Горшков опустил

В. Я. Кокосов

голову... Появился палач Сашка, развязал веревку и свел его на землю. Подходя к лестнице, Горшков оглянулся по сторонам, остановился на секунду и громко проговорил:

— Прощай, доктор! Не поминай лихом...

По прочтении приговора на площадке Горшков поклонился в сторону кандалных:

— Я хотел убить Потемкина, это правда. Бог ему судья! Не написано в приговоре, за что я хотел убить его...

Сашка скрутил ему на спину руки, набросил на голову холщовый белый мешок, надел на шею петлю веревки и выдернул из-под ног доску, веревка не выдержала, повешенный рухнул на мерзлую землю... Поднялась суматоха. Подбежали полицмейстер и Сашка... Подавая палачу круглый, красный шнурок, полицмейстер торопливо говорил:

— Доканчивай скорее, доканчивай...

Бледный, растерявшийся Сашка трясущимися руками сделал на шнурке петлю, накинул на шею хрипевшего, корчившегося Горшкова, уперся ему коленом в грудь и минуты три, не изменяя позы, затягивал петлю... Горшков раза два дрогнул, вытянулся и стал недвижим...

Женская доля

И. В. Федоров-Омулевский. Сибирячка

А. И. Левитов. Блаженненькая

В. А. Слепцов. Питомка

Н. Н. Златовратский. Белый старичок



Иннокентий Васильевич Федоров-Омулевский

Сибирячка

Рассказ из путевых впечатлений

И. В. Федоров (1836—1883, псевд. Омулевский) родился в Иркутске, оставил гимназию после шестого класса, служил чиновником. В 1856 г. поступил вольнослушателем на юридический факультет Петербургского университета. В 1860-е гг. входил в круг петербургских литераторов-сибиряков, группировавшихся вокруг Н. М. Ядринцева. Наиболее ярким произведением Федорова-Омулевского стал роман «Шаг за шагом» (1870). Помимо прозы писал стихи, которые однако были холодно встречены современниками, отмечавшими их сильную зависимость от поэзии Н. А. Некрасова. Рассказ «Сибирячка», один из первых опытов писателя, был впервые опубликован в сборнике «Сибирские рассказы», вышедшем в Иркутске в 1862 г.

— Ну, барин, погодка! — заметил мне сквозь зубы ямщик, отряхивая свою козью доху, причем меня как-то особенно неприятно обдало в лицо мокрым снегом.

Я было задремал, но тотчас очнулся и тревожно выглянул из кибитки; кругом, что называется, свету Божьего не видать было: ветер, метель, снег, снег и снег.

— Вишь, ведь у нас по Барабе-то ветрено живет об эту пору: знаешь, степь! — продолжал ямщик, как бы в оправдание местной природе.

— А много ли осталось до дружка*? — спросил я с искренним любопытством.

— Да осталось немного; всего с полверсты, не больше: вишь, за метелью-то не углядишь деревни-то... Ну, со-ко-ли-ки-и! Эх-ти-ну-у!

И он энергически понукнул своих здоровых, но упаренных лошадок.

Действительно, через несколько минут послышался в отдалении неясный лай собак, и где-то, в разных концах, заблестели два-три огонька. При виде этих отрадных огоньков в моей голове как-то безотчетно сложилось решение не пускаться больше этой ночью в путь, а переночевать у дружка, хотя я и был совершенно уверен, что любой дружок знает Барабу как свои пять пальцев... Просто, кажется, мне захотелось отдохнуть, понежиться. Эта мысль не успела еще вполне выясниться в моей голове, как кибитка остановилась.

* Дружками по Барабинской степи зовут вольных ямщиков. — *Примеч. авт.*

— Что, приехали? — спросил я с нетерпением ямщика, бойко слезавшего с козел.

— Приехали, барин, приехали! — ответил он весело и стал стучаться в ворота.

В ответ на этот стук сперва мелькнул огонек в одном окне избы, потом послышался сквозь ветер скрип отворяемой двери, и наконец чей-то голос, должно быть с крыльца, старческим басом спросил:

— Чего надо?

— Это я, Филипп Тимофеевич, — отозвался мой ямщик, — отворяй скорее: гости!

Ворота немедленно отворили. Мы въехали, и я увидел перед собой высокого старика лет восьмидесяти, совершенно седого, немного сгорбленного, но еще очень бодрого. Он приветливо помог мне выбраться из кибитки, приговаривая:

— Милости просим, милости просим... Ишь, погодку какую выбрали! Чего, парень, метет? — отнесся он уже к ямщику.

— Метет... не дай Господи! — отозвался тот лениво.

— А что, Филипп Тимофеевич, можно мне у вас будет переночевать? — обратился я к старику.

— Сделайте милость, сударь... Изба у нас хорошая, места будет! Куда вам в такую погоду: ишь ведь она с вечеру загуляла — на всю ноченьку, значит!

— А чаем вы меня напоите? — спросил я снова.

— Помилуйте, сударь!.. Самоварчик вам сейчас поставят, сливочки снимут: найдется у моей сибирячки и этого всякого добра. А вот вещи-то ваши уж вы, сударь, внести бы приказали: хоть у нас тут и смирно, не шалят ребята, а все оно так-то поспокойнее будет... и для вас, и для нас...

— И отлично, так и сделайте.

— Ужо-ко я вам огонька вынесу, посвечу, — спохватился старик, — а то неравно еще убьетесь впотьмах-то; ишь ведь, у нас деревенское заведение-то!

Старик поспешил вынести фонарь и оказался совершенно прав в этой предосторожности: лестница, по которой мне пришлось взбираться, была крута и плоха.

Мы вошли. Большая опрятная изба; стены оклеены зелеными обоями, на стенах какие-то затейливые картинки; в перед-

нем углу множество образов, есть и в серебряных ризах; на окнах в деревянном ящичке и глиняном горшке какая-то зелень: винная ягода и бальзамины, как мне показалось; между окон стол с чистою самодельною скатертью; у дверей большой сундук, покрытый ковром тюменской работы; немного подальше от сундука — пышная семейная кровать с ситцевым пологом, за которым кто-то тихо храпит; широкие полаты; на полатах тоже кто-то храпит, только сильнее; чуть-чуть видна чья-то русая голова, и прядь курчавых волос прихотливо свесилась с полатей; на лавке, возле печи, повернувшись к ней лицом, лежит под коротенькой шубейкой какая-то старушка высокого роста и тихонько охает... При одном взгляде на эту простую, мирную обстановку у меня на душе стало как-то особенно весело, светло, как будто я вдруг и ни с того ни с сего полюбил и старика хозяина, и эту охающую старушку у печи, и курчавую голову на полатах, и этого «кого-то», тихо храпящего за ситцевым пологом. Старушка при нашем появлении хотела было приподняться, но я предупредил ее:

— Лежите, бабушка, лежите... Здравствуйте!

— Доброго здоровья, государь мой! Милости просим! Ах-ти-хти-хти-хти, Господи, Господи!

Старушка опять заохала и медленно обратилась ко мне лицом. Лицо это чрезвычайно меня заинтересовало с первого взгляда: большие голубые глаза, не то грустные, не то приветливые; красивые густые черные брови, хотя волосы на голове совсем седые и даже отчасти пожелтевшие; нос прямой, правильный; линия губ непременно остановила бы на себе внимание знатока женской красоты; вообще признаки этой красоты, минувшей, но замечательной, сколько можно было судить по-настоящему, отчетливо запечатлелись на всем лице старушки, даже в каждой морщинке. Все-таки она, казалось, годами пятью, не больше, была моложе старика хозяина, своего мужа.

— Ишь, сибирячка-то у меня чего-то рассохлась, — заметил он мне добродушно, кивнув головой на старушку, — ненастье: поясница-то и мает ее! Дуня! Ду-ня-а-а! Дунюшка! — побудил он кого-то за ситцевым пологом. — Вставай-ко-о! Бог гостей дал, самоварчик станем ставить: ишь, сибирячка-то у нас не может...

За пологом кто-то потянулся, тихо вздохнул, тихо зевнул,

зашелестело платье, и вслед за тем оттуда показалась полуодетая девушка с большими заспанными глазами, хорошенькая, стройная, наминавшая ростом и чертами лица старушку. Она неловко поклонилась и стыдливо прошла мимо меня в сени.

— Это, видно, ваша дочь? — обратился я к старушке.

— Дочка, государь мой... семнадцатый годок пошел осенью.

— А кто же на полатах спит?

— Сыночек, государь мой... по двадцатому годку... Иваном зовут. Ишь, умаялся день-от, Христос с ним! — прибавил от себя старик, как бы извиняясь передо мной за крепкий сон сына. — Погоняли его сегодня порядком: товары возили.

В эту минуту девушка вернулась в избу за самоваром. Я пристально заглянул ей в лицо и догадался, какой красавицей была ее мать в свое время...

Пока вносили мои вещи и шли необходимые приготовления к чаю, я попотчевал хозяина водкой, налил еще полстакана и предложил его старушке:

— Выпейте-ка, бабушка: вам будет легче.

— А и то уж разве выпью, государь мой; может, и взаболъ полегчает: спинушку-то всю разломило у меня... Ахти-хти-хти-хти, Господи, Господи!

Старушка выпила и усердно поблагодарила.

— Ты у меня смотри, сибирячка, не загуляй! — шутиливо сказал ей старик.

Старушка, охая, засмеялась.

— А ведь и взаболъ будто полегчало малехонько! — заметила она, несколько оживившись.

Меня, помню, еще и раньше удивило, что хозяин назвал свою жену сибирячкой; теперь это название, повторенное несколько раз сряду, вдруг почему-то особенно заинтересовало меня. За разрешением моего недоумения я обратился прямо к старушке:

— Отчего это он вас, бабушка, все сибирячкой зовет?

Старушка заметно смутилась от неожиданного вопроса.

— Дак кто его знает! — отвечала она неохотно, даже как будто с легкой досадой. — Вишь, ведь он, слышь ты, греховодник у меня...

— Случай с нею такой был, сударь... — объяснил мне старик, поглаживая бороду.

— Какой же такой случай? — спросил я снова, весь заинтересованный.

— Не слушай ты его, греховодника! — обратилась ко мне старушка, тревожно взглянув на дочь, которая в уголку пила в это время чай. — Право, болтает, чего не надо! Ахти-хти-хти-хти, Господи, Господи!

И она снова заохала, но на этот раз уже заметно притворно.

— Вот уж молчите, она вам порасскажет, как накушаетесь чайку; молодец ведь она у меня... бывалая! — сказал мне старик весело и самодовольно. — Ничего, сибирячка-а! Все единственно, что попу, что хорошему человеку каяться... — обратился он ободрительно к жене.

— Ну уж ты, Тимофенч, право... — махнула она рукой и отвернулась к печи.

Чай отпили. Во все время, пока Дуня убирала со стола; чашки и самовар, я сидел как на иголках от нетерпения. Наконец старик пожелал мне покойной ночи и отправился вместе с дочерью спать на другую половину дома, несмотря на все мои доводы и отговорки, что я не люблю спать на перине, что это мне даже вредно, хотя, признаюсь откровенно, после утомительной дороги в три тысячи верст с лишком для меня ничего не могло быть соблазнительнее мягкой постели.

— А уж сибирячка моя пускай с вами тут остается; у ней уж это самое любимое место на лавочке: ишь, теплее старым-то костям возле печи. Она вам уж порасскажет тут про старину-то свою, про бывальщину; одно слово, мастерица сказки сказывать! Вы только не пообидьте ее у меня, смотрите: ишь ведь седьмой десяток в начале пошел, а сама все чернобровая, как есть кралечка! — пошутил с нами на сон грядущий старик, то-ропливо выходя из избы.

Следом за ним привезший меня дружок вскарабкался на полати и почти тотчас же захрапел на всю избу. Старушка раза два слабо охнула, как будто желая дать мне этим почувствовать, что рассказывать она не в состоянии. Я, однако ж, не терял надежды, задул свечу, наскоро разделся и лег или, лучше сказать, утонул в пышном пуховике.

— Покойно ли тебе там, государь мой? — справилась она у меня, может быть, нарочно отводя мои мысли в другую сторону.

— Очень, очень хорошо; лучше не надо... А что же вы мне не расскажете про случай-то ваш, бабушка?

— Слушай ты моего старика! Есть у него, пожалуй...

— Да нет, — прервал я ее, — в самом деле, расскажите... пожалуйста! Или вы меня почему-нибудь за нехорошего человека принимаете?

Последние слова сделали, по-видимому, на старушку то самое впечатление, какого я ожидал от них.

— Что это ты, Господь с тобой! — ответила она обидчиво. — Как это можно тебя, государь мой, за недоброго человека принять? Выдумал что! Знать ведь человека-то сейчас... с первого ласкового словечка то есть можно узнать. Али уж мне рассказать тебе, чего ли... уж и сама не знаю!

— Расскажите, бабушка... пожалуйста!

— Расскажу уж, видно... Вот какой со мной случай был, государь ты мой... да ведь долго рассказывать-то.

Она остановилась в заметной нерешимости, хорошо ли чужому человеку рассказать свою семейную тайну. Я заметил это, но не подал ей никакого вида, уверив ее, что вовсе не хочу спать и что готов слушать хоть до утра.

— Начинайте-ка с Богом! — ободрил я старушку.

И она, прокашлявшись прежде, начала мне рассказывать...

— Я, слышь ты, государь мой, подкидыш была: в Иркутском родилась. А подкинули меня к одному чиновнику, Суровцову по фамилии. У этого самого чиновника жена была такая добрая бароня, дай ей Господи царство небесное! Она, слышь, и взяла меня на воспитание. А допрежь того, годков за пять до меня, им таким же манером мальчика подкинули; она и его взяла. Сам-от он был плох человек: чарочки-то уж, слышь ты, шибко придерживался. Нас-то, приемышей, он не любил, а только бароне-то прекословить не смел — у ней, слышь, в Тверской губернии имение свое было, так боялся... Нас с Филиппкой (Филиппкой приемыша-то первого звали) в горницу-то он не велел пускать, а мы всё больше на кухне находились; только как он это разве уедет куда, так она нас и позовет к себе, ласкает; грамоте нас тоже потихоньку учила. Вот это он раз уж шибко так-во запил; запил да запил... Начальство-то его по этому самому и велело ему в отставку подавать: пьяниц, мол, нам не нужно!

С начальством какой разговор, государь мой... — подай! Вот они, как вышли в отставку-то, и поехали в баронино имение, в Тверскую губернию, значит, в село Черепановку; и нас с собой взяли. Мне тогда девятый годок пошел, а Филиппке тринадцать исполнилось. Только бароня на новом-то месте не долго пожила: скончалась... уморил он ее, не тем будь помянута его душенька! Он, государь ты мой, как бароня-то померла, взял да, слышь, имение-то ее и продал другому помещику, а сам укатил в Питер; оно ему от барони-то по наследству там как-то досталось. А прежде-то, государь мой, по нашим законам так выходило: что ежели который тепериче ни на есть помещик примет на воспитание подкидышей, так он опосля может их записать за собой крепостными. Он нас и записал так, хошь бароня шибко его просила перед смертью, чтоб он этого греха не делал. Ну, да вот поди с ним! Записал! Чего станешь делать!..

Дело наше было сиротское; так нас и продали с селом-то вместе. А помещик этот, другой-то, который купил-то нас, сам, слышь, все в губернии проживал, в самой, значит, Твери: почмейстером он там был. А у нас от него управляющий был поставлен, хороший такой человек, добрейшей души, можно сказать. А мы в дворовых числились. И славно это нам таково жить было! Филиппку-то я уж шибко полюбила, ну да и он меня крепко любил тоже: душа в душу то есть жили. Он мне все, бывало, норовит как бы угодить получше: и дело-то за меня тяжелое сделает, и кусочек-от мне хороший за обедом предоставит, и все-то то есть, чего только твоя сиротская душенька хочет; ни в чем, стало быть, отказу не было. А я ему за это, бывало, и тулупчик почию, и рубашку другой раз вымою, а то еще и деньжонками поделимся, коли заводились. А только целовать себя ему часто не давала, потому горячий, слышь, человек он был, ну, да и я не каменная. А из себя я была красавица; уж это я могу не хвастаясь сказать тебе, государь мой. Он тоже был парень из себя видный, а пуще — души добрейшей. Вот это, как мне исполнился семнадцатый годок, а ему двадцать второй пошел, мы и хотели жениться; все уж помещику написать думали, и управляющий это нам советовал и все участие в этом деле принимал. Собирались мы это, государь мой, собирались, да и прособирались. Приходит, слышь ты, от нашего помещика,

из Твери-то, грамотка управляющему, чтоб он, мол, выслал ему туда из дворовых Филипку да какую ни на есть девушку; потому, мол, что которые у меня живут, никуда не годятся: отошло, мол, их к вам в науку; да поскорее, мол, посылайте. Призывает это меня управляющий к себе, в тот самый вечер, слышь, как грамотку-то получил от барина, да и говорит мне жалостливо таково:

— Вот, мол, Настасья, какая тебе доля выпадает: Филипку твоего барин к себе требует да еще вот которую-нибудь из девушек дворовых... Так уж, мол, ты, видно, отправишься: не разлучать же, мол, вас. Коли хочешь, говорит, я тебя и отправлю завтра с ним: тебе же ведь лучше!

— Чего же, говорю, Онисим Петрович, отправьте уж, только бы, говорю, с Филиппушкой мне не разлучиться, а то хошь куда угодно!

Говорю, а сама плачу.

— Так ладно, говорит, чего же плакать-то! Я вас завтра обоих и отправлю: собирайтесь, мол...

Вот нас и отправили. Приехали мы; к барину пошли на поклон, по обычаю, значит. Барин — ничего, видным из себя таким показался, только уж немолод, лет так под сорок будет. Посмотрел он на меня пристально таково, да и спрашивает:

— Как, говорит, тебя зовут, красавица?

— Настей, мол, батюшка барин.

— Да ты, говорит, не та ли самая Настя, которую прежний ваш помещик из Сибири вывез?..

— Та самая, мол, и есть.

— Видишь, говорит, как выросла: узнать нельзя!

Взял да и ущипнул меня за подбородок-от. А чего, прости Господи, выросла! Сам-от, окаянный, и не видал меня ни разу в глаза до самой сей поры! Оглянул он меня раз, два, а все пристально.

— Ну, говорит, ступайте тепериче к бароне!

Пошли мы к бароне. Как сейчас помню, сидит она, голубушка, в креслах, худенькая из себя такая, желтенькая, слышь ты, а лицо злое-презлое. Прищурилась она на нас этак раз десять, и на меня-то, и на Филипку-то, — и к ручке допустила. Допустила к ручке и опять прищурилась...

— Одначе, говорит, какие же вы неуклюжие: сейчас видно, что из деревни! Как уж и служить-то вы при комнатах будете, не знаю!

— Постараемся, мол, угодить вам, сударыня...

Это я ей буркнула сдуру-то, слышь.

— Да вы, говорит, все одно говорите... знаю, мол, я вас: не один десяток перепробовала! Как растете, мол, скотами, так скотами, мол, и помрете: никакой от вас тепериче благодарности!

Сказала это и повела носом-то, да далеко таково — в самый угол. А я ей опять сдуру-то, слышь, и брякни (страх была я горячая в ту пору!):

— Почему, мол, сударыня, скотами: люди, мол, тоже... как есть люди!

Так она, слышь ты, государь мой, от этих моих слов-то просто задрожала, позеленела вся от барского гнева.

— Ох, говорит, какая же ты вострая! Видно, в бане давно не была... смотри, говорит, ты у меня!

Погрозила мне сердито пальцем и прогнала нас к барошням. Пошли мы и к барошням. Младшая-то, как нас увидела, так и покатила со смеху.

— Вот, говорит, чучел-то нам каких, Сашенька, навезли!

И пошла, и пошла... А Сашенька, старшая-то, останавливает ее:

— Полно тебе, говорит, Леночка, без пути смеяться! Они ведь, говорит (на нас указывает), еще не одеты как следует, только что из деревни.

Ну, та будто унялась, присмирела будто...

— Вы уж извините меня, — говорит (нам-то!), а сама, вижу, еле-еле только стерпеть может, чтоб не прыснуть, значит. — Тебя, говорит, как, девушка, зовут?

— Настей, мол, барошня.

— Ну, право же, говорит, Настя, пресмешное у тебя платье — модное, слышь, уж шибко... (выдумала же ведь вот что сказать!). Ей-богу, не могу!.. — говорит...

И опять засмеялась, да звонко таково, слышь. Только, могу тебе сказать, государь мой, барошни оне были добрые; а смеялась над нами младшая-то, надо быть, от ребячества своего. Это уж я опосля разобрала, как поогляделась малехонько на новом-то месте. Спервоначалу у нас, слышь ты, все хорошо шло; только барин-от на меня нет-нет да и поглядит как-то таково нехорошо, что я уж и не знаю! Вот, государь ты мой, раз и посылает он моего Филипку в Москву, на неделю будто бы, слышь ты, за покупками разными, будь он окаянный!

Филиппушка мой и поехал; как барской воле прекословить станешь? Ладно, уехал. А в тот самый день-от бароня наша с барошнями на бал поехали; к вечеру это было. Я, слышь ты, сижу это в кухне, скучно мне таково стало — плачу... Барин наш вдруг и приходит; заглянул в кухню — ушел. Погодя опять пришел, опять заглянул в дверь...

— Ты, говорит, Настя, чего там делаешь?

— Ничего, мол, барин; сижу.

— Поди-ко, говорит, постелю мне лучше постели...

Чего, думаю, ему так рано спать захотелось? Пошла. Прихожу я это к нему в кабинет, стала постель постилать, он и приходит. Подошел, да вдруг и обнял меня. Просто я так со стыда и сгорела!

— Что вы это, барин! — говорю, а у самой руки дрожат.

— Да ничего, не бойся, говорит, вишь какая ты славная у меня, словно ягодка спелая!

И полез, злодей, в губы целоваться ко мне... вот те Христос! А я его взяла, да руками-то и отторонила от себя...

— Отойдите, мол, лучше, барин, от греха...

Сама вся уж, слышь ты, дрожу. Нет! Он-таки свое: пристаёт да пристаёт! Взял меня вдруг, да и повалил на диван-от...

— Спесивая уж, говорит, ты, ягодка, больно!

Как он это мне сказал да на диван-от меня повалил, я уж и не знаю, что со мной доспелось такое: так вот вся внутренность и заходила во мне! Я взяла, да оплеуху и зарядила ему что мочи было. Зарядила, государь мой; это я как перед Богом говорю, что уж зарядила! Сама драла скорее на кухню; забралась в угол да и сижу плачу... Погодя он опять, окаянный, приходит, сердитый такой, записка в руке.

— Где, говорит, Настасья? — у повара Степана, слышь ты, спросил.

— Да вон в углу, мол... плачет.

— Ладно! — говорит. — Ты, Степан, возьми, мол, эту записку да отведи ее с ней к частному приставу в полицию... Слышишь?

— Слушаю, мол.

Привели меня к частному. Вышел он, посмотрел на меня...

— Нагрезила, мол, видно, сударыня?

Я молчу. Он записку прочитал...

— Барин, мол, твой вот чего мне пишет: просит, чтоб я тебя на ночь в темную запер, а завтра поутру попотчевал хорошенько березками... Умней, мол, будешь, не станешь вперед грубить барину... Посадить вот ее!

Я ему в ноги; заплакала...

— Простите уж, говорю, в первый и в последний раз!

А рассказать, как все дело было, — не могу; это стыд нашел на меня втупоре, что вот, кажется, лучше бы живьем провалилась на месте, только это бы не рассказывать!

— Слышал я уж это, говорит, матушка, не от одной тебя! Запереть, мол, ее!

Так я и промолчала. Заперли меня в темную. Духота там, вонь такая, что не приведи Господи! Натерпелась я в эту ночь всякого горя, государь мой! Как только вспомню, что завтра, — меня в лихорадку. Думала я это, думала... всю ноченьку напролет думала, да к утру и надумалась... Как проснулись это все в полиции, то я и говорю ундер-офицеру, окошечко там такое узенькое было, так через него, слышь:

— Сходи, мол, Господин служивый, к своему частному да скажи ему, что мне беспрерывно надо сейчас с ним повидаться.

Тот и пошел, слышь ты; добрая, знать, душа была... Позвали меня к частному.

— Чего тебе там, спрашивает, али нетерпение такое большое? Успеешь, мол, еще отведать березовой-то кашки, рано уж шибко проголодалась!

— Я, мол, ваше благородие, не за этим вас спрашивала...

— Так за чем же? — говорит.

— Везите, мол, меня сейчас к губернатору, а то опосле чтоб отвечать не стали: мне, мол, ему нужно важную тайну открыть...

Частный-от так на меня и уставился.

— Да ты, говорит, девка, в своем ли уме?

— В своем, мол, в девичьем...

— Ты, говорит, подумай прежде: это ведь дело не шуточное!

— Чего, говорю, тут думать? Думано! Знаю, мол, что не шуточное дело, за этим и пришла!

— Ну, коли так, говорит, так постой...

Стал он это по горнице своей расхаживать взад-вперед: ходил, ходил — сел. Посидел малехонько — ушел куда-то.

Погодя выходит он это ко мне в мундире, при шпаге, как есть во всей форме ихней...

— Нечего делать, говорит, поедем.

К губернатору, слышь ты, поехали. Частный-от спервоначалу сам к нему пошел, а мне обождать велел. Ждала я, ждала — насили дождалась. Высунулся он из дверей, рукой мне машет.

— Иди, мол, к его превосходительству.

Оробела я шибко, одначе вошла. Губернатор-от так прямо сам и подошел ко мне, только строго таково взглянул, слышь.

— Чего же, говорит, ты мне, голубушка, скажешь?

— Я, мол, ваше превосходительство, при их благородии (на частного ему показала) ничего не могу сказать.

— Выйдите на минуточку... — частному говорит.

Частный вышел.

— Ну, говорит, рассказывай тепериче, голубушка,

— Моя речь, мол, ваше превосходительство, коротка будет...

— Нужды нет, говорит, все равно рассказывай...

— Меня, говорю, вчера мой барин в часть посадил да еще выстегать велел сегодня; а вины, мол, за мной никакой не было, кроме того, что они сами...

— А кто, говорит, твой барин?

— Почмейстер здешний, говорю.

А губернатор-от приходился кто-то сродственником нашему-то барину. Ногами, слышь ты, он на меня затопал, как я почмейстера-то назвала...

— Так ты, говорит, только за этим-то меня и обеспокоила? А? Да как ты смела, кричит, а? Ах ты... такая-сякая!

Извини уж, государь мой: стыдно тепериче и впотьмах-то сказать, как он меня втупоре всячески обозвал... Одначе я приободрилась, как он ногами-то затопал...

— Так и смела, говорю, потому, если меня выстегают, я чего-нибудь сделаю...

— Чего, говорит, ты можешь сделать?

Ревет, слышь ты, одно слово, ревет.

— Мало ли, мол, чего, ваше превосходительство, могу сделать!

— А! — захайлал. — Так ты еще вон с чем ко мне пришла...

Скверно таково опять выругался.

— Господин частный! — ревет. — Господин! Пожалуйте сюда...

Вошел частный: бледный такой из себя сделался, оробел, чадо быть. Губернатор-от, слышь ты, и на него прикрикнул.

— Чего, говорит, вы меня всякими пустяками беспокоите! А? Извольте, мол, сейчас домой ехать, да чтоб вперед у меня этого не было! А ее, говорит (на меня показал), выпороть.

Поклонился он это нам, да низко таково, и хотел уйти, а я ему вслед-от:

— Попомните же это, говорю, ваше превосходительство, что если какой грех случится, на вашей душе будет.

— Хорошо, хорошо, голубушка! — говорит, и ушел.

Повез меня частный сызнава в полицию, всю дорогу ругался: опять меня в темную, слышь ты, заперли... Сижу я это, а уж час двенадцатый на дворе... Слышу: шум в десятской, народу много... Посмотрела в окошечко: розги принесли, лавку середь полу поставили... Кличут меня, дверь мне отперли... Не могу я, слышь ты, идти: отнялись просто ноженьки... дрожу вся... Вывели меня, рабу Божию... Гляжу: частный пришел...

— Ну-ко, сударыня, говорит, изволь-ка ложиться...

Стою я как каменная: зубы, так те, слышь ты, словно на крещенском морозе, так вот один об другой и стучат!.. И всю-то меня бьет, бьет... Вот, государь ты мой, как послышала я это, и схватилась рученьками-то за голову... А частный-от тиран, и приметил это...

— Не бойтесь, сударыня! — говорит. — Туалета вашего не изомнут... Берите, говорит, ее! Чего на нее смотреть!

Как это они меня взяли, да положили на лавку-то, да как по-долишко-то мне заголили... извини, государь мой... так я, слышь ты, такую в себе силу почувствовала, что так вот, кажется, взяла бы в руки всю эту ихнюю полицию, все это строение то есть, да и закинула бы в тридешатое царство; шесть человек, слышь, насилу меня удержали! Только уж как домой привели — этого не помню... Вот те Христос, не помню! Туман такой в голове у меня доспелся... О после малехонько опаматовалась; стыдно мне таково стало: ну не могу, слышь, глядеть на человека, да и шабаш! На лбу у меня то есть как будто огненными словами написано, что тебя в полиции стегали: всякий, мол, как взглянет, так сразу и прочитает... А плакать я, государь мой, не плакала; и рада бы, да слез, как на грех, втупоре не было... Барошни все

ко мне приставали с ласками своими разными, только мне уж не до того было... «Ну, вас! — думаю. — Отойдите, отвяжитесь вы от меня, барские дети!» И задумала я, государь мой, думаю... крепкую думу... совсем сумасшедшая была я втупоре! Вот, государь ты мой, как улеглись это все в доме-то, я и пошла в баронину спальню... Подошла к дверям-то, послушала: спит... «Ладно!» — думаю себе. А барошни-то у себя, в другом покое, почивали. А у барони-то ночник горел; такое уж у ней заведение было; светло не светло, а голову человеческую от подушки отличить можно... Подошла я это к самой, слышь, ее кровати, еще послушала: спит крепко; а лицо такое злое... А я с собой из девичьей, слышь ты, подушку принесла. Поглядела я, поглядела на бароню-то да подушку-то ей к лицу и прижала: не называй, мол, нас больше скотами, сахарные барские уста? Так я, государь мой, втупоре ее и порешила... Просто она у меня и не пикнула; только маялась шибко — билась. Ахти-хти-хти, Господи, Господи! А с вечера я еще в завозне топор припасла... Пошла отыскала я его — да к барину... Сама дрожу вся, и в голове туман, а на ногах крепко стою... Ощупала я у него голову-то, слышь ты, да обухом то его и брякнула по лбу... и пошла направо да налево, направо да налево... топором-то, слышь! Уж и не помню я, не знаю, чего это со мной такое доспелось втупоре... только я как полоумная была! Выбежала я это на улицу, а ночь-то была светлая, месячная... Гляжу: на платишке-то у меня кровь все, а оно такое маркое было — желтенькое, слышь, как сейчас помню... Как увидала я кровь-то, и побегу, да прямо к губернаторскому дому... Прибежала я, слышь ты, позвонила... Лакей ихний мне навстречу вышел, нарядный такой, важный... Хотел он было мне под самым носом дверь припереть, да я, государь ты мой, прямо в залу да посредине-то и остановилась, как есть вся растрепанная да в крови... А гости у него сидели, и людно таково их там было: все бароны да кавалеры, да все нарядные такие...

Побледнел ведь губернатор-от, как меня увидал! Слышь, и гости-то его все тоже побледнели, али уж мне втупоре так показалось... Не дала я это им опомниться, показала губернатору-то на кровь-от на платишке, да только и вымолвила:

— Вот, мол, полюбуйте, ваше превосходительство, на свое греховное дело! Сдержала, мол, я свое слово!

Да так тут, на месте-то, где стояла, об пол и грохнулась... Ахти-хти-хти-хти, Господи, Господи! Опосля, как я уж в остроге сидела, губернатор-от, этот самый, приезжал острог осматривать: прокурор с ним был. Вошли они это и в нашу половину. Губернатор-от меня и заметь.

— Это, мол, не почмейстерская ли девка? — у прокурора спрашивает.

А сам-от побледнел весь.

— Точно так-с, — говорит прокурор, — она самая. За то, мол, и за то судится...

Только губернатор-то ведь не дал ему сказать...

— А! — говорит, да глухо таково. — Знаю. Ах ты... сибирячка этакая!

Задохся, слышь, совсем: повернулся, да и вышел скорешенько таково. Вот с этого самого, государь мой, и прозвали меня сибирячкой да так и зовут все. Спервоначалу меня бабы острожные так прозвали, вишь, оно слышали, чего губернатор-от мне сказал; а после и Филиппушка стал меня так звать, поглянулось ему, слышь ты... Так вот я, государь мой, и попала опять на свою родимую сторонущку... Кнутом ведь, слышь ты, меня били: с тех самых пор вот спинушка-то и болит к ненастью — ломит, слышь... Ахти-хти-хти-хти, Господи, Господи!

Старушка остановилась, едва переводя дух. Хотя в избе было и темно, но мне как-то сердцем виделось, что по увядшему лицу ее текли горячие слезы, такие же юные и свежие, как ее рассказ, такие же горькие, как его содержание, и такие же мучительные, как ее душевная рана, не зажившая вполне до такой глубокой старости!

— А с Филиппом-то, бабушка, вы так уже больше и не встречались, что ли? — спросил я погода, когда она немного поуспокоилась.

— Чего ты это, государь мой! А старик-от мой на что? Он ведь и был Филипка-то!

Неожиданность этого ответа чрезвычайно сконфузила меня: я только теперь вспомнил, что действительно хозяина моего звали Филиппом Тимофеичем.

— Да он еще чего сделал, Тимофеич-то мой! — прибавила неожиданно старушка, видимо довольная своей памятью. — Он

вот какую, государь мой, штуку удрал... Как приехал из Москвы-то да как про меня ему все рассказали, он и пошел к губернатору: «Заел ты, мол, ваше превосходительство, мою Настю! Подлец, мол, ты!» Вот чего! Так мы по одной дорожке с ним и пошли; он ведь это нарочно для того и сделал. А обвенчались уж мы с ним здесь, на поселении то есть, много годков спустя. А только, могу тебе сказать не хвастаясь, государь мой, я ему в руки досталась как есть голубицей невинной... вот те Христос! Хоть его самого спроси... Это уж как перед Богом! Одначе, государь мой, приятного тебе сна желаю! — заключила со вздохом старушка.

Я от всего сердца пожелал ей того же. Но сам я долго не мог заснуть: перед глазами у меня беспрестанно восставала, со всеми своими действующими лицами, эта вопиющая драма, ежедневная, правда, но, может быть, потому именно и неведомая счастливым и сильным мира сего... Зато, когда на другой день я проснулся в одиннадцать часов утра, мне живо почувствовалось, что нигде еще не засыпал я, совершенно уверенный в своей безопасности, с таким наслаждением и беспечностью, как заснул под кровом этой энергической пары!

День стоял чудесный: теплый, светлый. Лошади мои были уже готовы. Вся семья вышла проводить меня, как родного, до ворот своего дома.

Я, признаюсь, едва не заплакал, садясь в кибитку: так мне было жаль оставлять этих добрых, простых людей... Сын хозяина, красивый парень, каких мне редко удавалось видеть, молодецки вскочил на козлы. Сестра вынесла ему позабытые рукавицы; он игриво ущипнул ее за шею, а она поправила ему за это волосы под шапкой...

— Ну, с Богом! Трогай, парень! — заключил хозяин наше трогательное прощание.

— Напередки просим тебя, государь мой! — кланялась мне любовно старушка.

— Лихом не поминайте! Смотри, Ваня, шапку не потеряй! — кричала Дуня.

Но мы уж мчались во весь дух свежих сил...



Александр Иванович Левитов

Блаженненькая

А. И. Левитов (1835—1877) — из семьи священников. Сам закончил духовное училище и поступил в Тамбовскую семинарию, которую бросил, несмотря на сопротивление родителей. Почти без денег пешком отправился в Москву, а затем в Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Мучительно переживавший свою социальную чуждость литературному миру, имевший склонность к спиртному Левитов тяжело выстраивал отношения с журналами. Творческий расцвет Левитова пришелся на первую половину 1860-х гг., когда им были созданы многочисленные очерки, отразившие богатый опыт скитальчества и знание социального дна народной жизни. Умер от чахотки в совершенном разорении. Рассказ «Блаженненькая» был напечатан в журнале «Зритель» (1862, № 45).

I

На дороге серая осень. Ничего не видать сквозь эту туманную пелену, которая так печально окутала все широкое пространство степи, по которой едете вы. Как издали иногда шумит прорвавшаяся речная плотина, так и в это время с хлясканьем колес вашего экипажа, с глухим топотом конских копыт, сливается какой-то странный, непрерывный шум.

«Какой жизни принадлежит это дыхание?» — думаете вы про себя, прислушиваясь к этому шуму. Резкий, своеобразный визг ветра прорезал в это время слух ваш. Задержанный на секунду вашим экипажем, полет степной осенней бури, оглушивши вас, умчался дальше, а то все шумит. Мучительно медленно тянутся для вас дорожные часы. Чтобы как-нибудь сократить их, вы стараетесь задуматься о чем-нибудь; но задуматься решительно нет никакой возможности, потому что назойливее осеннего дождя, заливавшегося за воротник вашей шубы, в вашу голову льется этот необъяснимый шум и мешает ей думать. Тоска!

Наконец вы не выдерживаете и вслух спрашиваете у кого-то:

— Господи! Кто ж это шумит так?

Бородастый, лет под сорок ямщик вздрагивает на козлах, испугавшись неожиданного восклицания.

— Где шумит? — спрашивает он у вас.

— А вот разве не слышишь? У меня всю голову разломило.

Ямщик некоторое время внимательно прислушивается и решает ваше недоумение таким образом:

— А это, барин, дорога шумит, степь шумит...

— Степь шумит! — по каким-то необъяснимым причинам с злостью восклицаете вы и жмурите глаза, тщетно намереваясь уснуть.

Наконец на вас пахнуло деревенским дымом и вы с радостью думаете о двухчасовом отдыхе, о возможности перебраться словом с живым человеком.

Вот уж вы более или менее валяжно усадились на самодельном диване станционной комнаты и, в первые минуты отдыха измученного тела, блаженству вашему нет границ. Древняя старуха, едва передвигающая ноги, внесла к вам бушующий самовар. И вот, услаждая ваше одиночество, он повел с вами тайную беседу свою, которую обыкновенно ведет со всеми проезжими.

Нескончаемо тянется длинная повесть самовара про однообразную глушь деревенской жизни.

— Всегда мы здесь так-то! — шипит он, обдавая вас теплым, нежащим паром. — То нас дожди осенние хлещут, то жары пекут, то холод морозит. То же, да все то же у нас по деревням. Мало новостей.

— Мало! — шепотом произносите и вы, до самозабвения заслушавшись этого рассказа.

— У нас мало новостей! Мы уж давно так-то висим здесь! — говорит вам с почерневшей стены длинный, размалеванный ряд отечественных героев. — Хоть бы ты новенькое что-нибудь рассказал: мы бы послушали.

«Что рассказать-то вам? — думаете вы. — Не о чем говорить-то — разве вот: скучно в дороге, домой бы скорее хотелось добраться».

— И ты ничего не хочешь рассказать нам, — азартно кричат герои.

И вдруг вся их пестрая фаланга во всю прыть своих красных и зеленых коней кинулась на вас, крутя длинные усы и махая кривыми саблями. Вот уже они вскакали на стол, на котором вы пьете чай...

— Боже мой! Что же это такое? — вскрикиваете вы, опомнившись.

В ваших глазах сильная резь, но, лишь только почувствовали вы эту боль, герои мгновенно скачут назад в свои рамки, стертые мальчишкой ямщиком из березовых лучин.

«Однако и станционная комната не много веселее дороги!» — отчаянно думаете вы, обращая ваше внимание на сельскую улицу, с целью поправить больное зрение ее картинами.

Ряд жалких изб, инде покачнувшихся, большей же частью совсем развалившихся, вытянулся перед вами серый и мокрый. Утопая по самые ступицы в клейкой черной грязи, уныло плетется по ней убогая мужицкая тележка. Обок с надорванной клячей месит грязь сам хозяин тележки в сдвинутой на самый затылок шапке, в истасканном зипуне нараспашку, потому что злой осенний ветер, дующий ему прямо в грудь, никак не может остудить его жаркий пот, который вызвали на его лоб усиленные старания помочь лошаденке тащить тяжелый воз по мучительно грязной улице. Так горемычно треплется по ветру реденькая борода мужика, печать такого тяжелого труда положена на телегу, лошадь и самого хозяина, что даже сельские собаки, всегда злые до безобразия, пропускают их без обычного лая, и только крикливые гуси, спугнутые возом с придорожной лужи, внимательно вытянули свои длинные шеи и, немного подумав, громко загоготали.

— Что это за бедные, что за несчастные люди на сем свете живут? — разбираете вы в этом бессмысленном гоготании птиц.

Но это старая песня, и незачем повторять ее, потому что всякому известно, как тяжело она надрывает грудь.

Не на чем было отдохнуть глазам вашим, когда вы смотрели на сельскую улицу. Вы стараетесь скорее кончить ваш чай и заказываете лошадей, потому что и в одинокой станционной комнате тоска еще более смертельная, чем в дороге.

Вдруг дверь открывается. Испуганные ее скрипом, вы вздрагиваете и делаете невольное движение. Существо, вошедшее в комнату, в свою очередь пугается вашего движения. Вам жаль смотреть на его пугливую позу, с которой стало оно у дверной притолоки.

— Что тебе, моя милая? — спрашиваете вы у вошедшей еще молодой девушки.

Ободренная ласковым тоном вашего вопроса, она поднимает на вас мутные глаза и бессмысленно хохочет. По этим глазам и смеху вы догадываетесь, что это сельская дурочка, неиз-

бежная принадлежность чуть ли не каждой почтовой станции и не каждого постоянного двора.

— На вот тебе сахару. Ты любишь сахар?

На красивом, еще молодом лице девушки вы примечаете в это время решительно животное удовольствие. Тонкие черные брови как-то сладострастно заморгали при виде вашей подачи, углы губ сморщились, и человек перестал походить на человека.

— И сахару дай, и денег дай, — глухим шепотом отвечает девушка.

— На вот и денег.

Согнув спину и вытянув шею, так что все лицо ее выдвинулось вперед, стремительно вырвала она пятак и скороговоркой заговорила:

— Это мне на платок, на платок. В город с матерью поеду, платок куплю, — радуется бедное создание голосом, похожим на хрипение старого больного животного. — Дай винца, барин!

— Ну винца-то и нет у меня, — отвечает вы.

— Дай винца! — кричит она, мгновенно изменяя и выражение лица, и голос.

— Ты опять к господам затесалась, погань ты эдакая! — кричит на девушку взошедшая стряпуха, давая ей подзатыльник.

Вы не успели еще сказать вашей защитнице, чтобы она не трогала юродивую, как юродивая с яростным криком уже бросилась на нее, и в одно мгновение лицо стряпухи исцарапано до крови, волосы растрепаны, рубаха изорвана.

На крик истерзанной таким образом женщины вбегают двое молодых ямщиков. Они тоже бросаются на безумную. Сильными и грациозными, как у молодого львенка, движениями, девушка вырывается из рук ямщиков и с новой силой бросается на своего врага.

— Что это за зверь девка? — говорят ямщики. — Ни с чем ты не осилишь ее. Правду говорят, что с чертом никто совладать не может.

Между тем, окончательно уничтоживши стряпуху, девушка стала посреди комнаты, злобно поглядывая на всех.

— Ну что стала? — спрашивает у ней один ямщик. — Ступай-ка домой отсюда, не равно сдуешь что у барина: на нас скажут.

— Мм! — мычит девушка, замахиваясь кулаком. На ее глазах дрожат слезы, на лице видно неодолимое желание мстить.

— Вишь, страшная какая! Обозлилась как! — говорит стряпуха.

Но для меня лично ничто не было так хорошо из всего того, что в эту минуту было около меня, как эта девушка. Стояла она с видом человека, сильно и напрасно обиженного. Молчаливо стоит он, пораженный сделанным ему несправедливым оскорблением, и как будто думает о чем. Чем сильнее обижен, тем больше и тем сумрачнее стоит, потом крепко-накрепко сожмет свои руки, так что захрустят они у него, и вздохнет, — и во вздохе этом вы непременно слышите те хриплые, надорванные звуки, которые слышал я в голосе сельской сумасшедшей.

В это время я понял, что только тот может сойти с ума, у кого был ум.

— Отчего это она заболела у вас? — спросил я про девушку у избитой ею стряпухи.

— Да ее-то отец испужал, а то ведь их у нас много. Вон у нее брат есть двоюродный, так того мать, как в горячке была, в колодезь закинула. Насилу вытащили.

— Вы бы ее в сумасшедший дом отвезли: вам так-то опасно с ней жить. Помилуй Бог, убьет кого.

— Да она, кормилец, прежде-то не дралась и совсем было поправляться стала: только года с два тому проезжал тут приказный один из города. Только она так же вот, как и к тебе, и приди к нему, а он пьян был... Ну... После родов уж драться-то стала; нам и жаль ее в сумасшедший-то дом отправлять.

II

Теперь я расскажу вам, как эти детки Божии плодятся по нашим городам и деревням.

Село, на минуту было оживившееся приездом жнецов к обе-ду, опять погрузилось в свою обычную тишину. Палящий полдневный пожар повсеместно жег и крушил природу; все носило на себе печать какого-то очарованного, наводящего на душу самое тяжелое уныние, сна. Деревья, не шевелясь ни одним листом, стояли как заколдованные; ни птичьего крика, ни одного звука не слышит тоскующее ухо. Несется только откуда-то, как

бы из самой дальней глубины степной, какой-то могучий страдающий шепот. Слушая его, вы с страшною тоской в душе предполагаете, что это, должно быть, вздохи природы, изнывающей в пламени жгучего солнца.

По безлюдной сельской улице кое-где бродят праздные дети, на навозных завальнях греются старухи, оставленные домоседничать. Но ни крикливые игры детей, ни разговоры стариков не оживляют эту безжизненную картину, потому что и старый, и малый — все слишком сильно чувствуют на себе тяжесть муки, которою полдневный зной пытается все живущее.

По пыльной улице мертвенно-тихого села бредет маленькая девочка. Влияние крушащего зноя подействовало и на ее живое, игривое тело: головка ее поникла на загоревшую грудь, едва прикрытую толстою сорочкой; маленькие руки, всегда занятые чем-нибудь, повисли теперь, как висят на дереве сложенные сучья, а ноги, не то чтобы резво бежать по-всегдашнему, так как-то, словно их поневоле переставливает кто, вяло передвигаются, цепляясь одна за другую и поднимая пыль, которая густым слоем садится на смуглое личико, на длинные растрепанные волосы и на сероватую рубашонку. Девочка видимо истомлена жаром вместе со всем окружающим ее, и только одни ее черные блестящие глаза все еще носят отпечаток игривости. В них ясно видно сильное желание сбросить с себя тяготящую тело истому и развлечься чем-нибудь, но тело не слушается желания. Попробует девочка побежать, резвой птичкой перелетит она несколько сажень, и опять пойдет тихо, и опять поникнет ее на минуту оживившая головка, ровно стыдно ей сделается за свою резвость в минуты повсеместного уныния и тишины. Вдруг, как бы пораженная внезапно пришедшею мыслью, девочка остановилась посереде улицы. Глазки ее оживились, на лице заиграла улыбка, руки как будто рассчитывали что-то. После короткого раздумья, она прискакнула на месте и побежала назад скорой детской рысью.

Девочка добежала до своей избы и кое-как отперла туго припертую дверь. Внутренность избы носила на себе все признаки недавнего обеда уехавшего теперь в поле семейства. На лавках стояли пустые горшки, валялись еще не высохшие ложки и блюда, на столе блестели жирные пятна, — спешная, поле-

вая работа не дала хозяйке времени поубраться как следует. В избе была та же тишина, что и на улице, только миллионы мух, густыми жужжащими роями летая над остатками хозяйского обеда, несколько оживляли ее. Девочка не могла пройти и не смутить беззаботный пир насекомых. Она, как котенок, подкралась к столу и, распутивши свою маленькую руку, махнула ею над столом. В руку попало с десяток мух; она начала выпускать их по одной и при виде каждой крылатой пленницы, радостно вырывавшейся из своей тесной тюрьмы, на лице ее загоралась улыбка удовольствия. Несколько раз повторяла она этот маневр, наконец он надоел ей. Последнюю горсть она бросила уж целиком.

Мухи чуть-чуть не заставили ее забыть о деле, за которым она пришла в избу.

— Где же я теперича найду говядину? — прошептала девочка. — В какие только места мамка ее запрятывает?

И она начала заботливо пересматривать горшки и блюда, стоявшие на столе и на лавках; но в них ничего не оказывалось. Девочка вышла на середину избы и окинула глазами полки, которые со всех сторон прилеплены были к почернелым, закопченным дымом, стенам. С одной полки заманчиво смотрело на нее несколько пропитанных жиром горшков. Девочка вскочила на лавку и потянулась к ним: нет, не доросла — не достать. Снова раздумье взяло ее, и опять она вышла на середину избы, стараясь осмотреть местность, чтобы, выбравши удобный пункт, можно было подделаться к этим так высоко залетевшим горшкам.

«Когда же это большая я вырасту?» — с досадой и чуть не плача спрашивала себя девочка.

— А тогда, моя милая, и вырастешь ты большая, когда говядину из горшков воровать перестанешь, — ответил бы я ребенку, ежели бы не боялся испугать его.

Но девочка не стала дожидаться этого времени: она бросилась под лавки и под печь, отыскивая что-нибудь такое, что было бы можно подставить под ноги и таким образом добаться до вожделенных горшков, в которых, по ее догадкам, непременно скрывалась с таким нетерпением отыскиваемая говядина. Наконец, под печью нашелся толстый обрубок, неизвестно для чего припасенный ее домовитым отцом. Она притащила

к лавке этот обрубок, вскочила на него и, к своему великому удовольствию, достала до заветных горшков.

Вот один из них уже у нее в коленях. Девочка уютно расположилась с ним у растворенного окна и принялась уписывать говядину, припасенную матерью на ужин семейству, которое работало теперь в поле. Пламенеющее небо, грозно смотревшее на маленькую хищницу, пыльная дорога, длинною лентой стлавшаяся перед раскрытым окном, даже изредка проходящие девочки несколько не занимали ее, потому что, кроме удовольствия потихоньку ото всех есть тщательно спрятанную говядину, ребенок в то же время наслаждался и тем еще, что делил свое удовольствие с двумя любимыми кошками. Заслышав запах мяса, они тихо прокрались в непритворенную дверь и лукаво посматривали на девочку своими зелеными глазами.

Глубоко задумался сытый ребенок под ласковое мурлыканье своих четвероногих собеседников. Ободренный его молчаливою задумчивостью, кошки растащили по лавке куски мяса и наслаждались неожиданным праздником, а с улицы, между тем, с соседской завальни прямо в то окно, под которым сидело дитя, бил резкий старушечий голос, певший сказку про непослушного брата Аленушки, Ванюшку.

— Братец ты мой миленький, — рассказывает старуха собравшимся около нее внучатам, — не пей ты этой воды, говорит братишке Алена: наворожена эта вода, наколдована. Вместо человека, когда ты попьешь ее, козлом сделаешься. Не послушался Ваня сестры и напился. Напимшись, в ту ж пору козлом наделался. А Баба Яга тут же его зарезать велела. Только же убежал кое-как Ваня от Бабы-Яги и к сестре пришел. Пришел он к ней, стал под окном и запел:

Аленушка!
Сестрица моя!
Кипят котлы
Кипучие,
Ножи точат
Булатные.
Хотят резать твоего братца
Иванушку».

Жаль стало девочке бедной сестры, у которой Баба-Яга так безжалостно хочет погубить брата. Ее маленькое сердце болезненно сжалось от рассказа старухи; на ее ясных, за минуту шаловливых, глазах показались светлые слезки.

Все глубже и глубже проникает в душу ребенка печальный рассказ, все пуще и пуще его скорбный тон затуманивает молодую головку. И вот, уже забывши и про кошек, и про говядину, плотно прижалась эта головка к раскаленному солнцем стеклу рамы и забыла про все. Неуловимые звуки, обыкновенно несущиеся с поля в жаркую пору, жужжанье мух, сердитое воркотанье голубей под навесом, даже самая тишина избы — все в ушах девочки слилось в одну песню, стоны которой целною заняли ее сердце и заслепили глаза. Сидит она, вся залепленная мухами, и только одно это раздается в ушах ее, что:

Аленушка!

Сестрица моя!

К воротам подъехала телега. С нее соскочил мужик и пошел в избу. Это был отец девочки, что-то забывший дома. Его приезда не заметила очарованная сказкой шалунья. Только что вошел в избу сердитый хозяин, кошки, безмятежно убиравшие украденную говядину, стремглав бросились под печку, оставив на полу обличающие кости; мухи поднялись черною жужжащею тучей; от громкого прихлопа дверью голуби слетели с избыной пелены; но ничего этого не слыхала девочка. По-прежнему уткнулась она в окно и напряженно слушала сказку, которая с каждым словом становилась все занимательнее, а перед нею стоял опустошенный горшок, валялись объедки ужина уработавшейся семьи. Злость взяла отца.

— Ах ты, каторжная! — крикнул он на дочь и с этим словом захваченным с собою кнутом вытянул ее вдоль спины.

— А-а-ах! — дико раздалось в избе.

По телу бедняжки пробежала дрожь; она, как обожженная, вскочила с лавки и бросилась в сторону, противоположную той, с которой последовал удар. В ее прыжке было что-то такое, что более походило на отчаянный прыжок подстреленного зайца, нежели на прыжок ребенка, сознательно увертывающегося от

наказания. Она прижалась в угол и без обыкновенных в этом случае слез и воплей смотрела на отца.

— Што это ты наделала, озорница? — спрашивал ее отец, с которого спал первый припадок гнева. — Сказывай, што?

Девочка по-прежнему молчала и все так же смутно, так же бессмысленно смотрела на него.

— Ах ты, окаянная, окаянная! — бормотал отец, уже спокойно отыскивая забытую вещь, за которую он возвращался из поля.

Девочка все так же безмолвно стояла и все так же бессмысленно робко жалась в угол.

— Што спуталась? Ишь, как кошка блудлива, а как заяц труслива, — шутливо проговорил он, окончательно смягчившись.

Но и на эту отцовскую ласку ни одним звуком, ни одним движением не ответил бедный ребенок. Помертвевшее смуглое личико, посиневшие губы и потухшие глазки ясно сказали отцу, что дочь его отныне уже ничего разумно не услышит, ни на что разумно не ответится.

Необдуманный взмах отцовского кнута погубил навек девочку.

В это время начал понемногу спадать полдневный жар. На улицу постепенно выбегали дети; ее мертвая тишина мало-помалу сменялась их бойкими выкриками. Но еще не так скоро выполз бы на улицу сельский люд из своих прохладных убежищ, если бы из избы приехавшего на свое и дочернино несчастье мужика не раздалось странного крика, всполошившего всех соседей.

— Дитятко, дитятко ты мое милое! — кричал несчастный отец. — Ведь я поиграл с тобой, ведь я тебе ничего...

Но девочка как бы не верила отцовым уверениям. Она иско-са смотрела на него и на собравшийся народ и будто сердилась.

— Глядите, глядите, ребята! — толковали ребяташки промеж себя, когда несчастная вышла на улицу, окидывая встречных своими сердитыми взглядами. — Анютка-то с ума сошла. Теперь она Божьим дитей стала, блаженненькой. Обижать ее теперича грех, потому сам такой же сделаешься, ежели обидишь ее.

— Какой тут грех? — сомневался один бойкий мальчишка. — Ее ничего бить-то, потому она дура. Я ее наемдни вот как вздрючил: ничего со мной не сделалось, — сам видишь.

А. И. Левитов

— О? Ай ничего?

— Ей-богу ничего! Колоти ее, ребята!

И ребятенки действительно накидывались на нее безжалостной стаей. Но Божье дитя, как бы ни были ему больны их тиранства, всегда отвечает своим мучителям тем только сердитым, пронзительным взглядом, каким оно в первый раз окинуло отца, после того как он ударил его кнутом.

— Ах ты, Господи, страшная какая девка! — говорят ребятки, когда взгляд этот упадет наконец на них. — Лучше уж отойти от нее, потому, пожалуй, что чуть ли она не ведьма. Они, ведьмы-то, должно, что все такие пучеглазые...

Василий Алексеевич Слепцов

Питомка

Деревенские сцены

В. А. Слепцов (1836—1878) — выходец из старинного дворянского рода. Учился в Пензенском дворянском институте и на медицинском факультете Московского университета. Был профессиональным актером, выступал на ярославской сцене в сезоне 1854/55 гг. Движимый интересом к фольклору и дружбой с В. И. Далем совершил пешую фольклорную экспедицию по Владимирской губернии. Впечатления от путешествия легли в основу цикла «Владимирка и Клязьма» (1861). Переехав в начале 1860-х гг. в Петербург, Слепцов знакомится с редакцией «Современника» и становится одним из наиболее популярных писателей поколения «шестидесятников». В середине 1860-х писатель стал активным участником дискуссии о «женском вопросе». В 1863 г. под влиянием романа Н. Г. Чернышевского организовал в Петербурге коммуны, получившую название «слепцовской». Рассказ «Питомка», опубликованный в «Современнике» (1863, № 7), был высоко оценен литературной критикой.

I

По крутому краю большого глинистого оврага пролежала полевая дорога с сухими, жесткими колеями; то спускаясь в овраг, то цепляясь по самому гребню косогора. В овраге кое-где рос кустарник, кое-где стояли желтые лужицы, над которыми роились столбы мелких мошек. Солнце садилось, в побуревшей ржи свистели перепела.

Шла проселком молодая баба с котомкой за спиной. На бабе было старое ситцевое платье, мужские опорки на босу ногу и белый платок на голове. Шла она скоро, помахивая палочкой; иногда останавливалась, поправляла котомку, оглядывалась кругом и опять шла, мерно покачиваясь из стороны в сторону, уставив глаза куда-то вдаль. А вдали виден был все тот же овраг с порыжевшим бурьяном да пестрые полосы спеющих хлебов.

Вдруг позади загремела телега. В телеге сидел мужик. Баба свернула с дороги в сторону и, не оглядываясь, пошла поскорей. Мужик, поравнявшись с бабою, приостановил лошадь и сказал:

— Путь-дорога! Куда Бог несет?

Баба поклонилась и, не глядя на мужика, молча шла стороной.

Мужик посмотрел на нее, тряхнул шапкой и сказал:

— Эй, ты! Тетка! Слышь, что ль?

Баба все шла и молчала.

Мужик посмотрел, посмотрел, покачал головой, сказал про себя «глухая» и вдруг замахал руками, крича бабе:

— Ай ты глухая?

Баба остановилась и сказала:

— Чего тебе?

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Что ж ты не откликаешься? Видишь — человек.

Баба недоверчиво глядела то на мужика, то на его лошадь.

— Садись, подвезу, — сказал мужик.

Баба не решалась.

— Садись, говорят, дура!

Баба подумала, подумала и села.

— Ну, вот, — сказал мужик, — сиди! Соль тут у меня в мешке.

Баба подобрала подол и положила руку на мешок.

Поехали.

Немного помолчав, мужик спросил:

— Ладно, что ли?

— Ладно, — потихоньку ответила баба.

— То-то. А не хотела. Богу молиться ходила? — опять спросил он ее.

— Нет. Я вот... Деревня такая есть... У меня прописана... — и баба полезла было к себе за пазуху; однако ничего оттуда не достала, а только почесала под мышкой и прибавила:

— Бердяева деревня...

— Какое Бердяево?

— Бердяева... аль Гордеева. Да, Гордеева.

— Где ж это такое? Не слышать что-то по здешней стороне такой деревни. Кое же это место?

— А я не знаю.

Мужик обернулся к бабе лицом и в недоумении спросил:

— Ты сама-то чья?

— Я дальная.

— Дальная. Зачем же ты идешь?

— А вот... Девочка у меня тут отдана... В шпитонках. Повидать девочку-то бы мне.

— А-а! Да, да. Так ты деревню ту и не знаешь?

— То-то не знаю. И спросить-то как, тоже не знаю.

— Ну, так. Сама-то из Серпухова будешь?

— Из Москвы.

— Московская. Да. Также не ближний свет. Да, да, — в раздумье говорил мужик и еще немного погодя спросил:

— Велика девочка-то?

— Нет, махонькая.

— Ну, ничего, — сказал мужик. — Даст Бог, найдешь. Сиди! Ишь ноги-то у те!

Баба посмотрела на свои тощие, загорелые ноги, неподвижно вытянутые вперед, и прикрыла их платьем. Мужик задергал вожжами и замахал хворостиной. Лошадь побежала шибче, звонко стуча своими нековаными копытами по сухой дороге. Баба затряслась на мешке и молча посматривала по сторонам. Солнце между тем уже село, и в поле поднялся ветерок. Впереди показались избы; дорога завернула куда-то в сторону, пошла межами и совсем затерялась во ржи. Мужик, прислонившись к передку и свесив руку, задумчиво постегивал хворостиной придорожные травки и затянул было песню. Проехали так еще с версту.

— Как деревню-то сказывали тебе? — спросил он у бабы.

— Мм... Мокей... Мокеева...

— Ну, вот мы здесь спросим. Тут у меня приятель есть такой... А! Настоящий купец. Ну, только и ёрник* же!

Стали подъезжать к деревне. Дорога легла позади дворов, мимо гумен, потом пошла конопляниками и вывела в переулочек, к кабаку. Деревня была плохенькая — домов двадцать. Некоторые только еще строились после пожара и стояли без крыш. От новых срубов пахло смолой и дымом. На улице народу совсем не было; только на краю деревни три девчонки сидели на заваulinке и, поджав под себя ноги, визжали во всю мочь:

Шел из Питера штафет.

Присылал милой газет.

Я газетик полуцала,

С издавольствием читала...

Мужик остановил лошадь у кабака и спросил:

— Ты станешь, что ли?

Баба замотала головой и ответила:

— Нет, я не стану. Я посижу.

— О? А то пойдем! Что ж? Ничего. Ведь озябнешь. Еще пять верст до ночлега.

— Нет, я не озябну.

— О? Ну так сиди же, смотри. Я сейчас.

* Ёрник — озорник, беспутный человек. — *Примеч. авт.*

Мужик вошел в кабак и, высунувшись из окна, крикнул бабе:

— А то огурчика? Вынести, что ль?

— Не стану.

— Соленьенького? А? Ты гляди, какие огурцы-то. Ну, не надо.

Сиди, сиди!

К телеге подошла собака, понюхала у лошади хвост и ушла опять на завалинку.

В кабаке засветился огонь и видно было, как мужик вылил шкалик в стакан, выпил, утерся полою и, заговорив с целовальником, стал раздирать пальцами кусок вяленой рыбы. Видно было, как целовальник безымянным пальцем скостил что-то на счетах, поглядел сонными глазами на свечку, почесался и вышел из-за стойки. Наконец оба они вышли на крыльцо, и мужик сказал целовальнику:

— Глякась, какую я себе бабу везу.

— Да, баба ничего, — зевая, ответил целовальник.

— Гм!.. — сделал мужик, залезая в телегу. — А ты как об нас полагаешь? Ну, да ладно же. Прощай. Матри, коли што, так ты и того, алибо што. С нашими тогда наказать можно. Гляди, не прозевай.

— На что зевать, — сказал целовальник, — с Богом!

Лошадь тронулась.

— Ах, постой, брат, постой! Какая тут такая вотчина есть Свербеева господина? Не слыхать? Ай Гордеева?

— Гордеева, — подтвердила баба.

Целовальник задумался.

— Не слыхал что-то. А тебе на что?

— Да вот молодке-то моей туда было нужно, беспреренно нужно побывать. Девочка у нас с ней там есть. А то вот что, ну-кось, как тебя звать-то?

— Анисьей.

— Ну-кось, Анисья, покажи-кось ему, где у те там прописано.

Он эти все дела разберет.

Баба полезла было за пазуху и задумалась.

— Что ж ты? — сказал ей мужик. — Да ты не бось, дура, он не отымет. О, глупая! Он только глянет одним глазком и все узнает. На что ему твоя записка?

Баба послушалась, развернула тряпочку, достала оттуда ло-

скуток бумаги и отдала его целовальнику. Целовальник вошел в избу, а мужик стал копаться в каком-то лукошке, приговаривая:

— Он разберет. Ишь завязал, теперь ни в свете не развяжешь. Разберет. Как не разобрать. Мужик вострый. Не развяжешь. А, мухи те ешь! Развязал. Эй! Как тебя? Анисья! На-ка, закуси! Неравно поесть захочешь, — сказал он, сунув бабе два кренделя. — Ребятенкам везу. Они у меня охотники смертные. Что ж ты?

— Я не хочу, — отозвалась баба.

— Ешь, дура, ничего.

— Я не хочу.

— Говорят: ешь, черт!

Баба взяла крендели, но не решилась есть.

Целовальник вышел на крыльцо.

— Ну, как дела? — спросил его мужик.

— Тут написано — Целибеево. Это Борки должны быть.

— Борки. Это за Шелепихой? Знаю. Ну, теперь найдем. Будь спокойна! — уверил он бабу. Она завернула опять бумажку в тряпицу.

В поле совсем почти смерклося. Проехав деревню, мужик вытащил из-под себя зипун и отдал бабе, говоря:

— Возьми укройся зипунишком-то, все тепле.

Баба сказала: «На что?» — однако оделась.

Немного погода мужик обернулся к ней, посмотрел ей в лицо и спросил:

— И чего ж ты давеча, глупая, испужалась?

— Когда?

— Когда! А как встрелся-то я тебе?

Баба ничего не отвечала.

— И есть ты баба, — заключил мужик. — Глупый твой разум. Нешто мужик может обидеть? Эх, ты! — и еще немного погода прибавил: — Вот девочку твою найдем.

— Дай-то Господи, — шепотом сказала баба.

— Где ж у те хозяин?

— Помер хозяин у меня, вот другой год пошел.

— Одна живешь?

— Одна. У купца в стряпухах живу.

— Кто ж тебе записку дал?

— Этот, писарь дал.

— Какой писарь?

— А в шпитательном. Я там номерок выправляла.

— Ну?

— Ну, и сказал мне этот писарь, что, слышь, в деревню девочку отдана в шпитонки.

— А много ли он с тебя взял?

— Сперва-то было пять целковых просил. Я ходила, ходила, три раз ходила. Первый-то раз сказали, за шестьдесят верст в деревню отдана, я и пошла.

— Ну, что же? Не нашла?

— Нет, нашла, да чужую, не свою. Моей-то четвертый годочек пойдет, а этой уж восемь лет.

— Значит, зря проходила?

— Зря.

— А в другой?

— А в другой опять записку дали, по Можайке, за Можаем за городом еще за сто верст. Ну, там сказали, померла, слышь, девочка-то. И звать совсем не так. Моя-то Прасковья, а эта Анфиса Егорова.

— Ну, писарь-то что ж говорит?

— Говорит, ошибка, говорит, вышла. Номера перепутали. Теперь, говорит, непременно найдешь.

— Пустое дело, — заметил мужик. — А деньги все-таки взял?

— Денег я ему два целковых еще в тот раз дала да полштофа водки. Ну, на чаю тоже пропойла с целковый; да вот теперь пошла, целковый рубль дала.

— Гм! Да. Эти писаря тоже ловко вашу сестру обчищают. Эх, сирота ты, сирота! Погляжу я на тебя. Сиротское самое твое счастье, — заключил мужик и задумался. Баба тоже задумалась.

Спустя много времени мужик тронул бабу пальцем и заговорил.

— Я тебе про себя расскажу, как меня эти писаря подвели. Ну! Надоумил меня тоже эдакий добрый человек вольную выправлять. А ты садись плотней! Вот. Что ж ты крендели-то не ешь? Ну и надоумь он меня, человек-то этот. «Вольный, говорит, будешь; в купцы выписаться можно». — «Вре?» — «Да пра» — говорит. Ну, хорошо. Писарек тут один мне и подвернись. Я, говорит, берусь. Пятнадцать целковых денег. Думал, думал, эх, в рот, мол, те, — пиши! Написал. И то он мне, а тебе скажу,

написал, что меня за это за его письмо драли, драли... Может, целковых на три об меня хворосту одного обломали; да год в остроге высидел. Так вот они, писаря-то. И гляди на них.

Приехали в какую-то деревню ночевать. Остановились у одной избы. Мужик постучал в окно. Впустили. Хозяева только было собирались ложиться. Баба вошла в избу, а мужик пошел отпрягать лошадь. Сам хозяин еще не ворочался с поля.

В избе было душно, мухи жужжали и лезли в лицо. На печи охала старуха; а вся семья была в клету. Хозяйка вошла в избу и, доставая из рукава блоху, спросила:

— Огурцы хлебать станете, что ли?

— Я не стану, — отвечала баба.

— Ну, а коли ложиться, ложитесь. Ты небось, молодка, с хозяином с своим?

В это время вошел мужик с мешком и с лукошком.

— Ну, вот, лошадке кормецу засыпал, незомь** пожует, — говорил он про себя. — Что у вас, хозяйка, в печи-то припасено что, ай нет?

— Мы ноне не топили, — отвечала хозяйка.

— Ну, ничего, мне только бы кваску испить. Господи бослови! — говорил он, зачерпнув ковшик. — Над, — до квасу-то я дорвался. Рыба эта, неладно ей будь, рыба-то уж очень в кабаке... ржавая. Обопьешься. Квас, должно, молодой?

— Молодой, не устоялся.

— То-то, не кисел. Ну-кошь, еще ковшичек зачерпнуть. Не кисел. О Мать Пресвята Богородица! С соленого-то пьется.

— Я бай, вместе стелиться станете? — зевая, спросила хозяйка.

— Кто? Мы-то, что ли? Нет, мать, мы врозь. Мы ноне с ней, я тебе скажу, вот как: чтобы ни отнюдь. Говеем.

Хозяйка не поняла и, улыбаясь, спросила:

— Что ж так?

— А так; потому спастись хотим. Вот что.

— Чудно, — сказала хозяйка и покачала головой. — Нешто вы...

— Да ну вас совсем! — вдруг отозвалась с печи старуха. — Греховодники! Ты и рада, девка, язык-то чесать, — заворчала она на хозяйку.

— Что мне радоваться? — ответила хозяйка.

** Незомь — пусть. — *Примеч. авт.*

— Постыдились бы хоть крошечку. Завтра праздник.

— А ты, старушка, помалчивай, — сказал мужик. — Лежи знай!

— Я лежу, голубчик, лежу.

— Ну и слава Богу, коли лежишь. И мы ляжем, Анисья, ты в сенях, что ли?

— Я в сенях.

— Ну, а я пойду на двор. Коня напоим. Хозяйка, где тут бадья-то у вас? Ты у меня, Анисья, смотри, чтоб спать. Больней старайся спать. Завтра раньше вставать, — говорил он, уходя из избы.

Ночью звезды светили на дворе. В клетки слышно было то-ропливое детское дыхание, и старуха в избе возилась и охала вплоть до самого утра.

Баба вскочила ни свет ни заря и собралась было уходить. Мужик проснулся, глядит, баба открывает калитку.

— Куда ты?

— Да нет, уж я пойду.

— Ах ты, оглашенная! Что мне с тобой делать? Куда тебя несет этакую рань?

— Да по холодку-то лучше.

— Не ходи, говорят. Вместе поедem.

Баба осталась.

Солнышко взошло — поехали дальше.

Около полудня увидели большое село на пригорке, с деревянной церковью и садами, спускавшимися к речке.

— Вот они, Борки! — сказал мужик, указывая хворостиной на село.

Баба молча пристально глядела вперед.

— Народ тоже со всячинкой, — продолжал мужик, как будто рассматривая что-то впереди. — Хвалить нельзя. Первые кулаки в свете. Всю поселенную изойдешь, таких еще не найти. Также торговлю у себя имеют, а хлеба нет. Больше насчет лошадей стараются. Ноне гуляют — праздник. Что ж им? Дело их базарное. Кабак-то вот он!

Немного не доезжая до села, мужик остановил лошадь; баба слезла.

— Ну, теперь с Богом, — сказал мужик. — Дай Бог!

Баба подвязала котомку и собралась было идти. Мужик стал что-то поправлять колесо и, заглядывая под телегу, сказал:

— А косушечку с тебя бы нужно за провоз, для праздника. Баба вернулась.

— Садись, я тебя до кабака довезу, так и быть, что с тобой делать? Но! — закричал он на свою лошадь. — Эх, молодость! Гляди, как запалим.

Телега живо подлетела к кабаку и остановилась у крыльца. Тут уже народу толпилось довольно. Одни сидели на завалинке, другие стояли, запустив руки в карманы, и смотрели на улицу.

Отставной солдат в ситцевом нагруднике погромыхивал на гармонии.

— Эка, братцы мои, житье-то у вас! — говорил мужик, слезая с телеги.

— У нас, брат, житье, — отвечали мужики, куря трубки.

II

После обеда народ гулял на селе; в разных местах собирались кучки; в проулках между дворов бабы песни играли. Мужики всё больше жались к кабаку. Тут на площадке орлянка шла отчаянная.

Приезжая баба, Анистья, ходила по дворам и все спрашивала:

— Нет ли тут девочки такой, Прасковьи звать?

— Какой девочки? — спрашивали ее бабы.

— Так, вут эдакинькая; четвертый годочек. В шпитонки взята.

— Нет, что-то нет такой, — отвечали бабы.

— Тебе шпитонку, что ли?

— Да.

— А вот у Сёмушкиных взята девочка.

— Что ты зря-то болтаешь? У Сёмушкиных. Тое замуж скоро отдавать.

— Ну, к что ж? Не век же ей в девках сидеть?

— Да ты слышишь, махонькую нужно.

— Мало б ты что захотела. Где ж ее взять, коли нет? Ты бы родила да и дала ей, коли уж ты добра очень.

— Что ты меня-то родить посылаешь? Вперед на свой хвост оглянись.

— Мне глядеть нечего. Узоры не велики.

— Вот то-то и есть.

— Ты, милая, ворожишь, что ли?

— Нет, я не ворожу. Мне было вот девочку.

— О! А мы думали, ты ворожишь. На что ж тебе девочку?

— Дочка она мне.

— Дочка?

— Да, беленькая такая. Паранюшка.

— Нет, не знаю. Вон девочка шпитонка бегают, кургузая-то, вон! Подол на голову задрала. Ах ты подлая! Акуль! Акулька-а!

— Народят робятищев да и раскидают по чужим дворам, — ворчала старуха, сидя у ворот. — Ходют! Шлёнды московские; право. Взяла бы вас из поганого ружья застрелила. Суки!

На лужайке, против церкви, сидели бабы в красных рубашках. Одна говорила:

— Лежу я, девка, так-то и думаю: как бы мне не проспать! А сон это меня схватит, схватит да как ударит; я и вскочу. А ночь темная-растемная. Забылась я чуточку и вижу, быдто я хлебы в печку сажаю. Хлебы такие белые. Матушка быдто стоит эдак подпершись. Какие, говорит, у нас хлебы-то удались, ровно как пшеничные. А я тороплюсь, сажаю. Как бы дух-от из печки не вышел, боюсь до смерти. Вдруг откуда ни возьмись свинья, пестрая да большущая, схватила один хлеб и убегла. Я за ней: ах-ах-ах, ах-ах-ах, все бегу, все бегу, никак не догону. И уж сама себя не помню, полем все каким-то бегу да все спотыкаюсь; кочки тут какие-то, ямы нарыты. А свинья эта обернулась ко мне и говорит: нет тебе ничего! Посмотрела я на нее, а она страшная-расстрашная; зубы у ней вот эдакие... Я так вся и затряслась... Батюшки мои! Да как закричу — и проснулась. А хозяин меня в бок толкает. Что ты, дура, орешь? Я бабке сказываю, она говорит: это кто-нибудь из родни помрет.

— А я вот, — говорила другая баба, — третью ночь все све-кра-покойника свою вижу. Вижу, быдто мету я избу, а он, покойник, царство небесное, все меня сзади хватает. Я оглянусь, что, мол, ты, батюшка? А он мне: ничего, говорит, мети, мети знай!

— Да чтой-то, бабы, никак эта приезжая-то сюда идет?

— И то, никак сюда.

— Ну, что, голубка, не нашла девочку-то?

— Нет, все не найду.

— А ты бы к ворожее сходила. У нас тут недалеко старушка живет. Она бы тебе погадала.

— Да уж ходила я к ним: обещали верно, а все нет. И у Сергия-то чудотворца два раз была.

— Ты бы в правление еще сходила, — что писарь скажет. Пойдем, я тебя сведу, — вызвалась одна баба.

Пошли.

— У нас тоже, я тебе скажу, — говорила провожатая, — сладость-то не бознать какая. Девять душ! Шутка? Ребята мораются. Одних рубах не напасесси. Посто-кась, мы у мужиков спросим.

Мужики стояли кучей между кабаком и волостным правлением. Разговор у них был следующий:

— Что ж, известно, наше дело такое.

— Что и говорить.

— Нет, вы, братцы, солдата спросите, он-то что тут?

— Я что? — спрашивал солдат.

— Да; ты-то что?

Солдат подбоченился, наморщил брови и спросил:

— За Дунаем был?

— Нет, не был.

— Ну, стало быть, нечего мне с тобой и толковать.

Один пьяный мужик стоял среди улицы и, кланяясь другому, говорил:

— Вы наши отцы, а мы ваши дети. Отец милосердай!

А другой посмотрел на баб и сказал:

— Эти что, поганки-то, ходят здесь?

— Я милосерд, — закричал пьяный мужик.

— Брысь вы, шилохвостые!

На крыльце волостного правления тоже сидели мужики. Бабы подошли к ним.

— Степан Егорыч где? — спросила провожатая.

— А тебе на что?

— Да вот этой молодке нужно насчет девочки.

— Небось пьяный лежит Степан Егорыч-то ваш, а то у старшине.

— Тебе, тетка, девочку? — спросил кузнец.

— Да; дочку было.

— Скоро нужно?

Баба обрадовалась.

— Да поскорей-то бы лучше. Очень уж я...

— Ишь ты, какая проворная!

Мужики захохотали.

Приезжая баба отправилась к старшине. Писарь в это время сидел за столом и говорил:

— Они без меня шагу ступить не могут. Так ли я говорю?

— Это верно, — отвечал старшина, разбивая на лавке камнем орех.

— Я говорю, — продолжал писарь, — васкбродие, позвольте мне в отпуск! А он: я, говорит, тебе, собачий ты сын, такой отпуск задам — ты у меня своих не узнаешь.

— Там вас, Степан Егорыч, баба спрашивает, — сказала жена старшины.

— Какая баба?

— А я не знаю.

— Посылай ее сюда!

Вошла приезжая баба.

Старшина положил камень на окно и спросил:

— Что ты?

Баба поклонилась.

— Здравствуйте!

— Ну, здравствуй! Чего ж тебе нужно?

— К вашей милости.

— Не слепые, видим, что к нашей милости. Какое такое твое дело? — спросил писарь.

Баба подперлась рукой в щеку, посмотрела на старшину, потом на писаря, заморгала, заморгала глазами и повалилась в ноги.

— Говори толком! Что валяться-то? — сказал писарь.

Баба поднялась и, стоя на коленях, сказала:

— Детища моя отдана в чужие люди. Не найду.

— Ну так что ж?

— Нельзя ли в книжке посмотреть? Шпитоночка она.

— То-то вот, — сказал писарь, — дуры вы. Ходите безо вреда. Нешто не знаешь, грех в праздник ходить.

Баба молча поклонилась.

— Это не дело, — заметил старшина. — Надо время знать.

— Отцы вы наши сиротские! — шепотом сказала баба.

— Нечево — «отцы». Отцы, да не ваши, — отвечал писарь.

Старшина подошел к бабе и, покачиваясь над ней, сказал: «Вот вы грешите, а начальство за вас отвечай».

Баба, стоя на коленях, посмотрела на него.

— Вот что, — прибавил старшина и опять сел.

Баба встала и собралась было уходить.

— Ну да ладно, приходи уж ко мне в правление, — сказал ей писарь. — Беда мне с вами!

— Что станешь делать, — заключил старшина. — По глупости прощается.

Баба ушла.

На краю села стояла старая избенка, без крыши, с одним окном. У ворот торчала опрокинутая соха. В сумерки проезжая баба подошла к избе и постучала в окошко. Там кто-то закашлял и спросил:

— Кто там? Иди на двор!

Баба отворила калитку и вошла. По двору ходила овца. В сенях крыши тоже не было. На верху, в слегах***, копошились воробьи. Из избы слышался голос:

— Отыми, дверь-то отыми!

Баба попробовала было отпереть, но дверь была без петель и повалилась в сени.

В избе, на лавке, у самого входа, на зипуне, лежала больная женщина.

— Что ты? — спросила она.

Приезжая баба посмотрела вокруг и сказала:

— Писарь говорил: девочка у вас тут есть...

— Есть, есть девочка, хворает, как я же, замучила лихоманка. Ты мать, что ли, ей? Казенная она у нас. Коли мать — возьми! Самим есть нечего.

Больная встала с лавки, охая натянула зипун и вышла в сени, говоря:

— До нового хлеба далеко, а старый еще к святой приели. Все кое-как, кое-как, по чужим людям; да хворь-то пуще всего... О-ох! Вот она лежит. Парань! А Параня! Мать пришла, гляди-ка сюда!

В сенях, на доске, лежала в жару трехлетняя девочка, обернутая в тряпье. Больная женщина подняла мешок, которым была накрыта девочка, и показала ее приезжей.

*** Слеги — перекладки, жерди, на которые кладут крышу. — *Примеч. авт.*

— На вот, смотри! Она, что ли?

Девочка открыла глаза, с испугом взглянула на бабу и застонала.

— Не видать мне тут, — говорила приезжая. — Темно.

— Постой, я к свету вынесу. Паранюшка! Встань, ягодка ты моя! Головка болит, — говорила больная, подымая девочку и вынося ее на двор; больная села на порог, а приезжая припала к ребенку и торопливо стала его разглядывать. Девочка лежала на коленях, закинув назад горячую голову, с закатившимися глазами и раскрытым ртом.

— Ох, не знаю я так-то, — говорила баба. — Поверни-ка ты ее вот этак, на бочок, на правом боку родинка тут у ней.

— Постой, постой, — говорила больная. — Повернись чуточку! Вот так! Не бось! Мать тебе пирожка принесла. Не бось, милая! Что, есть, что ли?

— Нету.

— Ну, делать нечего. Видно, не она, — сказала больная и понесла девочку в сени.

Приезжая баба постояла на одном месте, поводила глазами по двору, потом подошла к двери, сказала: «Ну, прощай!» — и вдруг ударилась об землю и зарыдала.

— Дочка ты моя милая! Детища ты моя ненаглядная! — причитала она, лежа на пороге и ухватив обеими руками свою дорожную палочку. Котомка на ней тряслась, платок съехал с головы.

Больная женщина подошла к двери, посмотрела, посмотрела на приезжую, сама припала к ней и стала уговаривать:

— Ну, что ты? Ну, что? Дура! Дура! Не плачь!

— Ох, очень уж у меня накипело, на сердце-то накипело... Со вчерашнего с утра вот этакой крошечки во рту не было...

— Постой, я тебе хошь водицы принесу, — сказала больная и пошла за водой.

Баба между тем встала, оправилась и повязала платок.

— Ну, я пойду, — сказала она, хлебнув из ковшика воды.

— Куда ж ты?

— Нет, пойду. Не могу я здесь.

И пошла опять вдоль села, той же дорогой, какой приехала.



Николай Николаевич Златовратский

Белый старичок

Из народных рассказов

Н. И. Златовратский (1845—1911) родился во Владимире в семье чиновника канцелярии предводителя дворянства, дед писателя был священником. Златовратский окончил Владимирскую гимназию, а затем — Технологический институт в Петербурге. В печати дебютировал в середине 1860-х гг., трудился литературным поденщиком в столичных журналах. На протяжении 1870-х гг. покинувший Петербург писатель продолжал публиковать очерки и рассказы из крестьянского быта, идеологическим центром которых была апология общины. До 1884 г. постоянно печатался в «Отечественных записках», пользовался одобрением и поддержкой редактора журнала М. Е. Салтыкова-Щедрина. Для прозы Златовратского характерно сочетание фольклорных и сказовых элементов с фактографическим стилем. Рассказ «Белый старичок», позднее произведение писателя, вышел в журнале «Русское богатство» (1892, № 6).

В дамской мастерской, вечером, около большого стола сидели девушки-мастерицы и шили. Одна из них, высокая, белокурая девушка, худая и бледная, низко наклонившись над шитьем, неторопливо и тихо рассказывала:

— Когда вспомню я свои ребячьи годы — так, кажется, ничего-то для меня милее в жизни не было, как матушка да старый дед... Ну, об матушке я теперь говорить вам не стану — а то слезами изойду... Что говорить! Одно ей имя — труженица безответная... Я так думаю, что если есть на небе правда, то давно уж матушка моя среди самых чистых ангелов пребывает. Да так думали мы, что и на земле-то ей Господь невидимо помогал... А то где бы ей, такой кроткой, безропотной, силы взять!.. Была она высокая, красивая, да только худая, а нас у нее было мал мала меньше пять человек, и все-то девочки... Надо управиться! Да и не знали мы — покладала ли она когда рученьки: как я ни вспомню ее — все на ногах мне она видится, все торопится, словно невидимые крылья носят ее с ранней зари до поздней ночи... Ах, тяжело нашим матерям! Да уж и не знаю, есть ли кто на свете их праведнее, разве только мученицы, что за других свою жизнь кладут...

Батюшку мы только изредка видали: в работу он ходил на сторону, на завод. Словно гость он для нас был. Придет, бывало, на праздник — рубаха розовая, новая, жилет с разводами, сапоги светлые, с набором; принесет нам сластей, сам сядет в передний угол, шутит над дедкой, над матушкой, над нами... И нам всем как будто веселей станет!.. А там и опять уйдет на целые месяцы, и останемся мы с матушкой одни-одинешеньки, — да дедушка еще...

Живем мы так день за день, а не чуем, что беда у нас за плечами. Родила матушка шестую дочку — да и душу Богу отдала: стояла, как восковая свечка... Приехал батюшка, вошел в избу, взглянул на нас, малышей, да как хлопнет об полы руками, как грохнется на пол перед покойницей — так у нас от избы-то ровно стон пошел: ревом все в один голос... Ну, похоронили, поминки справили, тетка пришла помочь. Встали на другое утро; батюшка уходить собрался, говорит мне: «Ну, Феня, видно тебе такое счастье — сызмладости быть заместо матери... Да Бог, может, тебе воздаст за это... Хозяйствуйте пока с дедом, а там что дальше — видно будет...» — попрощался и ушел.

А мне в то время только что двенадцать годков минуло.

— Ну, Фенька, — говорит дедушка, — плохое нам с тобой житье будет...

— Ничего, говорю, дедушка, Бог поможет... Мамынька вон справлялась!.. (А сама думаю: хорошо еще, что ребенок-то умер тоже).

— Мамынька-то, чай, не тебе была чета, глупая! — говорит дед. — Ну да, поживем — увидим. Вот отец-то, поди, няньку к вам наймет, старуху, что ли, какую ни то приспособит... А то, натка-сь, покинул старого да малых!.. Разве так-то можно!..

Поворчал дедушка, побряхтел, взял ведро и пошел за водой. А я набрала щеп да сучьев в печь, поставила чугунок с картошкой, затопила и стою перед печью, на ухват оперлась: ровно как матушка-покойница... И на ребятишек прикрикну, и на кур цыкну — как быть в хозяйстве состою... Да так хозяйствовала, что, бывало, загоню всех малых-то к соседской старухе, а сама с дедушкой в поле помогать уеду. Так-то вот нас сызмладости нужда-то учит!..

Ну, живем мы с дедом, хозяйствуем, рук не покладаячи; с утра-то, с самой ранней зорьки проснешься, бывало, натянешь сарафанишко, да скорей к скотине; с молитвой — как матушка, бывало, — выгонишь ее к пастуху на улицу, а там за водой на ключ побежишь, а дедушка той порой уж хворосту, дров в печь наготовит, а там, только что с печкой управишься, накормишь малышей, глядь — надо на пруд бежать, рубашки перестирать... Да мало ли дела по семейству!.. К полудню уж ног под собой не чуешь... А все же нет-нет урвешь часок, сбегает к девкам

на улицу. А улица у нас широкая была, зеленая, веселая... Тут и вздохнешь, и посмеешься, и песен попоешь — и так-то сладко после того спится!..

Как раз на ту пору у нас на улице разговоры пошли, что будто с осени училище на селе будет, и что будто и нас, девок, учить будут. А это было для нас тогда такое диво, что бабки наши ровно от нечистого от этих вестей отплевывались. Да и самим нам, девкам, плохо верилось, а тут еще и парни стали подсмеиваться, что, мол, девок, слышно, будут в солдаты брать!..

Глядим, незадолго этак до Воздвиженья, стали наши старую волостную избу чистить да починять, под училище подгонять. А там, глядь, и учительша приехала, — так, совсем девушка простая, обходительная. «Ну, — думаем, и впрямь нас, девок, хотят в люди производить!..» Как будто и стыдно чего нам — да и лестно, и сердце как будто замирает; думаем, и нам, девкам, праздник пришел!

«Да только не мне, — думаю, — где мне время найти от такой семьи!.. Это вот кому на досуге».

Думаю так, а у самой уж зараньше слезы к глазам подступают, когда услышу, как учительша то с той, то с другой подругой знакомится, разговаривает, всех в ученье заманивает, матерей уговаривает!.. К Покрову и училище изготовили совсем, велели приходить всем — записываться, кто хочет... Шум пошел по всей нашей девичьей деревне: кто у матери новые рубахи да сарафаны просит, кто плачем плачет, кого не пускают, — просятся. Охота нам тогда всем была большая к ученью! Думаю, пойду и я, улучу минутку, взгляну хоть глазком, что у них там, у счастливых, делать будут...

Собрались всем селом, всю избу полным-полно заполонили. Учительша опрашивает всех, записывает, кого уговаривает, кому, по молодости, подождать велит. Вот почесть всех переписала, по скамьям усадила, а я стою в уголку, у двери, глаз не свожу: думаю, неужто ж так и домой мне идти, ровно сироте?.. А на сердце так у меня и вертит, так слезы и подступают. «Что ж, — говорю себе, — сирота и есть, коли родной матушки нет, такое уж произволение, значит, коли она на меня, малую, семью покинула. Без глаз как ее покинешь? Дедушка-то старик дряхлый уж, а сестренки все мал мала меньше. Надо при своем деле оставаться».

Думаю так, а тут учительша заметила меня и говорит:

— А ты, девушка, чья такая?

— Такая-то, — говорю.

— Что ж ты не записываешься? — спрашивает.

— Нельзя нам, — говорю, — потому, как я в семье большуха...

Гляжу, учительша усмехнулась, а все ребятишки так грохотом и раскатились. И так-то вдруг мне стало чего-то и стыдно, и обидно; залилась я слезами, да вон из избы.

Слышу, окликает меня учительша, а я ног под собою не чую.

— Чего такое, — говорит дома дед, — что это с тобою, девка? Али чего испужалась: лица на тебе нет?..

Тут я ему во всем и открылась, — а ведь до той поры все в себе держала, тоску-то свою.

— Ну, — говорит дедушка, — погодь, девка, — придет отец, мы ему спуску не дадим... Не дело это, не дело... Сам, поди, по трактирам чай распивает, а нет, чтоб о семье настояще порадеть: старуху бы, что ли, какую в няньки приспособить... Натка-сь, оставил каких хозяев — старого да малого!.. Погодь, девка, погодь — мы против него с тобою бунт поведем; скажем: дедке, мол, пора умирать, а девке расцветать, а ты, мол, какое это поведенье взял?

В скорости и тятенька на праздник пришел, веселый такой. Стал ему дедушка выговаривать, а он только покрикивает:

— Ладно, — говорит, — что ж, и няньку найдем!.. Ладно, — говорит, — и в ученье поведем!.. Не люди мы, что ли?

Дедушка крестится, а у меня так сердце и прыгает.

Сходил батюшка к бобылке одной, сговорился с ней, а на утро велел мне принарядиться, сам новый кафтан надел и повел меня в училище. Увидали меня ребятишки, закричали все в один голос: «Большуху, большуху привели!» Словно обрадовались чему, и я сама от радости дрожу... Так с того времени и прозвали меня большухой! Да, пожалуй, и точно, что я изо всех их большухой была: ростом я была высокая, держала себя скромно, речь была степенная — ну точь-в-точь матушка-покойница. С ранних-то забот скоро растешь!..

И такое-то для меня тогда времечко настало, что, кажись, и не увижу уж я ничего лучше, да и вспомнить, кроме него, другого нечего, разве что только родимые матушкины короткие ласки...

Учительша у нас была, говорила я, простая, добрая да веселая. Бывало, в школу-то идешь, ровно в церковь на праздник. А то пойдет, бывало, гулять со всеми нами, выйдем за село — песни запоем, и она с нами поет, беседы ведет, а то бегать в горелки пустится!.. А как ученье шло — и не примечала я: к Рождеству уж я деду и книги разбирала... Мне все думалось: «Кабы матушка жива была родная, как бы я ее потешила!..»

И вдруг Феня смолкла, низко наклонилась над шитьем и залилась тихими, безмолвными слезами. Трудно было сказать — были ли это слезы умиления при воспоминании о немногих светлых днях, или же слезы скорби и грусти. Она наскоро отерла лицо платком, вздохнула, принялась снова за работу и, помолчав, продолжила свой рассказ:

— Да не надолго пришлось нам вздохнуть. Как раз на Рождество пришел батюшка, — только пришел хмурый да грустный; говорит, что чуть не на половину рабочих рассчитали: куда теперь пойдешь? А тот год и без того у нас был трудный: по всей округе хлеба не задались. До праздника еще покупной хлеб стали есть. Конечно, у кого справный двор был да работников в семье было много — тем еще можно было и без стороннего промысла перебиться; а у нас и всего земли-то было на одну батюшкину душу — значилась прежде другая, на дедушку, да и ту отобрали по старости его лет, а на нас, девок, от веков, должно быть, ничего не полагается, как добрым людям. Что из того, что нас у тятеньки пятеро девчонок было — только одна надсада!.. Нет нам ни привета, ни и воли, ни доли... Еще счастье, коли на чужие корма к мужу попадешь!..

Прожил батюшка три дня, а там и говорит:

— Ну, девка, оставайся опять с дедом, хозяйствуйте по-прежнему... Знать, такая ваша доля! А я пойду промысла искать... Куда судьба заведет — сам не знаю!..

С тем и ушел; и бобылка ушла от нас — Христовым именем побираться, и остались опять мы с дедом одинешеньки, и стало нам будто вдвое горше против прежнего...

— Эх, — бывало, вздохнет дед, — плохо ваше, девки, житье на миру, а без матери — так и слов про вас нет!

Коротаем мы с дедом зиму, поели все, что было, и деньги, ка-

кие батюшка оставил, извели; стали должаться, одежду распродавать втридешево, — а то уж дошли до того, что дедушка по богатым мужикам стал просить: что выпросит, то и ладно, тем и живы. А от батюшки все нет и весточки. Скотинку накормить — и ту нечем стало. Загрустили мы с дедом, запечалились, духом упали... Стал было дед о нашем житье на миру заговаривать: куда тебе! Там свой содом!.. У нас, кричат, у самих поджилки подвело, — а он тут, старый, с девками толкается!.. Нам и на парней-то земли не хватает, — а он, натко-сь, что выдумал: на девок земли ему отведи!.. Да где это когда было видано!..

Кричат мужики, с голодухи ровно оглашенные друг на друга бросаются; кто победнее — богачам завидует, кто побогаче — еще того пуще хочет жадность утолить... Словно как бы неладно что-то стало на миру.

Махнул дедушка рукой — и на мир не стал ходить.

Было уж это так после масленой, как теперь помню — в самое прощенное воскресенье. Сидим мы в избе; я около хозяйства хлопочу, малыши меж собой по лавкам возятся, а дедушка из лыка веревки плетет. Только слышь, кто-то в теплое окошко будто подомом: тук! тук! тук! Отворил дедушка окошко и спрашивает:

— Чего, православный, надо?

— Милостыньку, — говорит, — Христа ради!

Гляжу, а дед все смотрит в окно, ровно оторваться не может.

Слышу, опять нищий говорит:

— Подайте, — говорит, — православные, изголодал.

— Да ты, — спрашивает дед, — откуда, старичок, будешь?

— Издалече, болезный, издалече; исходил полцарства, а ско-ро ли Господь домой угодит — того и не ведаю.

— То-то, приметно, не из здешних. Ну-ка, Феня, — говорит мне дедушка, — отрежь старичку ломтик.

— Дедушка, — шепчу я ему, — знаешь, поди, последний ведь у нас коровашек.

— Ничего, — говорит, — девка, не жалей. Старичок-то больно дряхлый, а издалече... Этому старичку не жалей. Прими, — говорит, — дедушка, Христа ради!

А сам высунул в окно и все ему вслед смотрит.

— Да, ты, — говорю, — дедушка, избу настудишь, чего все смотришь?

Закрыл дедушка окно, а сам головой все мотает.

— Ты, — говорит, — девка, помалкивай... Этот, — говорит, — старичок-то неспроста... Пойду-ка, — говорит, — я еще за ним погляжу.

Одел кожух и пошел за ворота. А я все думаю: что это дед в нищем старике приметил?

Вернулся дед.

— Ну, верно... Неспроста этот старичок, — говорит.

— А что, дедушка?

— Годи, девка, — того гляди, к весне большое дело окажется...

— А какое дело-то?

— Дело-то?... А почему знать? Может, такое дело пойдет, что и на вас, девок, землю назначат... Всех поровнянут... Вот какое дело может в миру статься... Ты только, девка, помалкивай, — говорит дед, а сам все по избе ходит да головой поматывает.

— Да какой такой он, старичок-то? — спрашиваю.

— Вот то-то и есть, что не из простых... Разве бы я тогда стал говорить?... А это уж верно неспроста... Какой он, старичок-то, был?... А весь он был белый, старичок-то, вот ровно снег; волосы длинные, по плечи, белые-белые, борода большая — тоже вся белая — и брови белые... Ну, вот от снега не отличить... А сам в лапотках, в тулупчике коротком, веревочкой, опоясан. А глаза-то, девка, вот ровно небушко, голубые, да такие-то жалливые, такие-то ласковые... Хочу-хочу в него взглядеться, а не могу: так это он меня глазами-то за сердце и хватает... Да это верно, что он... Другому такому некому быть.

— А кто же это такой он-то? — спрашиваю.

— Ну, это, девка, еще надо подумать — сказать ли тебе... Тоже про это зря слова не молви... Так-то-сь... Кто-е знает, — говорит дед, — хватит ли у тебя ума-то на это дело... Девка ведь ты, — говорит.

— Так что ж, — говорю, — дедушка, что девка: сам говоришь, что всех поравнять надо. Нонче вон уж и нас, девок, подряд с парнями учат.

— Верно, верно... Пожалуй, что и так, — говорит. — Ведь и я в ту пору не ахти был разумен, как дедушка-то мне об нем сказывал; одногодка с тобой, поди, был.

— А что ж, — спрашиваю, — к добру этот белый старичок проявился, али к худу?

— К добру, девка, к добру... К чему ж я тебе и сказываю?.. От него зла вот не на эстолько нету...

Слушаю я, а у меня так вот сердце и прыгает; думаю: «Господи, хоть бы на часок нам, бедным, просветлело!».

Сел дедушка опять веревки сучить, а я молчу, думаю: пускай лучше сам все расскажет, а то еще заупрямится.

Сучит дедушка веревки, на пальцы поплеывает, а сам все раздумывает: и хочется, видно, ему все сказать, и боязно.

Помолчал-помолчал, а потом и говорит:

— Вот что, девка, скажу я тебе, пожалуй, только — смотри — молчок... Заклятье с тебя возьму, чтобы единого слова никому не проронить до поры до времени. Слышь, девка?.. Потому скажу тебе, что знаю тебя по матери: скромна ты и степенна... Вот так же заклинье и мой дедушка с меня взял. Говорил я, что одногодка тогда с тобой был. Тоже вот горе с ним избывали вместе... А времена тогда были лютые, пожалуй, что и не в пример нынешним. Сидим это вот мы так же, да свое горе-злосчастье распутываем, дед и говорит:

— Плохи, — говорит, — ребята, наши дела: вот уж кои веки все жду-пожду, а белый старичок в миру не проявляется!..

— Какой, мол, такой белый старичок? — так же вот пытаем.

— Э, — говорит, — ребятишки: кабы не было на свете того старичка — так не было бы, может, для нас и самого света — солнца Божьего!.. Им, слышь, только и жизнь в мире красна... Так, слышь, об нем старые люди понимали... А откуда этот старичок в миру проявляется — о том неизвестно, только с извек он неустанно по матушке-земле ходит; ходит он по градам и весям, по заморским сторонам и по нашим крестьянским деревням. Только не знает никто часа-времени, когда он в каком месте проявится. И бродит этот старичок неустанно по грешной нашей земле, и нет ему, старенькому, покою; все-то забота ему об людях, об нас грешных, все-то гонит его из края в край тоска-жалость; бежит он и в жаркое лето, и в студеные зимы, бежит от селения к селению, бежит — подогом помахивает, а сам нет-нет да припадет головой к земле — и слушает: с какой стороны текут-шумят, что реки, слезы горькие; откуда стоном

стонет горе тяжкое. Где лютует над людьми злоба-ненависть, где неправда царит великая, — в ту сторону и старичок побежит. «Люди Божии, очнитесь, на себя посмотрите — обернитесь! Загляните в свои душеньки!» — заговорит такими словами старичок, а сам подогом под окнами постукивает. «Это я, старичок, пришел, белый старичок пришел! Собирайтесь, добрые люди, на мирское дело, на великое!.. Одумайте свои дела, свои помыслы! Очнитесь, вокруг себя оглянитесь! Сам Господь меня послал на ваше спасение!..» Покрикивает старичок, а сам все от избы к избе переходит, да подождом постукивает. Затревожатся селяне, заторопятся: у кого совесть нечиста — белей полотно станет, а кто горькими слезами от нужды-неправды обливался — заплакал слезами теплыми, радостными. Не успеет старичок у последней избы стукнуть — откуда что станется: улицы, площади народом переполнятся, заговорит по миру правда громким голосом, возликуют горькие, обиженные, сироты, вдовы голодные; устыдятся богачи-начальники, почувят в груди скорбь-жалость, — и поделит мир землю-матушку поровну, по правде, по справедливости. И вздохнут люди жизнью истинной, божеской!..

— Вот, девка, как нам дедушка-то рассказывал про старичка, рассказывал, ровно песню сказывал.

— Ну, что ж, мол, дедушка, — спрашиваем его, — сам-то видал ли ты этого старичка?

— Нет, — говорит, — ребяташки, врать не хочу — сам не видал, а слышать слышал, что-де проходил белый старичок и по нашим местам. Да и точно: помню, раза два на моем веку, чуть не со всей округи народ сходил на дележку, на мирское равнение. Слышал, что скликали со всего царства народ и в самую Москву, — потому почувял, говорят, белый старичок, что быть большой беде русскому царству, что дошла в нем неправда до последнего, что грозят ему иноземные враги разорить его. Прибежал, слышно, старичок на Москву и ударил в самый наибольший колокол, и разнесся звон по всему русскому царству; очнулись, прибодрились люди мирские, выбрали от себя честных и мудрых мужей, посылали их на Москву — всему царству порядок строить, правду укреплять!.. Так вот он, девка, какой-такой белый старичок-то! Правду ли я говорил, что без него нам, бедным, не мил был бы и свет солнца Божьего!..

— А сам-то ты ж, дедушка, видал ли его? — спрашиваю.

— И я врать, говорит, девка, не хочу: сам не видал, а слышать слыхал... И в мое время были дела не иначе, как через белого старичка... Вот перед волей на Москве тоже, слышно, звон был... Вспомнил старичок и русскую землю, и нас бедных — пришел, тронул людскую душу!.. Так-то вот, девка, думаю я: быть ему скоро и опять у нас... К тому идет!..

— Так это он, что ли, приходил? — спрашиваю.

— Может, и он... Верно, этот старичок неспроста.

— А что ж, дедушка, ни звону, ни народногобору не слышать?

— А глупа еще ты, девка; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! Может, еще он, старичок-то, и не раз пройдет. Как душа-то людская зачерствеет — так ее тоже не разом тронешь!.. Ой, девка, девка, молись, авось Господь смиляется над нами!..

Вздохнул дедушка, поохал, погрыз черствого хлеба с водой — и полез на печку. А я как сидела у стола, так все и сижу: нейдет у меня из головы белый старичок. И батюшка вспоминается, как он, может, тоже голодный, на одном хлебушке перебивается, али, может, бродит во всякую непогодь из города в город — все работы ищет — и себя с сестренками да с дедушкой вспомяну — чем мы будем завтра сыты, не миновать нам, должно, Христовым именем побираться. Да и мало ли у нас теперь на деревне таких! Вон в соседней деревне почесть половина в кусочки ходит... Подвяжем завтра на плечи котомки, да и пойдем... Ой, Господи! Царица небесная!.. Стыдобушка!

Всплеснула я руками, сама на образ смотрю... Не помню уж, долго ли я так сидела-сидела да и заснула... И что же, девушки, снится мне чудное дело: чудится мне, будто откуда-то издалека звон идет, такой звон веселый, радостный, как на светлое воскресенье, слышу — вот он все громче да громче, все ближе да ближе наплывает, и чем ближе звон, тем все светлей да светлей становится; вот и изба наша вся загорелась — так в ней стало светло и радостно: потолки высокие, чистые, кругом простор, стены, что золото, светятся, и запах от них идет, что из леса весной. А я все, будто, никак проснуться не могу. Только — вижу — подходит ко мне дедушка, такой светлый да радостный, рубаха на нем чистая-чистая, борода белая, лу-

чами расчесана, словно к причастью он сготовился, подошел и говорит: «Вставай, Феня, молись!.. Белый старичок пришел!.. Надо на народ выходить». А сам весело так улыбается и крестится. Вскочила это я — меня так светом всю и обняло, что глаза заслепило. Глянула в окно, а уж на улице народ валом валит... И все такой бодрый, веселый, праздничный, прибранный да разодетый; вот и девоньки наши показались, все гурьбой идут, и впереди с ними учительша, — и вся-то она в белом, и будто лицо у нее стало еще светлее, еще добрее... «Что же это я заспала, — думаю, — как же это так? Да, нет, должно, им не до нас, бедных; нам для праздника и нарядиться не во что! Что своими обносками на глаза лезть». Думаю так, а уж ко мне сестренки подбегают, — и все-то нарядные, в рубашках белых да в сарафанах кумачных, кричат: «Одевайся, сестрица, скорее!.. Вот, говорят, и наряды твои». Оделась я наскоро, не помню, как побежала на улицу с сестренками, нашли мы наших девушек, идем вместе, а народу на улице будто видимо-невидимо, и уж вместо изб будто все высокие каменные хоромы, под железными крышами, и видим мы: выше всех стоит над народом белый старичок и держит в руках большую зажженную свечу и так ласково на всех смотрит и говорит: «Это я, сам Христос, к вам пришел, к вам, труждающимся... И принес, — говорит, — я к вам любовь да свет. И вот, — говорит, — от сего дня она будет с вами!». Смотрю, а около него стоит наша матушка — такая то ли светлая да веселая и бодрая, в чистой, ровно снег, одежде, — и Он ей в руку свечу отдает... И будто взял Он ее за руку и ведет к нам: «Вот, — говорит, — ребятки, ваша мать. Теперь уж вас с нею никто не одолеет, не изведут вас ни напасти, ни труд, ни злые люди, только бы свеча не погасла...».

Тут я и проснулась. Гляжу, а солнце мне так в глаза и режет. «Дедушка, — кричу, — дедушка! Белый старичок пришел... И маменьку с собой привел!..».

Услыхал это дедушка, слез скоренько с печи, сам крестится. «Где, где?» — говорит. А уж утро совсем, и солнышко к нам в окно так весело светит; на улице стадо собирается, коровы мычат, овцы блеют; пастушок под окнами подошжом постукивает... Тут-то я и очнулась; очнулась, и так мне стало чего-то больно и жалко: нет с нами матушки, нет!.. И залилась я горь-

кими слезами, реву-разливаюсь... Дедушка утешать меня принялся: «Не плачь, говорит, девка, этот сон тебе тоже неспроста. Вот, помяни мое слово: на твоём веке все сбудется...».

И что же, девушки, хоть и горько мне было, а после дедушкиных слов ровно во мне что поднялось, будто, как у матушки, невидимые крылья у меня выросли, откуда силы взялись; утерла я наскоро слезы и побежала скотину убирать; убрала наскоро скотину, умылась, причесалась, на голову новый платочек повязала (и сама хорошенько не пойму — что это я делаю: ровно за меня кто все одумал) — и пошла к старосте.

— Ты что, говорит, девка, спозаранку?

А у меня откуда-то храбрость взялась:

— Так, — говорю, — нельзя, Прохор Петрович: у меня вот, — говорю, — на руках мал мала меньше четверо да дедушка-старичок, а пропитанье у нас дошло до последнего, и взять нам уж больше негде.

— Так что же, — говорит, — мне делать-то?

Сам удивляется.

— А то и делать, — говорю, — что надо вам мир собрать да обдумать наши дела, да помочь нам назначить... Потому в старые времена никогда не полагалось, чтобы на миру люди от горя-нужды пропадали...

— Э, — говорит, — девка! Это в старые времена было... Не такой нынче мир...

— Нет, — говорю, — Прохор Петрович, — люди, слышно, всегда были одни, только надо душеньки им тронуть... А мы, — говорю, — у мира в долгу не останемся...

Говорю так, а сама от своей храбрости трушу да дрожу... Подивился на меня староста, посмеялся, головой покачал.

— Ладно, — говорит, — девка, соберу мир; пытай сама, ходатайствуй за себя...

Точно не обманул, собрал весь мир: порешили назначить помочь. И сама, девушки, до сих пор дивлюсь, откуда у меня дух этакой взялся, откуда таких слов набралась... Так, думаю, оттого это, что все белый старичок у меня из ума не шел: как живой, стоял он передо мной, такой добрый да ласковый, — никакой-то боязни при нем не чувствуешь, — словно он это меня за руку водил.

Н. Н. Златовратский

Что значит надежда-то!..

Ну, в скорости и батюшка объявился. Попенял было ему де-душка, а он и говорит:

— Что ж, — говорит, — и самому не сладко было. Совсем оголодал. Моли Бога, что совсем не загиб... А теперь вот, — говорит, — в городе в дворниках пристроился... Малым ребятам, — говорит, — бобылку опять найму — живите здесь как ни то, а ты, Фенька, собирайся со мной, пора тебя к делу пристроить в городе.

Вот и коротаю я с вами теперь свой девичий век... Вот и судьба моя вся тут. А какова она — хорошо и сами знаете. Дедушка-то помер, а батюшка мачеху взял городскую. Теперь уж ему отсюда не выбраться в родные места!..

Феня тихо всплакнула и замолчала.

— А это, Феня, должно быть, тебе одно мечтание было — белый старичок-то, — заметила грустно одна из девушек. — Может, это о болезни твоей сон-то был.

— Может, и мечтание... Только я так думаю, не даром же люди говорят об этом... Мне вот, девушки, все и теперь еще этот белый старичок представляется... Да он придет — верьте моему слову, девушки; ведь я его как живого видела!.. Только уж мне-то его не дожидаться, чую я это... Ну, да что ж, вы за нас порадуетесь!.. А мы с маменькой на вас оттуда будем смотреть да радоваться!..

Крестьянские дети

И. А. Куцевский. Наши дети

Г. И. Успенский. Голодная смерть

Ф. Д. Нефедов. Перевозчик Ванюшка

С. Т. Семенов. Шпитонок



Иван Афанасьевич Кущевский

Наши дети

И. А. Кущевский (1847—1876) происходил из дворянской семьи, детство провел в Сибири. В 1864 г. переехал в Петербург, поступил вольнослушателем в университет, но был вынужден бросить обучение из-за отсутствия денег. Работал кузнецом, кочегаром, матросом. В середине 1860-х дебютировал в печати. Сотрудничал в демократических изданиях, прославился вышедшим в некрасовских «Отечественных записках» романом «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871). Пользовался поддержкой и одобрением М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рассказ «Наши дети» вошел в состав сборника Кущевского «Маленькие рассказы. Очерки, картинки и легкие наброски», опубликованного в 1875 г.

В то время, когда я обмакиваю перо в чернильницу, в открытое окно дышит прохладой свежая июньская ночь; деревья из зеленых превратились в черные и, не шумя листвою, тихонько, чуть заметно шатаются, точно не от ветра, а так, сами собой; в темноте едва можно различить желтые дорожки сада; по крыше стучит бойкий, маленький дождик... Хорошо сидеть в такое время в уютной комнате, когда горит перед тобой лампа с абажуром, около которого вьются разные мухи и мошки, и — работать, не смущаясь тем, что град или дождь на улице. Чувствуешь самодовольство победителя над природой; как она не злись, а ничего со мной не поделает: лей проливной дождь, сыпься со стуком полудюймовый град, греми гром и сверкай молния, я не забуду поставить запятой ни перед одним вводным предложением.

Гордое сознание себя победителем природы, радостное чувство своего торжества над ней, может быть, и законно, а уж во всяком случае небезосновательно; но рядом с этим чувством в нас часто шевелятся подловато-горделивые мысли о своем личном торжестве над своими братьями: «Проливной дождь, я сижу в теплой непромокаемой комнате и пью чай с коньяком, а сколько людей не имеют ни пищи, ни крова: а я, я сам себе сумел устроить все это!» — клянусь, у меня нет и тени таких мыслей теперь, когда я слушаю барабан дождика и смотрю в окно на задумчивую темноту засыпающих деревьев, когда передо мной проносятся тени бесприютных, бледнолицых, оборванных, голодных страдальцев, беспокойно размышляющих при наступлении сумерек, в какой канаве им можно будет прове-

сти ночь. Нет! Я не радуюсь тому, что богаче их. Мне даже как будто чего-то совестно, как будто я чувствую себя в чем-то виноватым, как будто мой шелковый халат, мои белые чехлы на мебели, мой бронзовый Дон-Кихот, поддерживающий лампу, мой ореховый письменный стол, моя малахитовая чернильница являются в качестве прокуроров и обличителей самых жестоких и красноречивых, а часы будто бы бесцеремонно чикают: «Виновен! Виновен! Виновен!». Мой адвокат — практический разум — лепечет только какие-то глупые извинения, не касающиеся существа дела, и строгие присяжные, заседающие в моей совести, перестают колебаться в моем обвинении...

Полночь. По-прежнему позвякивает дождик, точно кто бросает мелкую крупу по крыше, деревья еще стали черней; дорожек совсем невидно. Как вы проводите эту ночь, бесприютные бедняки — где вы, спите ли вы? Спите ли вы в холодных, но покойных могилах, подобно лейтенанту Курцу, устроившему подвижный ночлежный дом на большой рыбацкой лодке, которую он не называл иначе, как «мой беспушечный корабль “Не зевай”»; спите ли вы в теплом, тюремном углу, подобно купеческому сыну Матюшину, спавшему прежде в клоаке под дамбой Тучкова моста; спите ли вы на позорном ложе, подобно девушке Фене, ночевавшей прежде за бойнями, вместе со своим маленьким братом и полусотней огромных бездомных собак, которые грели бездомных ребят своими мохнатыми телами, спите ли вы на соломенном тюфяке в сумасшедшем доме, подобно юнкеру Кузьмину, и обдумываете, впросонках: какие вам следует завтра делать глупости, чтобы вас не прогнали из теплого помещения и не заставили опять ночевать в яме у кирпичных заводов, из которой выбрана глина — или песок, или земля — Господь знает! Но где бы вы ни спали, несчастные, я не радуюсь тому, что сплю при лучших обстоятельствах, чем вы, и вспоминаю о вас не для того, чтобы дразнить свое самолюбие мыслью, что я умнее вас устроился в жизни. Намереваясь описать здесь виденные мною довольно оригинальные петербургские ночлеги уличной гольтыбы, я, прежде всего, посоветую моему читателю, если он читает мой рассказ, лежа на пружинном тюфяке, не потягиваться радостно, в сознании своего блаженства, при виде картины несчастий своих брать-

ев. Кто знает, что будет с нами, — всегда ли при нас останутся наши пружинные тюфяки? Кроме того, я хочу заверить вас честным словом, что не буду рассказывать сказок а la Эжен-Сю или Всеволод Крестовский. Я опишу только то, что видел собственными глазами. Очень может быть, что читатель, чистый петербуржец, спросит меня: «Какая надобность беднякам ночевать под кустами и стогами сена, во ржи, в канавах, на постройках и проч., когда в Петербурге есть возможность ночевать в тысяче мест: на постоялом дворе, в ночлежном доме и, наконец, в части». На постоялом дворе и ночлежном доме, правда, требуют деньги, а в часть пускают бесплатно, но... требуют паспорт. У другого он имеется, да нельзя его показать; посмотрят: лейтенант Курц разыскивается за растрату чужого плэда — и прощай свобода! О постоянных дворах и говорить нечего: пятаки случаются у бедняков по разу в неделю, в особенности зимой, когда нет никакой работы. И вот они расселяются кой-как по разным норам, как какие-нибудь Робинзоны: нужда понуждает их на выдумки, и эти выдумки, надо сказать, часто бывают не лишены остроумия.

Вероятно, до сих пор жители Петербургской стороны, а в особенности торговцы Сытного рынка, помнят умершего лет десять назад отставного губернского секретаря Васильева, прозванного «кустом». Он служил когда-то по полиции, и несмотря на то, что давно потерял возможность кому-нибудь вредить, к несчастному никто не хотел питать никакого сожаления. Его, правда, ради потехи поили водкой, но никто никогда не подумал кинуть ему хоть какие-нибудь негодные стоптанные галоши, чтобы он не ходил босиком, кинуть какую-нибудь тряпицу, чтобы он мог прикрыть свою наготу. Каждое утро он обвивал в Александровском парке свое голое тело травой и зелеными ветками и двигался в рынок, как куст, потешать торговцев: ему мазали лицо масляной краской, заставляли за осьмушку водки лаять до двухсот раз по-собачьи, нанимали за ту же цену пройти по ряду с железным ведром, надетым на голову, били по ведру кулаками, так что края ведра врезывались в плечи: «Угадай, кто ударил — две копейки серебра!»

У этого несчастного было двое детей: сын Миша, десяти лет, и дочь Феня, лет семи. Их все, так же, как и отца, презирали

и ненавидели, как гадин. Змею даже с выбитыми зубами полюбить трудно; так никто не мог полюбить и Васильева. Только изредка одни женщины-торговки давали ребятишкам кой-что совершенно негодное из платья, так что они могли прикрывать свою наготу не растениями, а какими бы то ни было все-таки мануфактурными изделиями, вроде марли, содранной с мебели, рваной рубашонки, суконной кофточки и проч. Дети ходили иногда за отцом, а чаще на стороне просили милостыню. Отец всегда отбирал у них деньги, если они не успевали их спрятать, и истрачивал их на водку. Я знал этих детей, когда жил около Сытного рынка, ласкал их и иногда покупал им фунт ситника или трехкопеечный лавочный пирог с печенкой и щекой.

Отец умер, замерз где-то пьяненький, спрятавшись для ночлега под разломанный тротуар.

Через три года мне пришлось встретиться с его детьми, Мишей и Феней — и встретиться, сравнительно, при моих блестящих обстоятельствах. Дело было зимой; мой приятель Фотий Кравцев получил от родителей пятьдесят рублей, и мы с ним шли по набережной Фонтанки истинными козырными королями. Бедный Фотий протрудился здесь семь лет, чтобы сделаться лекарем и быть убитым хивинцами при какой-то ничтожной стычке, о которой даже не было напечатано в газетах. Я не сомневаюсь, что он сам был виноват в своей смерти: он всегда лез вперед. Так случилось и тогда, когда мы шли по Фонтанке. У перил стояли нищие — девочка и мальчик, какой-то юнкер и какой-то молодой человек в шляпе набекрень. Оба хохотали.

— Ну, кто лизнет, тому — гривенник! — говорил юнкер.

— Я лизну, — решительно серьезно сказал мальчик и приложил язык к промерзшему железу перил.

Язык, конечно, прилип, и несчастный закричал от ужасной боли. Еще громче его закричал мой Фотий, бросившись со своей дубиной на шутников, которые благоразумно пустились наутек.

— Что делать с мальчиком?

А мальчик стоял с прилипшим к железу языком, плясал ногами и плакал из всей мочи. Девочка тоже плакала; на голове ее был навязан, вместо платка, грязный кусок марли; она отирала слезы концами этой тряпки; кофточка с большой женщины, юб-

чонка с оборкой, босые ноженки, которые она подымала одну за другой: на обеих вместе она стоять не могла, стояла попеременно на одной ноге. По карим большущим коровьим глазам я узнал Феню. Значит, это Фотий оттирает снегом Мишин язык.

— Где вы теперь живете, Феня? — спросил я.

— Мы с собачками спим.

— Где же?

— За бойней. Там много собачек. Большие! И много там нищенских нас с ними спят: они добрые собачки! — звонким ровным и наивным голосенком ответила мне девочка, застенчиво вертя пальцами свою марлю и смело глядя на меня своими большими глазами.

— Клянусь всеми святыми, убил бы, если б догнал этих негодеев, — проговорил Фотий, освободив наконец Мишин язык от плена. — На толкучку!

— Слушай, мы пропьем с тобой сегодня всего рубль: я ассигновал на пропой пять: купим на четыре что-нибудь этим ребятишкам.

И начались у нас хлопоты с этими ребятишками. Узнав, что они спят с собаками, что собаки дают им приют в своем обществе и согревают их, Фотий вышел из себя.

— Одна собачка белая ляжет там ко мне на плечо, а другая собачка, тоже белая с черной мордочкой, ляжет на ноги, а третья ляжет на Мишу, а он подле меня, а рыженькая есть небольшая — та в головах у Миши спит, — звонким застенчивым и наивным голоском рассказывала девочка.

Фотий бесился. Он решительным образом объявил, что он не собака, а человек, и, во всяком случае, больше собаки обязан защищать свой вид — человека, иначе ему стыдно будет перед собаками. Ребятишки, к крайнему нашему стеснению, ночевали у нас две ночи. Они объедались булками и колбасами, а Фене Фотий купил даже какую-то куклу за пятак, чтобы она играла. Сами мы шатались с утра до вечера по разным благотворителям.

— Кого же вы желаете определить в наш серо-немецко-ярославский приют? — спрашивал какой-нибудь благотворитель.

— Детей губернского секретаря Васильева! — гордо отвечал Фотий.

— У нас принимаются только дети бедных родителей... Согласитесь, губернский секретарь!..

— Он умер, дети без пристанища!

— Все-таки... губернский секретарь! Извините, ничего для вас сделать не могу...

— Ско-оты! — ворчал под нос Фотий, и мы направлялись опять к какому-нибудь благодетелю, вроде господина Лазунова — и опять получили тот же результат.

Фотий из каждого подъезда выходил с жестокими ругательствами. В последний раз с жаром объяснив какому-то купчине, директору детского приюта, что он хуже собаки, потому что собаки давали приют детям Васильева, а он такового дать не хочет, отзываясь тем, что отец их служил при полиции, — Фотий, под наитием какого-то вдохновения, назвал себя болваном, ударил по лбу и вскричал: «А Гейнса-то мы забыли!»

Гейнс был медицинский студент, а мать его, мистрис Гейнс, управляла приютом для малолетних бедных. Мысль Фотия мне очень понравилась. Во-первых, мы во что бы то ни стало должны были избавиться от ребят, которые нас стесняли и кормить которых мы решительно не имели средств. Во-вторых, приют мистрис Гейнс был основан на самых хороших началах. Дети приходили туда в восемь часов утра — приходил всякий, без всяких формальностей; ребенка раздевали донага, если он был грязен, мыли в ванне, надевали на него казенное белье и платье, давали стакан горячего молока с ломтем хлеба и вели в класс. Ребенок оставался в приюте до 9 часов вечера, завтракал (хлеб с маслом и картофель), обедал (бульон, кусок говядины с хреном и что-нибудь еще: каша, лепешка, блин) и получал вечером перед уходом домой стакан сбитня с молоком и сухарем из булочной. После этого он должен был одеваться в свое платье, сдать казенное и отправляться куда он желает. Последнее обстоятельство нас очень смущало: где будут ночевать дети — неужели опять с собаками? Но я скоро сообразил, что у нашей прачки есть ребята, она живет в подвале и, верно, за рубль в месяц позволит ночевать нашим протеже, которых Фотий давно уже присвоил себе и не говорил о них иначе, как — мои дети, наши дети. Мистрис Гейнс даже засмеялась, когда мы обратились к ней с просьбой.

— Здесь абердинский приют... приходи кто хочет, лишь бы не позже восьми часов утра: и будет завтрак и обед... Меня нечего просить! Явятся тысяча детей, мы примем тысячу детей: слава Богу — у княгини М. и у графини Б. хватит средств... Они весь Петербург могут прокормить!

И вот определили мы Мишу и Феню в этот абердинский приют. Заплатили прачке вперед за месяц, купили им мочальную подушку, тюфяк и одеяло... И что же? Через две недели явилась к нам прачка:

— Не бывали у вас ребята?

— Нету.

— Пятый день не приходят: не знаю что и думать. Не оставили ли их за наказание в приюте: может, что набаловали — дело детское.

Все это время мы были решительно завалены работой, и нам некогда было справляться о наших питомцах. В этот же день мы все покончили и готовились поспражничать.

— Пойдем к Гейнихе! — решил Фотий. — Справимся: что сей сон обозначает.

Мистрис Гейнс приняла нас как добрых знакомых и даже упомянула что-то о чае, а потом выразила удивление: почему это наши дети не ходят уже целую неделю.

— Верно, у вас тут что-нибудь неладно, — откровенно ляпнул Фотий. — Иначе они не бежали бы из теплой квартиры, с мягкого тюфяка, от добрых людей, на голую землю, к собакам...

— Вы утверждаете, что у нас что-нибудь неладно? — надменно спросила англичанка.

— Не утверждаю, а полагаю.

— Покорнейше прошу разубедиться в своем предположении! Пожалуйте! — почти приказала мистрис Гейнс.

Класс. Скамеек наставлено видимо-невидимо: ни в одной аудитории я не видывал столько. И в этой обширной пустыне сидят четыре девочки в накрахмаленных коленкорových чепцах и в синих пелеринках и два мальчика в белых блузах, опоясанных лакированными ремнями. Лица у всех бледные, все смотрят загнанными и забытыми. Мисс Мэри, дочь мистрис Гейнс сидит и читает вслух какую-то английскую книгу. Я плох в английском языке, но догадываюсь, что она читала роман;

ученики, закрыв, по форме, кистями рук свои коленки, не отворачивали глаз от учительницы, но слушали ли они? Да и что было слушать!

— Мэри! — прервала чтение мистрис Гейнс. — Урок терпения. Садитесь, господа!

Мы сели вместе с мистрис Гейнс на пустую скамейку.

— Урок терпения. Пять минут, — не торопясь проговорила мисс Мэри, и подняла левую руку кверху.

Все подняли свои руки так же, как и она, и мы имели удовольствие любоваться, что не у одних ослов много терпения: никто не опустил своей руки раньше мисс Мэри.

— Урок внимания, Мэри, — самодовольно скомандовала мистрис Гейнс.

— Урок внимания, — проговорила мисс Мэри, и приложила указательный палец к носу, все тоже приложили; вдруг она мгновенно приставила к носу другой палец; все сделали то же, к великому восхищению мистрис Гейнс. Далее шли еще разные уроки, где дети по мановению руки прыгали, где хватали друг друга за плечи и пели: «Зайныка прыгал, серенький прыгал! Реги-да! Реги-да!» — и вообще — черт знает, что такое!

— Видите! Наш приют образцовый во всем Петербурге, — сказала нам на прощанье мистрис Гейнс.

— Недаром из него мои дети убежали к собакам, — мрачно ответил Фотий. — Вот этим учительницам хорошо бы дать добрый урок здравомыслия... Нет! Моя палка мала, потребен кнут!

Мистрис Гейнс совершенно справедливо сказала, что ее приют — образцовый приют. После этого я бывал во множестве приютов, но нигде не видал ничего лучшего: детей мучат без толку еще больше и жесточе. Мне кажется, что большая ошибка заключается в том, что воспитание несчастных, ради экономии, за ничтожное жалованье поручается женщинам, само собой разумеется, по большей части круглым невеждам и злым дурам из старых дев. Уж лучше бы брать в учителя просто-напросто бесхитростных дьячков, коли хочется сделаться благодетелем подешевле! Те выучили бы, по крайней мере, грамоте, а тут и этого нет: одно послушание, внимание, терпение; кротость, услужливость — и больше ничего. Очень нужны все эти прелести нищему!

Ночью мы с Фотием отправились разыскивать наших питомцев... Днем была оттепель, а к вечеру мороз: лепестки травы торчали, как проволочные, хрустели и ломались под ногами. Луна светит и от всего дает длинные тени. На пустынном берегу лежат до полусотни собак разной величины и чуть не все кидаются на нас с оглушительным лаем. Люди, спавшие с ними, вскакивают и бегут спасаться куда попало: думают — мы полицейские. Я не боюсь собак, иду спокойно; несколько псов уже начинают ко мне ласкаться; Фотий машет дубиной и ругается, его уже кто-то укусил. Вдруг раздается его радостный крик: поймал какого-то мальчишку за шиворот. На вопросы, при оглушающем лае собак, мальчишка показал, что он знает и Мишу и Феню, но что уж они третий день не приходят сюда. Этим должны были кончиться наши поиски наших детей.

Вскоре Фотия исключили из академии за невзнос денег за слушание лекций; он уехал в Москву, потом в Казань, и пропал у меня из виду, до последнего письма его матери, в котором она сообщает мне о его героической смерти на легком перевязочном пункте при неожиданной стычке с хивинцами. наших детей я также совершенно потерял из виду.

Прошло так года два. Иду как-то по набережной Ждановки и встречаю моего старого знакомого, развеселого лейтенанта Курца, который прослужил в русском флоте тридцать лет и был уволен за двукратное произнесение слова шпрендель, значение которого он объяснить отказался, потому что его не знал. Лейтенант нес целый вьюк в серой бумаге.

— На собственный мой беспущечный корабль «Не зевай»! — крикнул Курц. — Пять фунтов одной колбасы: с чесноком... Четвертная стоит на корабле запечатана, экипаж отъявленный, иначе нельзя — выпьют! Валяй! Лучше тебя мне гостя не найти! Идем! Сегодня у нас праздник! Певцы даже есть на корабле... Идем!.. Ну! Поднимай паруса! Посмотри хоть на устройство корабля-то!

— Пожалуй.

— Мы теперь, братец, рыбной ловлей занимаемся, — болтал Курц. — Превыгодная вещь! Только это — чур — секрет. Угадай, сколько мы этой ночью поймали? На сорок рублей одной сардинки, не считая десяти коробок либиховских консервов.

Услышав это, я невольно приостановился.

— Не ворует! Нет, не бойся! — воскликнул Курц. — Дело самое простое.

И он начал объяснять. «Простое дело» заключалось в том, что он на своем корабле подкарауливал казенный пароход, с которого топят на взморье забракованный заграничный товар; замечал места, где брошен товар, и при удобном случае вытаскивал его, конечно, с великими затруднениями, так как на судне «Не зевай» никаких водолазных принадлежностей не находилось, если не считать кульков, камней и веревок. Затем, конечно, товар по секрету продавался рыночникам по дешевой цене — и на корабле «Не зевай» устраивался праздник. Само собой разумеется, кораблю, занимающемуся такого рода рыболовным промыслом всего лучше было пореже попадаться на глаза полиции, а потому он редко бывал в городе; большей же частью гнезвился около самых глухих загородных берегов Невы; на ночь экипаж высаживался на какой-нибудь пустырь, вываливал свой корабль на берег, опрокидывался и ночевал под ним. Каково было мое удивление, когда певцами Курца оказались бывшие наши дети, Миша и Феня. Только это были уже не те боязливые загнанные нищенские дети, которых мы знали. Миша пресерьезно курил трубку, а Феня о чем-то звонко и уж далеко не застенчиво хохотала, качаясь на борту лодки. Они успели уже побывать в комитете нищих, который распорядился отдать их в ученье на какое-то несметное число лет: Мишу к портному, а Феню к башмачнику. Попадись ребяташки в хорошие руки, при кротком обращении, из них могло бы еще что-нибудь выйти. Но на них напустились с первого же раза: «Нищий, из комитета, под заборами ночевал, не жравши по неделе ходил», — и ребята сразу же очутились на положении собак, которые за кусок хлеба должны переносить все: тяжесть работы, побои, брань и всякие оскорбления и унижения.

— Только и слов: нищая да нищая! — говорила Феня. — Ничему не учат, заставляют полы мыть, лохани выносить... Ногой пнул меня в глаз: вот как глаз раздувши был целых две недели. А я сама без него полы могу мыть, мне еще за это деньги дадут. И ушла, да еще трехрублевку унесла! — с гордостью прибавила девочка.

— А меня хозяин все прасовкой по спине бил, — басом заговорил Миша. — Заставил дрова колоть, а я и ушел, и сарай полый оставил; дрова, я думаю, все повытаскали! — радостно захохотал он. — Пришел к бойне, а Федосья уж там! Ха-ха-ха!

Остаться долго на Курцевом корабле я не мог, так как им надо было засветло убраться от берега, поэтому, оставив детям свой адрес, я отправился домой. Нечего и говорить, что размышления мои не могли быть веселыми при виде этих детей, которых я знал когда-то действительно детьми, невинными божьими созданиями и которые теперь на моих глазах превращались, волею судеб, в нечто негодное и отвратительное — во вредных общественных паразитов. Кто виноват?! По адресу ко мне никто не пришел. Вдолге после свидания с детьми, я возвращался как-то осенью с дачи от одного знакомого, по совершенно пустынной местности, устал и прилег на траву. Миша шел мимо; ноги черные, босые, шапки нет; в зубах огромная тяжелая трубка, за пазухой рубахи наложено что-то, можно догадаться, что полуштоф и закуска.

— Миша! — окликнул я его.

— А! — ухарски засмеялся он. — Господин барин!

— Как поживаешь?

— Так себе, вашими молитвами — из кулька в рогожку. А наша Феня уж тово! — и он звонко стукнул ладонью об ладонь.

По всему надо было думать, что это обстоятельство не только не смущало его, но даже, пожалуй, радовало.

— А знаете, я шесть недель в исправительном высидел, — как будто с гордостью сообщил он мне. — Дозволите сесть возле вашей чести?

— Садись! Как же тебя исправляли в исправительном?

— Пеньку щипать заставляли... Весело там, только одно не понравилось... — Миша начал рассказывать мне отвратительнейшие и возмутительнейшие приапические сцены противоестественного разврата, на которые он насмотрелся во время своего исправления. Я прервал его.

— Где же ты теперь живешь?

— Тут с одним юнгарем, в леску, около кирпичного, в яме из-под глины.

— Дождик мочит.

— Нет; у нас навесик маленький сделан такой и в бок еще немного прорыто: сена туда натаскали: очень даже прохладно и хорошо, а казаки сюда совсем не заезжают... Да вон мой юнкарь идет, не может меня дождаться. Сапоги с одного пьяного смаклеровали, так я ходил продавать, — шепнул мне Миша, встал и пошел навстречу своему сожителю.

Они о чем-то пошептались. С непокрытой головой, в ветхом летнем пиджачишке, в брюках, связанных в тысяче местах мочалками и веревочками, подошел ко мне юнкер, расшаркался своими босыми грязными ногами и с важностью отрекомендовался:

— Отставной юнкер Петр Иванович Кузьмин, жительство имею здесь недалеко. Не угодно ли будет посетить «приют убогого чухонца и лес неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца», ха-ха-ха! Великий человек этот Пушкин!

Но принимая во внимание сообщение Миши относительно сапог, я решительно отклонился от любезного приглашения «посетить приют убогого чухонца», распростился и отправился восвояси.

В последний раз я встретил Мишу уже пьяным на Тучковом мосту. На этот раз он сам остановил меня.

— Здравствуйте! А я третьего дня только из срочной тюрьмы вылетел! — обрадовал он меня, размахивая руками. — С бельишком на чердаке попался, — конфиденциально и шепотом прибавил он, — еще хорошо, что без взлома!

— Где же теперь находишься? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Хотите, покажу квартирку? А? Пойдемте!

И вот я очутился под дамбой Тучкова моста, в клоаке, устроенном для протока воды в случаях наводнения. Одна сторона была плотно закупорена соломой, мочалами, сеном — и всем чем попало; мы влезли с той стороны, которая была открыта. На полу, на соломе и на всяком хламе лежали люди, фигуры которых едва можно было рассмотреть в полутьме; вонь, духота, и, несмотря на половину ноября, невыносимая жара; сверху грохот экипажей, говорить очень затруднительно. У меня закружилась голова. Я слышал только, что столпившиеся около меня люди громко смеялись, поздравляли меня с чем-то,

И. А. Куцевский

требовали угощения... Отдав им всю бывшую со мной мелочь, я с радостью выполз на свежий воздух, и тогда вздохнул свободно, когда перешагнул перила и ступил на панель.

Уже не так давно, я шел как-то по Невскому; молодая смазливая девушка дернула меня за рукав и звонко захохотала.

— Это вы? Не узнали! — хохотала она, вертясь передо мной и стараясь блеснуть своим шелковым платьем с бархатной отделкой.

— А! Это вы, Феня...

— Извините! Я не Феня, а Фанни... Фанни, — капризно и кокетливо поправила она меня.

— Где Миша?

— Совсем от рук отбился. Я его и на глаза к себе, негодяя, не пушаю... А я теперь в доме Максимовича живу, вот здесь... у нас весело. Заходите как-нибудь, спросите только Фанни большеглазенькую: сейчас укажут.

— Покорно благодарю.

После этой встречи я не видал больше наших детей.

**Глеб Иванович
Успенский**

Голодная смерть

Г. И. Успенский (1843—1902) вырос в семье провинциального чиновника. Учился в гимназии в Туле и Чернигове, затем в Петербургском и Московском университетах, но окончить курса не смог из-за недостатка средств. В 1860-е гг. сотрудничал с журналом «Отечественные записки». Написал несколько циклов очерков о жизни городской бедноты. Самый известный из них — «Нравы Растеряевой улицы» (1866). В 1870-е гг. сблизился с «Народной волей» и совершил несколько поездок за границу. С 1889 г. у Успенского развивается нервное расстройство, приведшее затем к сумасшествию. Окончил дни в больнице для душевнобольных в Новгороде. Рассказ «Голодная смерть» впервые был напечатан в журнале «Отечественные записки» (1877, № 6).

...Плохой клубный ужин был съеден, плохое клубное вино выпито; но небольшое общество, успешно совершивши и то и другое, не расходилось и продолжало сидеть за жиденским клубным столиком.

Пять человек, сидевшие за этим столом: медицинский студент, его сестра, сельская учительница, неудавшийся и скучающий своим фраком и белым галстуком адвокат, проклинающий свою газету фельетонист и так «просто человек», служащий в банке, — все это общество испытывало по окончании ужина только Петербургу свойственное вялое утомление — результат суетливого, но ни капли не интересного дня... Вяло велись разговоры, поминутно перерываясь длинными паузами и касаясь тысячи разнохарактернейших предметов, что не только не способствовало оживлению беседы, но, напротив, делало из нее какое-то несносное, не имеющее цели бремя... Так тянулось довольно долго, когда случайно кто-то из собеседников заговорил о самоубийствах. Грустная тема эта — как ни странно это покажется — вдруг оживила разговор: в самом деле, в последние годы мания самоубийства черною тучей пронеслась над всем русским обществом, и едва ли в нем найдется кто-нибудь такой, которого бы эта беда не интересовала, помимо беды общественной, еще и с личной точки зрения. У каждого беда эта унесла кого-нибудь, с кем была близкая или дальняя связь родства, близкое или дальнее знакомство.

Оживившийся разговор пяти клубных посетителей сразу показал, что вопрос о преждевременной смерти занимал каждого из собеседников едва ли не более всех других вопросов,

которых в таком обилии касался сегодняшний вялый, скучный разговор за ужином. Оказалось, что всякий подумывал об этом деле, и подумывал не раз, и у всякого был материал, разработанный каждым на свой образец, и разработанный довольно тщательно.

Случайно подвернувшаяся тема была так всем близка и интересна, что немедленно и единогласно было потребовано еще две бутылки клубного вина, что предвещало всеобщее желание толковать, и толковать обстоятельно, то есть предвещало еще две или три бутылки в окончательном результате.

Поддерживаемый первыми бутылками разговор пошел оживленно и бойко: припоминались случаи, виденные, слышанные, приводились всевозможные объяснения: ревность, любовь, запутанные дела, оскорбленное самолюбие, и проч., и проч., и вместе с тем пытались взглянуть на дело вообще, подвести итог своим наблюдениям, своим мыслям по этому предмету.

Крайне разнообразны были общие взгляды на коренные причины эпидемии самоубийств, но то обстоятельство, что мания эта могла появиться и разрастись только в настоящее время, — это всеми признавалось единогласно. Все были согласны, что новое время русской жизни было главною причиною к тому, чтобы началось это поголовное самоизбиение, и что главная, существенная черта этого нового времени — необходимость жить своим умом, самому отвечать за самого себя, необходимость, осевшая сразу сотни тысяч народу, благодаря крепостному праву со всеми его многочисленнейшими разветвлениями, в виде всевозможных родов дармоедства и дармобытия, не имевших ни возможности, ни сил, ни умения распознать в себе образ и подобие божие.

Фельетонист, проклиная свою газету и свою профессию, утверждал, и притом самым настоятельным образом, что холопство, вбитое в русского человека, — главная причина и корень всех ненормальных, безобразных явлений современной действительности. Несомненно одностороннее мнение это фельетонист обставил рядом нахватанных отсюда и отсюда доказательств, из которых вышло примерно следующее: русский человек до такой степени лично уничтожен, что совершенно

отвык видеть в себе человека, то есть разумное существо, созданное, как утверждают, по образу и подобию божью, имеющее право жить, дышать, думать и поступать; он утверждал, что замордованный русский человек ценит в глубине души только жестокость, несчастье, палку; полагает кровью и плотью своею, что нечто постороннее, жестокое, трудное и, главное, мало или даже почти непонятное есть его единственные и самые подлинные жизненные руководители, его судьба, предопределение; что замордованный таким образом русский человек, поставленный новыми порядками русской жизни в необходимость обдумать собственное свое положение, должен был потеряться, так как моменты, когда надо самому за все отвечать, в настоящие дни возможны, по крайней мере относительно мелочей личной жизни; мысль эту, то есть потерю русским человеком почвы под ногами, потерю им сознания законности и цели своего существования, охватывающую его в минуты, когда над ним не гремят громы небесные, когда его «не пугают» справа и слева, — фельетонист обставил примерами, взятыми и из личных наблюдений и из фактов общественной жизни, знакомых всем слушателям по газетам. Сгруппированные им факты производили впечатление не столько, правда, глубиной и тонкостью наблюдений, сколько поспешностью, с которой г. фельетонист выбросил их, один за другим, пред заинтересованной публикой. Он указал между прочим на ту странную черту, вообще господствующую во всем русском обществе, вследствие которой оно, это общество, не замечает и совершенно не видит, не слышит таких явлений, которые стоят у него под носом сотни лет, и вдруг начинает видеть и слышать все это, как только разрешат... «Почему это, — спрашивал он, — разные комитеты обнаружили такую страстную жажду делать добро болгарским и черногорским бедным отцам и нищим детям, когда у них на глазах явлений, могущих трогать те самые струны сердца, которые пробуждаются бедствиями Болгарии, великое множество, и притом сотни лет и каждый день? Одних подкидышей в том самом городе, где живут они, сколько мерзнет на церковных папертях, в подворотнях богатых купцов, сколько мрет детей по деревням, по крестьянским избам! А какое обилие нищих шатается по городу! Каждую субботу непременно какой-нибудь

благотель раздает по копейке на каждого нищего, и каждую субботу можно видеть тут, под боком, какое обилие этого народа, как он жаждет копейки, как он терпелив, ожидая ее, как он зол, когда ее перехватят другие... Кто не видал, как в кровь дерутся из-за этой копейки? А это непрерывное нытье за окном: “Па-а-адайте... Христа... ради... слепенькому... погорелому... убогому... нищему...” Ведь этот тихий стон слышит каждый из нас всю свою жизнь; ведь об этих подкидышах, об этих слепеньких и погорелых всякий из нас знает испокон веку — и что же? Все это ни капли не трогает, точно так это и должно быть. Я сам, — прибавил фельетонист, — очень хорошо помню, как однажды в провинции я сам закричал даже на какого-то солдата, который охал у меня под окном в то время, когда я сидел за работой, компилируя французскую книгу о лионских работниках; я семерых послал в кухню, и этот восьмой вывел меня из терпения... Отчего вот на такие, под самым носом совершающиеся, бедствия я молчалив и терпелив? Отчего даже и на черногорцев и герцеговинцев я стал жертвовать только тогда, когда пришел квартальный и сказал: “можно!” Да потому, мне кажется, что я именно себя-то и потерял... Только чужое мне, постороннее и действует на меня — будь это приказ квартального, газетная горячая статья или книжка о лионских рабочих... Без этих посторонних приводов мое существование неподвижно, тупо и равнодушно. Собственно я, без палки, без указки и тумака (“Ну, это — уж очень!” — заметил кто-то из присутствовавших), так отношусь к явлениям жизни: вот герцеговинцев режут, вот нищие ходят, вот дети умирают на папертях и подворотнях... Я-то тут причем?... У меня даже мысли нет, что бы такое следовало изо всего этого... Но я делаюсь совершенно другим, когда на меня заорут: “Ты что ж это на герцеговинцев-то не жертвуешь? Ты что ж это не спасаешь погибающих детей? Ты что ж это (так и так) нищих-то развел?... О лионских мастерских пишешь, а тут под боком люди расшибают себе лица в кровь из-за копейки серебром, из-за бутылки, выкинутой в помойную яму?... Эй!..” Тут я вдруг очнусь, и все доброе откроется у меня во всю ширь! «Можно!» — завопию я всеми суставами и ринусь... Но и тут еще надо указать мне, куда ринуться и как... Надо с точностью научить, что пожертвования принимаются там-то и тем-то, все

надо перечислить по пальцам, а то я постоянно буду затрудняться разными совершенно бессодержательными вопросами: например, можно ли чулки пожертвовать болгарским детям или нельзя? Хотя я очень хорошо знаю, что дети эти без чулок, что чулки им нужны и что, наконец, кроме этих чулок мне жертвовать нечего. Даже самое понятие-то слова “пожертвование”, отлично мною понимаемое, я считаю настоящим, подлинным пониманием не у себя, а у тех, кто мне разрешает...»

Протест большинства присутствовавших за клубным столом лиц, усумнившихся было в действительности существования в русском человеке странной любви к палке, был заглушен все более и более разгорячавшимся фельетонистом помощью усиленной торопливости, с которою он перешел к новому ряду доказательств, не дав хорошенько разобрать и обдумать только что сказанное. Коснувшись сербской войны и объяснив эту русско-сербскую толкучку именно тем, что тут соотечественники пытались попробовать сделать дело сами, без указки и без палки, и не дав по обыкновению никому возразить, он тотчас перешел к ежедневным явлениям современной жизни и стал выхватывать одни примеры за другими. По его словам, неумение жить без неприятностей видно повсюду. Он знал супругов, которые не могли ужиться при самых благоприятных обстоятельствах и отлично жили при неблагоприятных. Вот образцовая пара: оба хорошие, умные люди, оба сошлись не из расчета, а по любви, и согласны по мысли... И что ж, скука, тоска, холод... Ни одно дело не удастся, ничто впрок нейдет. Разошлись наконец. И глядишь: сошелся супруг просто с немкой Каролиной Карловной, у которой только одни потребности: иметь на руке мешок с деньгами и елико возможно больше извлекать этих денег из всего мироздания, — и все пошло как по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубейшего непонимания висит над человеком, над его развитием и умом; человек этот ропщет, но ожил, бегаёт по вселенной, «достает» и уж, поверьте, никогда не уйдет от этой каменной тучи. «Сам», своею охотою не уйдет. Потому что бессмысленные, нестерпимые условия, в которые попал человек, благодаря этой женщине с каменными мозгами и сердцем, он считает подлинными, заправскими, а доброту, ум и простоту прежней привязанности

считает только сном детским, из которого ничего не выйдет и с которыми страшно и холодно жить на свете. Не запряженный, пущенный на волю русский человек пропал, погиб в большинстве случаев, и единственное спасение ему — крепкие оглобли, тяжелый воз... Так привык, так заезжен. Продолжая не слушать возражения собеседников, тщетно спрашивавших: «При чем же тут самоубийство?» — автор теории любви к палке выдвинул еще новое наблюдение: именно, он сказал, что даже так называемые новые идеи и дела для многих-многих россиян важны и значительны только как бремя, как упряжка, как постоянная борьба с самим собой, постоянное мучение, испытываемое в этой борьбе, происходящей от полного разногласия всего существа субъекта с требованиями новых идей. Иной и рвется к ним, потому что исповедывание их почти для него невозможно... В подтверждение этого положения он рассказал про одну девушку, долго и безуспешно отбивавшуюся от своего истинного призвания — быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленного семейства; забывавшей в один день все, что выдолблено ею в год, вроде экзамена на сельскую учительницу, и никогда не выучившейся понимать и различать общественные дела от необщественных. Нужно было видеть, что это была за мученица! Она едва не умерла, как вдруг вышла замуж, родила ребенка и расцвела, то есть все забыла и стала тем, чем должна была быть, влача иное, свойственное ее натуре бремя хозяйства и домоводства. Рассказал он еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназии, который отдался новым идеям, тоже как будто с испугу и тоже потому, что в натуре и существе его именно и не было ничего нужного для того, чтоб идеи эти были живыми в живых людях. Испугавшись раз, в первые дни приезда в круг молодежи одного провинциального университета, он уж стал потом все делать с испугу и поступал во всем против собственных желаний. Женился потому, что жена решительно ему не нравилась, и потому, что именно это обстоятельство (жена была из новых) делало его причастным к тем кружкам, идеи которых были для него почти невозможны... Словом, человек этот, раз узнал, что в нем нет материала для исповедывания новых идей, испугался самого себя и стал поступать против себя во всем.

Собеседникам показалось все это до такой степени трудно постижимым и неудобоваримым, что несколько голосов нашли нужным прервать рассказчика вопросом: «Да при чем, наконец, тут самоубийство? Зачем вы приводите таких уродов, идиотов и глупцов?» Фельетонист, очевидно хвативший в последовательности своих наблюдений через край, категорически объявил, однако, что этих глупцов, этих людей, желающих ярма, так много на русской земле, что изучение странной любви к ярму можно считать достойным внимания образованного российского общества и что к самоубийствам все вышесказанное также имеет отношение довольно близкое, именно: самоубийством непременно должен кончить всякий из таких умеющих жить в ярме, как только жизнь поставит его в необходимость почерпать силу жизни в собственном желании и мысли. Такой человек в такие минуты с ужасом видит, что в нем нет источника жизни и почерпать не из чего. Умирают такие люди собственно «от испуга»... самих себя.

Этимися словами, показавшимися всем похожими на правду, наблюдатель окончил изложение своих наблюдений, залпом выпил стакан вина и обещал все это разработать в своем фельетоне, прибавив:

— Вот тогда увидите...

— Нет, — перебил его медицинский студент, — я вот чего не понимаю... Я не понимаю, как можно умереть с голоду... Мне понятно, что в минуту отчаяния, испуга, как вы говорите, можно пустить пулю, принять яду, но морить себя десять, пятнадцать дней голодом, умереть от самовольного истощения — этого я не понимаю... Какой тут испуг? Вообще, я не понимаю тут ни капли...

— Болезненное состояние... — произнес было банковский чиновник...

— Я об этом не говорю; я спрашиваю только: каким путем доходят до этого состояния?..

— Тоже от испуга... — нерешительно произнесла сестра студента, сельская учительница.

Это была одна из тех много думающих, но робких девушек, которые в редких случаях, и то вспыхнув от сознания неловкости, решаются произнести свое словечко.

Обыкновенная форма разговора этих натур такая: «Мне кажется... я думаю...» — начнет она — и тотчас замолчит. «Говорите же, что вы думаете?.. Говорите, пожалуйста» — «Нет, я так... Я ничего не понимаю...» — «Что за вздор! как ничего не понимаете?.. Говорите, ради Бога» — «Я думаю... Нет, я дура...»

И только после многих ободрительных слов, большей частью в ту минуту, когда уж и не ждут никаких от нее объяснений, она вдруг выскажется торопливо, кратко и верно.

Так было и на этот раз. Все присутствовавшие знали, что словечко, сказанное этой девушкой, не будет пустым, и разом налегли на нее с требованием сказать, что именно она думает, когда на замечание брата о том, что ему непостижимо, кого и чего можно так испугаться, чтобы морить себя голодом, мучить самым жестоким образом, вместо того чтобы пустить пулю в лоб, она ответила обычным порядком, то есть начала словами «мне кажется» и кончила тотчас выражением «нет, я так... я не понимаю...». После усиленных и всеобщих настояний из этого молчаливого существа было извлечено мнение, что с голоду умирают, испугавшись — «всех» и «всего», то есть и себя и всего белого света: кроме этого, она сказала, что знала одного человека, который именно так и умер, и, по-видимому неизвестно зачем, прибавила: «Он был крестьянин...»

— Ну, — перебил ее брат, — положим, это-то... уж ничего не значит...

— Нет, значит... Я знаю, что такое деревня и крестьянская жизнь... Ни для кого так не страшна действительность, как для крестьянина... В его жизни нет прикрас и снисходительности ни в чем... Все — от неба, которое хлынет градом, от земли, которая не уродит, до отца и брата, которые не пощадят его, если не будут сами пощажены, — все может раздавить его в мгновение...

— Ну, рассказывай лучше, — перебил брат. — Кто такой это твой знакомый... Рассказывай все обстоятельно...

Запинаясь и конфузясь поминутно, девушка рассказала одну очень простую историю, которую я и записал так, «как понял», не ручаясь за точность и подлинность выражений.

На Оке, в одной деревеньке, где останавливаются пароходы, на краю селения, много лет тому назад жила солдатка с малень-

ким сыном. Жили они у самого берега, в нищенской лачужке и в страшной бедности: ни кола, ни двора, ни куриного пера... Чем жила эта женщина? Некрасивая, худая и оборванная, ходила она на поденщину, на поденщину деревенскую, где гривенник за целый день — деньги громадные... Когда же приходили барки и заночевывали в деревеньке, в хибарке солдатики слышались гармония и песни: пели и веселились такие же, как она, нищие люди, бурлаки... Такие грехи солдатики, весьма понятные в ее положении и случавшиеся только ради ее крайней бедности, грехи, дававшие ей возможность только-только не умереть с голоду, однако, ставились ей строгим деревенским крестьянством в вину и даже вредили ей в поденной работе...

Долгие годы билась она так, как рыба об лед, работая и голодая, гуляя с бурлаками и тоже голодая, и никогда не имела ни средств, ни времени ходить за своим ребенком. Рос он без всякого призора, голодный, буквально раздетый, вечно выброшенный на улицу: на улице ёрзал он, когда у матери пили и гуляли гости; на улице торчал, когда она где-нибудь мыла полы, или стирала, или работала какую-нибудь другую поденную работу. И тут и там он мешал, корявый, неуклюжий и совершенно дикий. Он мешал даже и в детской компании — его гнали прочь, потому что он всему завидовал и тянул к себе, а когда не давали, то ревел. Ни о чем никаких понятий он не имел: не было ни одного человека, который бы сказал ему слово. Всем было видно, что ни матери его, ни ему жить нечем. И вот жестокая русская действительность: ни в чьем внимании, ни в чьей заботе ни он, ни мать не занимали ни капельки места.

Никому не было жалко их, точно это — не люди, а гнилое, захудалое дерево, которому нечем жить и которое засохнет непременно. Эта жестокость имеет свои основания хотя уж в том, что всякий из крестьян живет в таких же условиях и твердо знает, как про себя, так и про других, что «если у него ничего нет, то никто ничего ему и не даст», никто ничем не поможет... Но об этом распространяться нечего долго... Словом, полное одиночество, одиночество необитаемого острова... Хуже! Что необитаемый остров! Необходимость пищи заставляет там думать, искать, наблюдать... Тут же и мысль не смела действовать, потому что обитавшие тут люди взглядами, отношением

говорили, что твое, мол, положение самое беззащитное; ничего у тебя нет, ничего не будет — и дело твое пропащее в конец. Слабая, едва-едва теплившаяся надежда, что вот, мол, воротится из полка отец, — одна только, и то, как неосуществимый сон, мелькала иногда у матери дикого ребенка и передавалась ему также в слабой, чуть-чуть слабой степени... Он, как и все его односельцы, уже ребенком маленьким, только начинающим ходить ребенком, знал, что ему надежды нет ни на что, что ему никто ничего не даст и что сам он ничто... Голая земля под ним и голый он сам на этой земле: вот его положение, средства, надежды — всё.

Как-то на лето приехали в деревню господа, очень долго жившие за границей и в столице. Тогда только что началось вполне выясненное теперь и очень смутное в ту пору стремление слития и проч. и проч. Поденщица попала к господам на работу и, как людям чужим, посторонним, за два, за три дня работы рассказала свое горемычное житье, все в подробности... Изумились, растрогались, сжалились, набавили целый рубль, дали мальчишке старые сапоги своего сына, накормили. Тонко наблюдателен голодный народ! И мать дикаря-мальчишки увидела, что надо пользоваться добротой господ: «Подай барчуку лопаточку... повежи колясочку... прогони собаку, видишь — барин пугается...» — стала она поминутно твердить своему неуклюжему волчонку.

— Да ты присылай его к нам играть с Мишей! — был результат этих стараний голодной матери.

С этого дня Федор (так звали волчонка) стал ежедневным посетителем барского дома, ничего не понимая, зная только, что там ему лучше. Молча возил Федюшка колясочки, таскал песок для пирожков, отгонял собак и терпеливо ждал новых и новых приказаний, зная, что его дело — их исполнять; его кормили здесь, и он тотчас убегал домой, когда ему ласково говорили: «Ну ступай, уж поздно — тебя, должно быть, мать ждет...» Федюшка хорошо знал, что это ласковое внимание к матери означало — «ты больше не нужен, Миша будет спать». Но ни капли этим не обижался, потому что и мысли не мог допустить, чтобы он был что-нибудь значащее. Он был брошенный на улицу опорок, свалившееся с возу полено — словом, никому ни на что не нужное создание. Спасибо, что хоть кормят.

Он служил за корм, за воду и ничего не понимал даже в окружающей его обстановке барского дома: это все было чужое...

Скорей на несчастье, чем на счастье Федюшки это сознание себя чужим не только в барском доме, но вообще на всем белом свете было мало-помалу, по капельке разрушено матерью ребенка, которому Федюшка услуживал в благодарность за еду... Барыня эта была одна из тех странных матерей, которые никак не могут пользоваться тем, что дано их детям природою, тем, что в них есть и что может быть. Еще до рождения составила насчет своего будущего сына (иные прямо определяют, что у них родится сын, непременно сын, или непременно дочь, и бывают ужасно недовольны всю жизнь, если выйдет иначе) самые определенные планы: определила цвет волос, цвет глаз, походку, выговор, склад губ и длину носа; она крайне была обижена, когда, по рождении ребенка, приметы и качества его оказались вовсе не такие, о каких она фантазировала: ни волосы, ни нос, ни рот не соответствовали предначертаниям предусмотрительной матери: все было другое, других размеров, цвета и выражения... Не такой был голос, не такую оказалась походка, когда он стал ходить, — словом, все не то. Это до того огорчило мать, с первого дня рождения ребенка, что она, несмотря на то, что ребенок принадлежал именно ей, никогда не могла уничтожить (да и мало об этом старалась) в себе какой-то холодной к нему отчужденности. Раз сказав себе, что «это не то, это — не тот ребенок», она не могла отделаться от этого странного мнения и ровно ничего не понимала (а впоследствии привыкла не понимать) в том, что дано было ее ребенку, и в том, что он по своей натуре совершит... Все дни этого мальчика были испещрены недоумевающими вопросами матери: «Что он делает? Что это за фантазия? Откуда это? Я не понимаю — ззач-чем? Что ты хочешь?» И в конце концов: «Ужас, что за ребенок! Я просто не знаю, в кого... на что... что такое?..» Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, куда бы ни пошел — все выходило не так, не то, не туда, все было не так, как предположила мать и как поступил бы ее предначертанный сын... Обыкновенно такие матери вконец задерживают своих детей и делают их своими заклятыми врагами. И в маленьком Мише вместе с заботостью уже развивались семена злости и мести.

Как ни странным это покажется, однако случилось, что Федюшка, дикий, ничего не понимающий, голодный желудок, голодный, и неуклюжий, и не развитой, выступил неожиданно в новой роли — не простого служащего господскому барчуку, не простого поденщика, таскающего, по барчукову приказу, лопаточки и тележки, — нет, он внезапно выступил как пример этому барчуку. Чего только не выдумает иная сообразительная мать!

Федюшка — пример господскому ребенку! Это так же правдоподобно, как если бы седло было примером для коровы или если бы господский ребенок был примером для всех Федюшек на свете. А между тем вышло же, что Федюшка стал примером, образцом ума, изящества, словом — образцом всевозможных добродетелей. Конечно, добродетели эти приписывались ему как деревянному болвану, как кукле, которой, как говорят, бывает больно, когда ее бьют, которая будто пришла в гости и т.д. Федюшка так это понимал и долгое время смотрел на себя не иначе, как на деревяшку, когда его ставили примером какого-нибудь хорошего качества. «Посмотри, как Федюшка... Видишь, какой умный Федюшка... Как тебе не стыдно! Вон Федюшка даже смеется. Правда, Федюшка, как это нехорошо? Да? Ну, вот видишь: Федюшка говорит». Бесчисленное количество таких указаний на Федюшку, на Федюшкин ум, понятливость и прочие хорошие качества последний, в качестве деревянной куклы, переносил с величайшим терпением, памятуя, что все это его не касается и что слава Богу, что кормят.

Но через год-другой (господа стали жить в деревне даже по зимам) такие уверения в каких-то превосходных качествах Федюшкиной особы, по капельке, на мгновение начали протачивать его с детства обезнадеженное сердце. Однажды во время таких похвал белое, бесцветное лицо его вспыхнуло, и он, не позволявший себе сказать никогда ни одного своего слова, произнес ко всеобщему удивлению как-то необыкновенно радостно и торжественно: «Ко мне батька вот придет ишо!» Даже на лбу при этих словах у него загорелось красное пятно, точно звезда. Никто не мог сообразить, какая связь между мнимыми похвалами мнимым качествам деревянной куклы и необычайным восторгом этой последней ввиду того, что у нее есть какой-то батька, который ишо вот придет. А связь была

несомненная. Федюшка, постоянно одобряемый, впрочем, не раньше, как через два года этих непрерывных одобрений, стал позволять себе верить, хоть на мгновение, на один миг, что он — не совсем пропавшая тварь, что он на самом деле такой же человек, а может, еще и лучше, чем другие Федюшки... Ведь говорят же ему об этом каждую минуту?... И вот, чтобы самому себе доказать, что он — не пропащий, он припомнил, как уже известно, единственный серьезный резон, имевшийся у них с матерью, связывавший их, хотя очень отвлеченно, с обществом живых людей и дававший хотя какое-нибудь объяснение их горемычнейшему, безнадежнейшему существованию... И вот почему он неожиданно буркнул о своем отце. Он хотел сказать, что недаром его хвалят: он ведь в самом деле настоящий, не кукольный Федюшка, к нему даже еще отец вот придет, тоже настоящий... И звезда у него во лбу загорелась оттого, что он на мгновение позволил себе узнать, что он — не кукольный Федюшка...

Повторяю, только мгновениями в сознании мальчика мелькало что-то похожее на уверенность, что он — не ничтожество, не бросовый ошметок... Да и трудно было укрепиться этой уверенности. Каждый день, исполнив амплуа «примера», Федюшка возвращался вечером в лачугу матери, в атмосферу все той же безысходной бедности, которая выныщила его и вскормила. Каждый божий день ему представлялась необходимость убеждаться, что настоящее-то его существование — именно в этой лачуге, в этой бедности, одиночестве, а вовсе не там, где, хоть для примера, смотрят на него как на живое существо. Сознание, что он, Федюшка, — ничто, было так глубоко вкоренено в нем, так глубока была его уверенность в том, что он только для примера имеет право быть в другом мире, дышать другим образом, что даже некоторое развитие, некоторое понимание, приобретенное им в господском доме, он считал также принадлежащим не ему, а кому-то другим, чужим. Он, например, давно уже выучил, стоя за спиной господского барчука, не только азбуку, которой того учили, но склады, знал, как надо читать, но не мог бы прочесть ни строки, ни слова, так как все в нем твердило ему: это — не твое дело, это — дело чужих людей, не таких, как ты. Не знаю, как выразить и выяснить лучше это со-

стояние: не яснее ли будет оно, если я скажу, что Федюшка смотрел на незаметно приобретаемое им развитие как на чужую собственность и не умел обращаться с этой собственностью... употребление которой могли знать только другие.

Но в редкие минуты, когда у него на низком маленьком лбу, закрытом редкими белыми шершавыми волосами, загоралась звезда радости, он вдруг, изумляя всех и сам изумляясь едва ли не более других, вдруг обнаруживал и узнавал, что он уж давно знает читать и что умеет прочесть слово в какой угодно книге... «Да он отлично знает читать!» — уже не как о кукле, а с явным удивлением произнесли однажды родители Миши, когда Федюшка, сам не помня и не понимая, что с ним делается, задыхаясь от радости, вдруг без ошибки промахал целую страницу и мгновенно доказал, что он в самом деле способней и умней господского Миши, что он в самом деле может на этот раз служить ему неподдельным примером. Но если бы Федюшку заставили читать самого, то есть делать свое, а не чужое дело (уметь читать — чужое дело), он бы спутался, все перезабыл, потому что самому ему суждена иная участь и на роду ему написано пресмыкаться в ничтожестве... И сознание этого постоянно бы мешало ему быть так же свободным в своем деле, как совершенно свободен он в чужом.

Однако развитие Федюшки, несмотря на его забитость, несмотря на то, что свою горемычную участь он с каждым днем мог различать яснее и яснее, шло да шло понемногу, и звезда во лбу, вопреки всяческим резонам, представляемым суровой действительностью, загоралась все чаще и чаще... Разгоралась она, несмотря даже на то, что, кроме горемычного существования, с некоторого времени на его пути стала новая беда: понемножку, с крайней деликатностью и гуманностью, ласковое обращение господ с Федюшкой начало изменяться в худую сторону... Нет ничего хуже, жестче и неумолимей родительского сердца, раз оно тронута за живое... А Федюшка не раз трогал его... Уж одно то, что он выучился читать, будучи куклой, раньше, чем настоящий Миша выучил азбуку, — уж это одно как обидело барыню и барина, несмотря на то, что для барыни сын ее был не настоящий, не тот, которого она желала. Едва только Федюшка оказался в самом деле Федюшкой, а не куклой для

примера, тотчас проснулось родительское сердце и тотчас ожесточилось: сначала на судьбу, которая дала вовсе не того ребенка, какого следовало (тот бы заткнул за пояс всех этих Федюшек), потом на ненастоящего ребенка, который ставит мать постоянно в неприятное положение, и, наконец, на Федюшку, который Бог знает зачем тут толкается и только еще более делает неприятностей и так уж огорченной матери... Потом уж по особенной логике вышло так: Федюшка только мешал, и только от Федюшки Миша и не успел в ученье...

И отец Миши и мать одинаково сознавали в те минуты, разумеется, когда Федюшка изумлял их появлением во лбу звезды, что он тут — лишний, что он мешает... Но так как они были люди совестливые и гуманные, то и не прогнали его, а продолжали пускать в хоромы, только деликатно давая заметить, что он, Федюшка, не Бог знает что такое... «Не сбивай, пожалуйста... Ты, Федя, постоянно мешаешь... Ты видишь, Миша учится, а ты стучишь... Иди на улицу стучать...» — и т.д. Понемножку, по капельке, Федюшке стали доказывать совсем другое: то есть что он — вовсе не пример, и что он — мужик и неуч, и что настоящее место его вовсе не тут... Все это, разумеется, в высшей степени деликатно...

Но что поделаешь с раз начавшей разгораться во лбу звездой! Правда, и лоб-то этот был маленький, низенький, весь заросший по краям и сверху белыми шершавыми, как солома, волосами, и звезда-то в нем разгоралась редко, светила робко, робко... А все-таки, раз начав светить, стала светить, несмотря ни на что: ни на то, что горела она в лачуге, разрушавшейся все более и более, что перед ней была непроглядная тьма будущего и что ее застилали, кроме того, холодные тучи в виде холодного господского равнодушия...

И случилось с заморенным, обреченным на явную гибель существом нечто весьма странное, хотя случающееся на Руси именно в настоящее время с великим множеством простого народа... То есть он прямо от складов принялся за чтение книг, отвечающих самым настоятельным и насущным требованиям мысли... У господ не было ничего, кроме книг, которыми интересовалась тогда вся грамотная Россия. На просьбы Федюшки дать ему «книжечки почитать» барин и барыня обыкновенно

говорили: «Какие же тебе книжки? Право, ничего нет такого!..» И давали ему первую попавшуюся под руку книгу, будь это — иностранный роман, политическая экономия или последняя книжка журнала. «На вот, — прибавляли они, — ведь не поймешь ничего...» — «Мне так!» — говорил Федя, которому действительно книжка была нужна просто так... Так как звезда не меркла во лбу... Но какую бы книгу тогдашнего времени (а господа были «следящие») они ему ни сунули, достаточно вспомнить самый тон времени, чтобы понять, что всякая тогдашняя книжка, независимо от формы, в сущности своей отвечала именно Фединуму положению, говорила, хотя и робко и нежно, о его бедовом житье-бытье...

И вот к таким-то книгам Федюшка перешел прямо от складов, минуя Ерусланов Лазаревичей, Псалтырь, жития святых, минуя сонники и письмовники и т.д. и т.д. В настоящее время, когда Псалтырь и Часослов уж не составляют главнейших оснований грамоты, грамотному простому человеку приходится прямо переходить к газете, к «Ведомости», так как существующая литература, ни лубочная, ни так называемая изящная, одинаково не могут служить пособием для дальнейшего, после новой школы, развития, а главное, не могут попадать новому грамотному в руки: лубочная литература — по своей глупости, изящная — по дороговизне и, пожалуй, некоторой ненужности; все в этой литературе посвящено чуждым интересам, иному миру, чем мир грамотного пахаря. Единственными пособиями являются газета и трактир, дающий право даром читать эту газету всякому, кто пришел выпить пару чаю. Пересмотрите дешевые газеты, попадающие в дешевые сельские трактиры, да и не одни дешевые, а дорогие и длинные современные газеты, припомните их ревностное стремление «угодить» нешироким вкусам почтеннейшей публики; припомните их вилянье, их вообще неправдивое, неискреннее, не дельное направление — и вы не без сожаления подумаете, что это — очень и очень плохая школа для начинающего быть грамотным народа.

Но вернемся к Федюшке. Что мог понимать он в тех книгах, которые в то время писались и которые он брал от господ? Вопрос этот весьма любопытен ввиду того, что книги того времени действительно имели влияние на тугой, неразвитой, мало-

способный и забитый ум Федюшки, тем еще более любопытен, что, развиваясь на этих книгах, Федюшка ровно-таки ничего в них не понимал. Он «разбирал слова», как Петрушка, разбирал их целыми десятками, сотнями страниц, не находя между ними ни смысла, ни связи, а развивался, и именно в том самом направлении, каким книги были проникнуты. Тайна такого непостижимого умения развиваться книгой, ничего в ней не понимая, заключается в том, что развитие тут идет не помощью ума или понимания, а исключительно помощью сердца. Сердце автора подает весть сердцу не понимающего «слова» чтеца. Кто и когда из самых завзятых знатоков писания понимал не только доподлинно, а так, хоть из пятого в десятое, что такое читается в церкви, какая начетчица понимает, что такое написано в псалтыри, который она зудит по годам? Что такое написано в «Апостоле»? Никто никогда, ни один самый завзятый начетчик и грамотей крестьянского звания не мог и не может рассказать (разве что вызудивши дело дотла), о чем таком ему читают, но всякий знает, в чем дело, потому что сердцем понимает сердце автора, будь то царь Давид, апостол, сам Христос... Скрытое в глубине и массе слов чувство, руководившее автором книги, только оно и улавливается слушателями или чтецом, и, уловя его, чтец или слушатель продолжают только чувствовать в данном сердцу направлении, думая о себе. Попробуйте спросить вот этого старого старика, всхлипывающего на печке от чтения псалтыри, такого чтения, в котором никто ничего разобрать не может, потому что тут нет ни остановок, ни связи, тут разделяется пополам одно слово и произносится так, что один конец прилипает к предшествовавшему слову, а другой к последующему, — спросите этого плачущего старика: что такое растрогало его в этих, как разваленный плетень, натканных его внуком словах? То, что он вам ответит, будет непременно годиться в горбуновский рассказ; непременно выйдет что-нибудь вроде: «Наслежу, говорит, следов (плачет), а ты... гов... (плачет) говорит, по ним и ходи... (рыдает)». Словом, выйдет непременно какой-нибудь смешной вздор, сразу обнаруживающий, что рыдающий старик глуп, как пробка... А между тем он рыдает теми слезами, какими рыдал и царь... Сердце его так же мучается своими прегрешениями, как му-

чилося также своими прегрешениями и сердце пророка... Оба одинаково страдают, каждый о своем... Старику передалось только направление книги; он только почувал, что мучился человек, который писал, и простое сердце отвечало слезами...

Таким порядком читают в трактирах и газеты, не понимая ни этой «фанатизмы», не зная, что Царьград, Стамбул и Константинополь — одно и то же, не понимая, что такое пишется в романе, переведенном с французского, что такое поется в театре Буфф и в Ливадии; словом, не понимая почти никаких слов газет, еле грамотный чтец отлично-хорошо чувствует общее шаромыжнически-практическое и плутовски-улыбающееся сердце газеты и отвечает ему смелостью, с которою шаромыжничество возрастает в народе в значительной степени. Точно так влияли непонятные книги и на Федюшку. Рассказать прочитанное и передать своими словами он не мог, выходил всякий вздор, но сердце книги он чувал, понимал, а сердце в то время было у книги чистое и доброе... Оно было открыто именно только Федюшкину горю.

В плохо кормленном, плохо развитом, малосильном, малоспособном этом человеке, выросшем в холодной и неприветливой обстановке, — человеке, отчаявшемся в своем праве на жизнь, — зашевелилось в сердце от этих непонятных страниц непонятных книг что-то похожее на жалость... Жалко как-то ему стало делаться все сильнее с каждым днем... И мать жалко, и себя жалко, и жаль, что господа его бросят непременно, и жаль, что на него с матерью никто и глазом не взглянет... О Боге, о его воле в делах человеческих он не знал; матери было недосуг, а господа тоже мало бога помнили, как вообще все господа... Не имея поэтому возможности объяснить себе своего положения указаниями провидения, Федюшка — теперь уж Федор (ему уж было четырнадцать лет, когда началось его жалостное состояние) — только убивался. Не понимая, отчего и что, он жалел, скучал и сокрушался сердцем... Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок... Эта нежность, ласковость обнаружилась по отъезде господ на матери. Уж как он старался ей помогать: и чемоданы таскал с пристани, ходил по дворам, собирал старые бутылки... Благодаря непонятным книгам, про-

будившим жалость и сожаление к незаслуженным страданиям, только эта жалость и оживляла его, только она и росла в нем... Придет время — перестанут на нас рычать и сердиться соседи, перестанут бранить мать, станет он учиться и в благодарность за то, что никто не сердится на них, сам никогда не будет сердиться. «Все будут ласковы друг к другу, за копейку, за бутылку драться не будет никто... Стоит только всем быть добрым...» Так у него ныло в сердце, несмотря на то, что по отъезде господ у него даже и книг не было. Помогая матери, он и ее-то вывел из безнадежно-голодного состояния, и она стала скучать, и у нее стало мелькать: «За что это?», и она, как Федюшка, чувствовала, что это все неправильно и, должно быть, когда-нибудь переменится... «Вот придет отец!» Эта мысль после отъезда господ стала единственной мыслью их обоих; этот приход был бы, уверили себя они, началом освобождения; отец поможет им выйти из-под гнета всеобщего презрения, а они, и в особенности он, Федор, покажет тогда, как он добр, как он всякому рад. Тогда все узнают, что были к нему жестоки, несправедливы, и, раскаявшись, сделаются добры и мягки. Будет тогда всем и легко, и весело. «Вот только пусть придет отец!»

С годами мысль об отце, мысль довольно фантастическая, ни на чем не основанная, стала делаться и для сына и для матери чем-то почти реальным. Потребность подняться из бездны, заставить людей оглянуться на них, заставить их раскаяться и понять, что «мы с мамкой» ни в чем не виноваты, делалась все настоятельнее и сильнее. Только приход отца, этого, по всей вероятности, сильного, справедливого человека, которого все будут уважать сразу, с первого дня, — только его приход и помощь могли помочь им выйти из беззащитного положения и добиться от людей того, чтобы они раскаялись, смягчились, сделались добрей... Бывали дни, когда и мать, и сын, оба вместе, и именно сегодня, ждали прихода избавителя... «Что-то думается мне, как бы батка твой не пришел? Что-то уж мне стало очень скучно... Право, поди, не пришел бы... Пора б прийти-то». Федюшке самому было тоже так скучно, что он ни капельки не сомневался в справедливости предположений матери и твердо был уверен, что отец придет непременно, того и гляди.

Было Федюшке шестнадцать лет, и вдруг сбылись предчувствия и надежды. Отец в самом деле пришел-таки, и пришел в ту самую минуту, когда им стало скучно, так скучно...

Пришел — и не прошло двух дней, как при всем честном народе, перед целым сходом, на площади между волостным правлением и кабаком, несчастный, измученный мальчик был жестоко выпорот по желанию своего долгожданного родителя... Два ведра вина, которые родитель не поскупился поставить миру, сделали свое дело: Федюшку выпороли на славу; дюжие руки, укрепленные сивухой, не жалели худых Федюшкиных ребер и засыпали ему в худые бока без счету... «Хорошенько! — вопияла пьяная орда. — Заслуживай, ребята, Силанью Ивановичу!..»

Пусть читатель сам представит себе, что должно было произойти в душе Феди от такого неожиданного оборота дела, покада я скажу несколько слов в объяснение того, как могло случиться такое несказанно-жестокое дело.

Воротившийся отец оказался вымуштрованным, вышколенным, хорошо откормленным бульдогом, едва ли уж умевшим понимать какие-нибудь профессии, кроме профессии вцепляться своими крепкими зубами в чье-нибудь горло. Это была одна из тех жестоких, тупых тварей, которые невесть за что готовы съесть родного отца... Верный и жестокий, как пес, он был золотым человеком там, где нужно было караулить, ловить, не пускать, вообще исполнять какой угодно бесчеловечный приказ. Приказ, и именно трудный, жестокий, как нельзя лучше приходился по его жестокой, сухой, бульдожьей натуре. Эти собачьи качества, эта собачья выдержка, неумолимость и верность сделали ему хорошую карьеру на службе у богатых господ, которые не нахваливались им в то время, когда «свой брат», простой человек, загрызаемый им без всякой пощады, смотрел на него как на бешеную собаку. Несколько раз его собирались убить, стреляли в него из ружья, когда он караулил у одного богатого помещика лес: под его хищным взглядом нельзя было унести ни одного сучка, сорвать ягоды — все видел, всех хватал, связывал, представлял куда следует и разорял иной раз дотла целые семьи крестьянские из-за этого сучка, из-за этой ягоды. Сам он был безукоризненно честен, всякий

рубль, нажитый им, нажит за верную, беспощадную службу — себя он на этой службе «не жалел», бесстрашно лез в огонь и в воду, если только было ему велено. Он и домой-то не шел так долго, потому что считал бесчестным оставить так, без призора, то или другое врученное ему дело. Всякую службу он дослуживал до конца, до последней точки той цели, с которой его брали на службу.

Вот такой-то железный и прямой, как железная палка, человек, устав служить чужим людям, пришел домой. Не было в нем нежности никогда, а поведение его жены, сделавшееся ему ясным с первого дня прихода, еще более окаменило его каменное сердце. Она, по его мнению, не должна была бесчестить его распутством, как он не бесчестил ее. Она была бедна — да ведь и он нищим вышел из полка; однако он прожил честно, а она опозорила его на весь свет. Он всю жизнь бился для того, чтобы добыть им же, — отчего же не билась она? Живут же люди без распутства.

Начались с первой минуты свидания жестокие, зверские сцены. Разозленный и обиженный зверь вгрызался в пропащую женщину без всякого милосердия... Он и мстил этим и одновременно хотел поднять свою репутацию, сразу поставить себя среди земляков на хорошую ногу. Как ни покажется это странным, а было действительно так: солдат доказывал, что он — не кто-нибудь, а человек, знающий порядок, знающий, что значит жить честно, благородно. В одну из таких семейных драк Федюшка, изумленный и ошеломленный неожиданным появлением такого зверя, не помня себя, вцепился ему в нафабренные бакенбарды — и вот бульдог отомстил ему. Два ведра вина, как уже сказано, сделали дело. Мир выпил их и выпорол, на славу выпорол несчастного Федюшку... Солдат требовал беспощадного дранья — и мир, исполняя это требование, понимал, что этой жестокостью, обрушившейся на жену и на сына, солдат доказывает собственное свое превосходство над их грязной и позорной жизнью и поведением, доказывает, что он честен, порядочен и почтенен и что этим уж очень высоким пониманием своей чести он даже и семью свою хочет оградить от всякой тени позора. Решительно не нахожу слов, которые бы могли с достаточною ясностью представить читателю то,

что испытал Федор от этих вдруг постигнувших его жестоких, бесчеловечных неожиданностей. Он весь был раздавлен ими, сломан, скомкан в комок. Ничего не чувствуя, не понимая, он весь как бы задохнулся и окаменел...

Через час после ужасной сцены у волостного правления Федор, не зная как, очутился на одной из барок, стоявших на реке, и, трясаясь всем телом, на все расспросы барочников слабым, до смерти испуганным шепотом мог произнести только: «Бо-юсь!.. бо-юсь!..» К нему нельзя было в это время прикоснуться пальцем: немедленно шепот превращался в отчаянный крик. «Боюсь!» — взвизгивал он, бросаясь в сторону и расшибая голову о дрова, о что попало, точно до него дотрагивались не пальцем, а каленым железом. Как он ухитрился спрятаться на барке, я не знаю: только барочники, не зная о том, что он скрывается у них, увезли его с собою, направляясь к Нижнему. Испуганный и трепещущий, два дня без пищи просидел он в самом глухом, неприметном углу барки, покуда случайно не открыли его там. Поругав и покормив, барочники оставили мальчишку, решив: «Пущай!», и не обращали уж больше на него никакого внимания. Истерический ужас, в котором мальчик очутился на барке, начал понемногу проходить, заменяясь совершенно определенным испугом перед всеми и перед всем. Все для него было страшно жестоко. Люди, весь белый свет испугали его — неизлечимо, на веки веков. Как мог он понять и объяснить себе все, что с ним случилось с первых дней детства?.. Он — комар, которого, не задумываясь и не беспокоясь, убивает всякий, кому он мешает! Но чем, кому он мешал? Он ничего не мог понять и знал одно — что неведомо почему его все хотят уничтожить, раздавить, стереть с лица земли... Нет спора, что жизнь может напугать всякого, что всякий может иной раз почувствовать ужас своего существования на белом свете, но так испугаться белого света, как испугался его Федор, едва ли приходится или приходилось кому-нибудь другому. В нем навеки запечатлелся страх, испуг и уверенность, что ни от кого ничего он не имеет ни права, ни возможности ждать, кроме жестокости непонятной и необъяснимой.

— Что ты? Куда ты? Ай ты угорел? — окликнул Федора один барочник в то время, когда подошли уже к нижегородской пристани и ночевали там.

— Утоплюсь! — отвечал Федор.

— Ребята! Глянь-ко, что малый-то вздумал!..

Несколько человек проснулось и обступило Федюшку.

— Это — что ж ты, паршивец, делаешь? А? Это ты за нашу хлеб-соль-то нас хочешь подвести под сикурс? Ах ты, дурья твоя порода! — загалдели вокруг него барочники.

— Захотел топиться, шут тебя возьми, — пошел тописы!

— Да не пачкай компании, к ответу не подводи.

— Мало тебе места-то, корявой дубине?

— Прогнать его, шельму, прочь!

— Пшол, пшол!

— Обыскивать его, анафему!

Стали обыскивать; оказалось, что Федор для лучшего выполнения задуманной операции наклак за пазуху под рубашку множество камней, кирпичей и туго подвязал под ними пояс. Ему казалось, что так он скорей пойдет ко дну.

Всеобщий гнев заменился смехом, а Федюшкин испуг разрешился слезами. Он объявил, что не пойдет топиться, что виноват. Просил, чтоб его не гнали, спрашивал: куда ему теперь?

— Иди в половые... ноне ярмарка стоит... еще деньги наживешь.

Какой-то добрый человек свел его в одно из бесчисленных в ярмарочное время трактирных заведений, и Федор стал половым за харчи и за доходы, какие случатся, но без жалованья. Ежеминутно чувствуя себя совершенно чужим на белом свете, чужим между всеми этими орущими, пьющими и дерущимися людьми, он решительно не замечал, что такое кругом него творится, и работал, как неустанная машина.

Так прошла вся ярмарка.

У Федора вдруг оказалось рублей тридцать денег, сумма, накопившаяся незаметно, и Федор тотчас, как только сосчитал деньги, вспомнил о матери. А как только вспомнил о ней, так и о себе вспомнил, и в пришибленном мозгу опять замелькал какой-то светлый луч... Опять ему стало ужасно жаль... Жаль

«всего этого», жаль до слез. И ревел он над своими деньгами долго-долго. Хозяин даже отобрал у него эти тридцать рублей себе под сохранение, прибавив:

— Так-то оно лучше будет, меньше будешь нюни-то разводить.

Федор, однако, и без денег нередко обливался горячими слезами; во сне он плакал каждую ночь и кричал, причиняя посетителям нумеров постоянные беспокойства; тем не менее хозяин держал его у себя и после ярмарки, дорожа его покорностью, выносливостью и бескорыстием.

Федор жил, не думая о будущем. Вновь пробудившаяся жизнь сердца сильней, чем в первый раз, овладела им... Его уже не просто брала жалость к себе и ко всему, что с ним случилось, мысль его пошла дальше: он стал понимать, что все эти насмерть испугавшие его люди — такие же испуганные, как и он, что кто-то или что-то исковеркало, изуродовало их, и ему еще жальче стало всех их, чем было жалко прежде. Ведь надо же как-нибудь им узнать это? Как же это так? За что они бьют, губят друг друга? Ведь тут только два слова сказать — и ничего не будет. Как же можно все это оставлять так, зря? Вот примерно какие стали волновать вопросы этого некрасивого полового, подающего кипятик. Он крайне удивлялся, что как это ничего никто не покажет? Отчего это не придет какой-нибудь умный человек и не растолкует?.. Что растолковать и как — этого Федор не знал... Речь, которую он предполагал в устах умного человека, имеющего прийти, в голове Федора никак в порядок не приходила. «Вы что же это, ребята? Так ведь невозможно...» Эту фразу хорошего человека он слышал ясно, но дальше не знал, что будет хороший человек говорить. Дальше были только вопросы: как? зачем это? да разве это хорошо? и т.д.

От этих вопросов Федор решительно не мог отделаться и — как бы вы думали? — стал писать...

Заведение запиралось в два часа ночи; только к трем успевали убраться и вывести запоздавших гуляк, и с трех до бела света Федор, не смыкая глаз, при свете сального огарка, выводил карандашом по клочку бумаги, положенному на колено, каракули печатными буквами. Писал он стихами и плакал... Не берусь передать, что это были за стихи. По

всей вероятности, кроме непонятной чепухи и безграмотности, они не представляли бы никому ничего интересного. Тем не менее Федор крепко берег их и тщательно прятал в тайные места.

И с каждым днем необходимость передать бумаге накопившиеся думы овладевала Федором сильнее и сильнее. А вместе с этим сами собой выросли и думы.

Не менее года просидел он на чердаке и выработал довольно смелый, довольно нелепый, но довольно понятный план: ехать с этими сочинениями и думами в столицу; тот, кто пишет книги, тот человек (так выдумал Федор) и есть тот самый хороший человек, который один только и может сделать добро. Федор знал это по себе: он писал по ночам, потому что ему было жаль людей, потому что он хотел, чтобы люди не пугали друг друга, как пугают людей бешеные собаки. Так и все, кто пишет книги. Он знал, что сочинения его плохие, что пишет он не хорошо и что даже почерк у него Бог знает какой (хотя в течение года он с невероятными усилиями выучился писать «по-писаному», а не по-печатному), — все это он знал; но жизнь так страшно обошлась с ним, он так ясно видел, что она запуталась, что в ней какая-то фальшь, от которой людям нет житья, что, несмотря на все, не покидал этого плана. Он полагал, что там разберут, испугаются, когда он расскажет, и закричат на весь белый свет: «Что вы, ребята? Разве так возможно? Это, братцы, не модель! Что вы, полоумные, очумели, что ли?».

Еще через год он осуществил этот фантастический план. Как он это сделал — не знаю. Знаю, что целый год он копил пятаки и гривенники, сколотил деньги на покупку сюртука, шапки, сапогов и жилета, и проч., и проч., и почти уродом прибыл в столицу. Корявый, маленький, пугливый, дикий, в платье, которое было сшито на чужой рост, он был и жалок, и неуклюж, и вообще ужасно-странен.

В это время его и узнала рассказчица, девушка, готовившаяся тогда в сельские учительницы. Он ютился в углу меблированных комнат, работая по ночам, когда все уже спали, и приводя в порядок свои сочинения.

С полгода шуршал он своими бумагами, порядочно-таки

надоедая жильцам; наконец выступил в поход: понес рукописи в газету. Воротился он, весь сияя, и сам первый вступил в разговор с рассказчицей, рассказал ей всю свою историю и в заключение всех пересказанных несчастий радостно произнес:

— Отнес!

Так он оказал это слово, как будто невесть какое счастье случилось с ним...

— Велено прийти через неделю.

Через неделю между Федором и редактором происходил такой разговор:

— Это все — один стих? — стоя полуоборотом к Федору и тыкая в корявую рукопись пальцем, небрежно спрашивал редактор.

— Все один...

— И это он же тянется?

— Это? Он-он.

— Какой же это — стих? Разве такие бывают стихи? Это — шест, а не стих!.. Этим шестом только голубей гонять.

— Там дальше и короче есть... вот извольте...

— Неудобно, не годится.

Редактор ушел.

Глубоко был опечален несчастный поэт. Как убитый, сидел он по крайней мере целую неделю на окне в коридоре, покуда его не ободрил какой-то добрый человек, узнавший, в чем состоит его горе. Человек этот подарил ему книгу о стихосложении, и с этих пор, еще не менее, как на полгода, Федор вновь отдался своему душевному делу. К шуму бумаги, нарушавшему сон жильцов по ночам, на этот раз присоединился какой-то непрерывный стук то ногой, то рукой: это Федор учился стопосложению, вгонял свои длинные, как шесты, строки в надлежащие границы и вытягивал, как вытягивают подошву, короткие... Как он мучился, как он трудился, как он страдал — передать нет возможности. Часто на него нападало полное отчаяние, так как перерубленные пополам и вытянутые вдвое стихи его явно утрачивали цену правды, которую он в них только и видел.

Наконец, кое-как облованив свои произведения, он вновь пошел в редакцию и на этот раз уже с замиранием сердца ожидал рокового дня.

Через неделю, по обыкновению редакций, день наступил. Дрожа как лист, Федор отправился за ответом.

Не скрывая презрения, редактор с первого же слова почти завопил на Федора.

— Да что вы хотите? Что такое вы тут выводите? Что вам хочется сказать?

— Я...

— Что богатые богаты, бедные бедны? Да?

— Я...

— Что бедные — такие же люди, как и богатые? Так, а? Да?

— Так...

— Что несправедливо обижать, заедать? Да? Это? Потом — кисельные берега, молочные реки... Всеобщий лимонад-газес? Так?

— Я этого не писал... Я там...

— Так я вам скажу, — вне себя завопил редактор, чуть не по носу хлопая Федора его рукописью, — что, во-первых, все это давно всем надоело и без вашей белиберды, а во-вторых, за эти идеи... вы знаете — что за это?

И он прибавил внушительным шопотом таких два словечка, от которых Федор вновь ощутил приступ необычайного испуга и едва не закричал как помешанный: «Боюсь!»

Отчаяние овладело бедным малым в сильнейшей степени. Он шатался по коридору меблированных комнат, никого и ничего не замечая, ничего не видя и не слыша, и только по временам, останавливаясь, как вкопанный, перед первым встречным, бормотал:

— Всем известно! Кабы всем было известно, ничего бы не было.

Или что-нибудь в таком роде:

— В тюрьму!.. Да хоть в каторгу... Известно!.. Совести-то в тебе нет!..

Чтобы мало-мальски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со слов которой написана Федорова повесть, пыталась вступить с ним в разговоры, пыталась успокоить его тем, что не

с ним одним такие неудачи, указывала ему, как умела, на больших, крупных поэтов, великих людей... Федор, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался в ее речи — ведь ничего он этого не знал. Не знал он, что и до него писалось — и боже мой сколько! — стихов на те же темы, что и до него были люди, знавшие беду и желавшие помочь общему горю... Ничего он этого не знал и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильных стихотворения, касавшихся поглощавшего Федора предмета, он заревел и проговорил:

— И ничего?

— Что ничего?

— Так ничего и после этого?..

— Покуда ничего...

Федор ревел.

Чтобы успокоить его, она приводила ему еще более сильный пример неудачи, рассказала ему почти все главнейшие события истории и вместо успокоения только ужасала его и ужасала...

— И тут ничего не вышло?

— И тут... Да еще что!..

Корявый, безграмотный, измученный человек с каждым словом своей собеседницы все неотразимее убеждался, что он — ничто, мразь, ничтожество сравнительно с теми, кто и до него печалился о делах света белого. Рассказы девушки доказали ему все его бессилие, все его несправие, всю безнадежность его существования...

Испуган он был прошлым и еще больше испугался теперь, узнав, что «покуда ничего не вышло».

Он окончательно ошалел, и все жильцы комнат думали, что он худо кончит... Как помочь ему — никто не знал. Как уверить его, что он не безграмотен, что у него есть будущее, что ужас прожитой действительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сделать то, что на чердаке нижегородского трактира задумал делать Федор?

Многим было жаль его, но все молчали и ждали... Наконец дождались.

Однажды Федор неожиданно исчез с утра и воротился в два

часа ночи, с шумом подкатив на извозчике. Он был жестоко пьян. Полагали, что косушка и будет прибежищем этому нескладному несчастливцу: однако вышло не так... Очнувшись, Федор стал что-то смутно припоминать, и, по мере того как память восстанавливала ему прошлый день, им начинало овладевать что-то ужасное, какой-то необычайный испуг... Такого полного бессмыслия, в которое впал несчастный, с ним никогда не было. На расспросы рассказчицы он только отвечал: «Свинья! Продай!» — «Кто, что продал?» — «Я... Все! Всех!». Потом, после новых продолжительных попыток привести его в сознание, он пробормотал: «Он мне сам сунул... в руку...» — «Что сунул? Кто?» — «Да этот... злодей... надоело всем... вот...» — «Редактор, что ли?» — «Он сам сунул...» — «Что сунул-то?» — «Деньги... Я так шел... он мне ткнул... Свинья, христопродавец я...».

— Я, — говорила рассказчица, — несмотря на все старания, ничего более от него не могла добиться. Подумаю, что дело было так: шел он, должно быть, по улице и наткнулся на редактора, который так его недавно озадачил. Быть может, вид его был очень жалок, или редактор был в хорошем расположении духа, только последний мог предложить, «сунуть» ему бумажку... Почему-нибудь, очень может быть что по рассеянности, Федор взял ее, — по рассеянности и не соображая, что делает, выпил, напился... И вот теперь, очнувшись и сообразив, что сделал, ужаснулся. С его точки зрения, поступок этот в самом деле должен был казаться ужасным. Взяв деньги от человека, который объявил ему, что ему надоели все эти страдания, о которых Федор болел душою, Федор продал свое право страдать за людей, сам оказался дрянью, которая может от рюмки водки забыть двадцать лет возмутительной неправды... До этой минуты он знал, что он — ничтожество, знал, что он беззащитен на белом свете и что нет защиты у этого света ни от кого; теперь он убедился, что об этом ничтожестве и хлопотать-то не стоит... Прежде он был испуган людьми, а теперь испугался сам себя. Теперь он всего испугался и в таком испуге не замечал, что не пьет, не ест и умирает с голоду. Я думаю, это было так. Впрочем, может, и ошибаюсь...

Голодная смерть

На этом рассказчица кончила.

Третий звонок торопил клубную публику выходить из зал. Собеседники стали прощаться, унося домой невеселое впечатление.



**Филипп Диомидович
Нефедов**

Перевозчик Ванюшка

Святочный рассказ

Ф. Д. Нефедов (1838—1902) был сыном зажиточного крепостного крестьянина гр. Шереметьева. В детстве, прошедшем в Иваново, помогал отцу в лавке. Окончил Ивановское приходское училище. В 1862 г. ушел пешком в Москву, сблизился с кругом А. И. Левитова. Во второй половине 1860-х гг. был вольнослушателем юридического факультета Московского университета, дебютировал в печати. Известен в основном по реалистическим очеркам фабричного и крестьянского быта. В 1870-е гг. подолгу живет в Иваново, но продолжает печататься в либеральных периодических изданиях. В конце творческого пути болезненно переживает свою непризнанность, материально нуждается. Рассказ «Перевозчик Ванюшка» впервые опубликован отдельным изданием в 1893 г., а в 1895 г. вошел в состав сборника Нефедова «Святочные рассказы».

I

Вечерело... Еще запад румянился в потухающем свете зари, а уж над снежной равниною блеснула, робко так блеснула и зажглась одна звездочка. Долго по всей широкой Руси православные ждут появления вестницы небес, целый день соблюдая нерушимо пост; но только увидят, что взошла звездочка, деревенские люди невольно благоговейно перекрестятся и промолвят: «Слава Богу! Дождались мы звезды Христовой». Хозяйки торопливо соберут ужинать, домашние все помолятся иконам и усядутся за накрытые столы, принимаясь за тюрю и «взварец». Между тем показался золотой серп молодого месяца, посмотрел он на звездочку, стыдливую красавицу, отчего та побледнела, и начал светить миру. Незаметно, но тем не менее поспешно опускаясь к земле, будто нарочно с тою целью, чтобы ей было светлее, месяц дал время кому-то рассыпать по небу бесчисленное множество звезд, и, не успели еще в деревнях отужинать, завалился куда-то, не то за наметанные высоко сугробы, не то за чернеющий вдали лес. Как только месяц спрятался, необъятный темно-синий свод, распростершийся над безмолвною снеговою равниною, весь разом вспыхнул и затрепетал: ярко заблистали крупные звезды, переливаясь разноцветными огнями, высыпали все до одной и затеплились малые; а по небу, с юга на север, вскинулась серебристая бесконечная река, в бездонных, каким-то особым юным светом мерцающих глубинах которой кружились без числа хороводы алмазов и бриллиантов-малюток... Сказывают, что это в селениях

райских, пред лицом самого Бога, души невинных младенцев и сирот шумными толпами играют и веселятся по случаю рождения Иисуса Христа... Наступила святая ночь.

II

Время близко к полуночи. По дороге из деревни Липовки к селу Вознесенью показалась кучка ребяток, человек из десяти; впереди бодро выступали трое пареньков-подростков, а за ними мелкими, частыми шажками поспешали малыши, лет от восьми до одиннадцати. Все они были одеты в новые, крытые черным сукном и казинетом, длинные шубы со сборами назад, в черных валеных сапожках и в пеньковых, похожих на плюшевые, высоких шапках. Исключение составлял один десятилетний мальчуган, на котором казинетовый тулупец едва прикрывал колени, ноги были обуты в поношенные серые валенцы, а голову покрывала вытертая овчинная шапчонка. Куча подвигалась вперед с оживленным говором; но, приблизясь к лесу, разом стихла и молча продолжала свой путь между двумя стенами высоких сосен и елей, прихотливо разукрашенных пушистым снегом и исполненных какою-то таинственностью. Уже с версту лесом прошли ребятки, тесня друг к другу и не пророня ни одного слова. Мальчуган в коротком тулупце осмелился, однако, нарушить тишину лесного царства:

— Гляньте-ка, братцы, как звезды-то вверх пынут!

Малыши вздрогнули, боязливо озираясь, и еще плотнее сучились, а большаки подняли вверх головы.

— Да, шибко что-то они горят, — проговорил негромко один и замолк.

— Что делают, что делают! — не унимался малыш в коротком тулупце. — А махонькие-то — ровно в прятки играют!

— А ты помолчи, Ванюшка, — пострадал старший из подростков, — ночью в лесу не больно гоже разговаривать-то... Вот сейчас на поляну выйдем — там говори, сколько хочешь.

— Да нешь лес-от страшен? — усомнился Ванюшка. — Вреда никакого, чай, он человеку не сделает. Я бы и один в лесу не забоялся, — добавил уверенно мальчуган.

— Ванька, нишкни! — дрожащим от страха голосом при-

крикнул на смельчака сверстник Кузьмин, которого товарищи считали за самого храброго и отчаянного парнишку.

Ребятки наддали и быстрее зашагали дальше.

Через несколько минут лес расступился, и перед глазами пешеходов открылась неоглядная белая поляна. В кучке громко заговорили передние, а среди малышей послышался смех: теперь уже никто и ничего больше не боялся. Но всех довольнее был Ванюшка. К празднику бабушка сшила ему тулупец; два года собиралась она порадовать внука обновкой, по грошам сколачивала деньжонки и, наконец, сгоношила целых пять рублей, на которые купила овчинок, казину и сделала внуку шубу. Нужды нет, что тулупец коротенок вышел, снизу поддувает мальчугану, и валенцы с шапкой поношенью, главное — он в новой шубе, и ему не стыдно будет заутренею стоять с товарищами в церкви и слушать певчих, которых учитель набрал в своей школе. У него в кармане копейка, на которую он купит восковую свечку и поставит перед образом праздника Рождества Христова. Наутро разговееется, пойдет гулять, на деревне везде увидит народ. Весело будет!

— Однако, братцы, за нос стало пощипывать, — сказал тот самый паренек, который предостерегал Ванюшку не разговаривать в лесу. — Должно, к утру крепко закалит.

— Нет, Федор, это с леса так, — подхватил Ванюшка, — там шли, тепло было, потому в лесу завсегда теплее, чем в открытом месте.

Большак ни слова не промолвил: соглашался ли он с мальчуганом или, сознавая перед ним свое превосходство, как старший, пропустил мимо ушей замечание Ванюшки; но зато мальчуган, которого прозывали Прошаткою Кузьминым, не утерпел и громко отозвался:

— Уж ты, перевозчик, у нас все знаешь!

Ванюшке насмешка товарища не понравилась.

— А ты, вот, и про это не знаешь, даром что у своей избы первый храбрец и задирало из всей деревни.

Кузьмин не нашелся что ответить перевозчику, а другие ребята его же самого на смех подняли.

— Что, Прошатка, съел! Вперед не высказывай.

— Ладно. Я, коли так, не дам Ваньке гармоньи играть.

— Да как ты еще не дашь? Ты не хозяин гармошке: деньги на нее все вложили, — гармошка мирская.

— А отец ему больше денег на гармонию дал.

Спор разгорался. Одни за сына Кузьмина стояли, а другие оспаривали право мальчугана распоряжаться мирскою гармошкою. Передние, большаки, не вмешивались: они вели солидный разговор — о нынешнем тяжелом годе, трудности прожить до нового хлеба, а заработки на стороне упали, на фабриках работу сокращают и т. п. Они так углубились в разговор, а малыши увлеклись спором, что и не заметили, как догнали их сани и ехали теперь за ними шагом. На передке, в нагольном тулупе, помещался мужик и правил лошадкою, а в обшивных сидел кто-то похожий на барина, в медвежьей шубе и черной мерлушечьей шапке. Как седоку, так и кучеру отлично был слышен ребячий спор. Прошатка, разгорячась, выпалил в кого-то нехорошим словом.

— Вот это дело, — сказал Ванюшка. — И не стыдно тебе, Кузьмин, браниться? Какой завтра день? Вспомни-ка!

— А ты нишкни! — вскинулся тот. — Я без тебя знаю...

— Нет, брат, видно, не знаешь. Ну-тка, скажи, куда мы теперь идем? Прошатка запальчиво крикнуть:

— Замолчи!.. Вор!

На несколько секунд все стихли: так озадачило их последнее слово.

— Ах, Прохор! — с болезненной тоскою в голосе вымолвил погода Ванюшка и ни слова более уже не добавил.

— Вот тебе и Прохор! — передразнил Кузьмин. — Что, прикусил язык-то?

Не сразу Ванюшка собрался с духом ответить:

— Я не вор... Мне картинок захотелось... Мал я тогда еще был, ничего не смыслил.

— Не смыслил ты!.. А в лавку к дяде Андрею залезть смыслу достало?

— Да разве я за худым чем? — с тою же мукою в голосе оправдывался Ванюшка. — Ведь я ничего бы не взял.

— Все равно, перевозчик, а в лавку ты залез, — вмешался Петяйка. — Мы помним.

Тут позади раздался звучный голос:

Ф. Д. Недфедов

— Мир дорогою, добрые люди!

Ребятки посторонились.

— Учителев барин! — шепотом перемолвились.

— К утрени, что ли, пробираетесь? — спросил из саней в медвежьей шубе.

— К заутрени идем, желаем и обедню отстоять, — отозвались подростки. — А ты, барин, куда едешь?

— Я тоже в церковь... Не подвезти ли кого?

— Спасибо. Не больно, чай, уж много до села осталось... Надобно для Бога потрудиться... Дойдем потихоньку.

Барин обратился к перевозчику:

— Ваня! Ты не хочешь ли? Довезу.

Мальчик хотел броситься к саням, но в нерешительности остановился.

— Нет... Спасибо. Я уж не стану от товарищей отбиваться.

— Ну, как хочешь... А после утрени ты в церкви подойди: мне надо с тобою поговорить.

Мужик хлестнул вожжами, лошадка побежала рысцою, и пошевни очутились впереди. Ребятки их далеко проводили глазами.

— Да что он рано больно поехал? — недоумевала кучка. — Нешто не к попову ли сыну наперед заедет?

III

Барин, проехавший мимо, гостил в полуторе версте от Липовки, в большой деревне, где была школа. Он приехал весною из Петербурга, нанял в квартире учителя комнату, прожил лето и зазимовал. Ребятки видели его часто с ружьем; отдыхая в их деревне, он перезнакомился с мужиками, и его все звали «учителевым барином».

— А что, ведь, учителев барин, пожалуй, слышал, как ты, Прошатка, бранился, — сказал Петяйка.

— Так что, — отвечал тот, — наплевать мне на него.

Еще за час до начала утрени богомольцы пришли в село. У низенькой каменной ограды везде стояли пошевни-сани, в них сидели мужики, девки и бабы; внутри ограды и на ступеньках паперти толпились ребятки, пришедшие из разных

деревень. Липовские потолкались между ними, встретились со знакомыми, обменялись друг с другом деревенскими новостями, и, как только дверь на паперти отперли, все хлынули в церковь; некоторые остановились у «казенки», чтобы взять свечки. Купив копеечную тоненькую свечку, Ванюшка сам зажег ее, прилепил на большой подсвечник и стал перед иконою праздника.

Началась служба. При полном освещении, церковь битком набита деревенским людом; впереди, между обоими клиросами, выстроились рядами ребята и пареньки, одетые хоть и не одинаково, но по-праздничному, все с гладко причесанными волосами, свежими, румяными лицами и блистающими глазами. По церкви разносится синеватый дым ладана, священник и дьякон служат в новых светлых ризах, хор певчих, под управлением регента-учителя, громко и торжественно поет: «Христос рождается, славите!..» Боковые двери приотворены, но в церкви жара и духота. Ванюшка не спускает глаз с иконы, глядит он на Деву Марию, младенца Христа, лежащего в яслях, и пастухов, преклоняющих колена пред Сыном Бога, на Которого пал широкий луч стоящей на небе звезды. Лицо мальчика грустно, светло-русые волосенки на висках прилипли, в голубых глазах дрожат и сверкают слезы; по временам он глубоко о чем-то вздыхает. Но вот, точно он вспомнил что, поспешно стал креститься и кланяться в землю; долго и не переставая молится, как будто в этой необычайно горячей молитве он хотел излить все горе своего детского сердца, позабыть страшную обиду, от которой жжет ему лицо и бросает всего в испарину... Давно ли еще он был так счастлив, его радовал новый тулупец, и впереди светло улыбался праздник. Он уже почти и позабыл про тот «грех». А ведь это «несчастье» так давно с ним случилось, когда и семи годов ему не минуло, да никто и ни разу не попрекнул его, а вот сегодня. Прохор вдруг обозвал его... вором!.. Теперь уж сведал и учителей барин, а к нему, перевозчику, ведь, он был всегда добр, говорил, что надо грамоте учиться, и сам хотел куда-то его пристроить... Ванюшка робко повел глазами в сторону клироса. Вот он с кем-то, словно тоже с каким барином, стоит, бородку черненькую пощипывает, да изредка серьезно, словно о чем раздумывая, посматривает на мужиков,

а те плечо о плечо стоят, пот с лица у них градом льет, и они усердно молятся. Поглядывает барин и на ребятишек, видит и его, Ванюшку... А ему и глаз на барина не поднять — стыдно!.. Что он теперь о Ванюшке думает?.. О чем он хотел с ним поговорить? Верно, об этом... «Нет, лучше убежать из церкви... Вон и парнишки от меня отворачиваются...»

Продолжительна рождественская утренья, особенно когда священники не торопятся и поют певчие. Трудно бывает выстоять всю службу до конца; не раз, кто помоложе, выйдет на паперть освежиться и посидеть, а ребятенки то и дело в боковые двери шмыгают. Еще половина утрени не отошла, а Ванюшки в церкви уже не было; не видели его и товарищи на паперти. Но никто не подумал, чтобы мальчуган куда-нибудь один ушел. Про ссору на дороге они и не вспомнили. Окончилась утренья, из церкви народ повалил на волю, чтобы отдохнуть и дожидаться обедни, которую батюшка обещался, великого праздника ради и ввиду немощи людской, отслужить до света, вскоре после утрени. Липовские ребята хватились Ванюшки, стали разыскивать его в толпе и по ограде, но нигде не отыскивался мальчуган. Порешили, что, верно, он с учительным барином уехал, — ведь тому надо мимо Липовки ехать. Немало ребятки были изумлены, когда воротились в церковь за обедню и увидели у клироса на прежнем месте стоявшего барина. — Должно быть, с кем из мужиков домой уехал, — догадались они, и скоро товарищи о перевозчике позабыли.

IV

Еще ярче горят и блещут звезды, час от часу светлее лазурь неба, и млечный путь разливается в дивном сиянии. Какая-то, чувствуется, небесная радость неслышно проносится по снежной равнине, наполняет собою леса, деревни и села, и чистый, с бодрящим морозцем, предутренний воздух. В лесу, где пролегает дорога из Липовки в приходское село, есть сверточек, по которому мужики ездят за дровами, и там, на широком пне, прислонясь к толстому белому стволу березы, чернеется фигурка маленького человечка. Это — Ванюшка. Он не в силах был одолеть своего горя и печальных мыслей, неотступно пре-

следовавших его за божественной службой, и вышел из церкви, побрел, ясно не сознавая, куда и зачем он идет. Свежестью зимней ночи пахнуло ему в лицо, но он не почувствовал и шел с понурой головою. Сколько времени он брел — не помнит, ноги его начали устывать; он приподнял голову и взглянул на величественное звездное небо. Мальчуган приостановился, огляделся по сторонам и перекрестился... Перед ним чернел знакомый лес, а позади, из снегов, вставала и поднималась высоко не виденная им раньше церковь; она, показалось Ванюшке, стояла на небе и со всех сторон была убрана звездочками. Он вспомнил, что не отстоял всей утрени: зарыдал, упал на колени и принялся горячо молиться... Чудесно светилась «небесная» церковь, вливая в его сердце любовь и покой, а звезды глядели ему прямо в глаза. Снова плетется Ванюшка по дороге к своей деревне; ноги его оступаются, он ежеминутно готов упасть и ищет глазами местечка, где бы можно было присесть. Тихо в лесу, тепло и ничего не страшно; сквозь верхушки сосен и толстые сучья березы на мальчугана заглядывают опять все те же светлые звезды. «Посижу, отдохну маленечко, да после и пойду», — думает Ванюша. Он прислонился к березе, и перед ним, неожиданно для него самого, встала и быстро промелькнула вся его недолгая, сиротливая жизнь.

V

Отца своего он не помнит; матери невмочь было поднять тягло, она сдала землю в мир и сама ушла на фабрику, где вскоре и зачахла. Из всей родни у него осталась одна бабушка, да еще троюродный дядя, которому «общество» отдало безвозмездно держать перевоз через реку. Ванюшка стал жить с бабушкой; ему тогда было всего шесть лет. В деревне один крестьянин потторговывал, имел лавочку с разной всячиной. Проходя мимо лавочки, Ванюшка постоянно заглядывался на стеклянную банку, стоявшую на низеньком прилавке: изнутри она кругом была выложена разными маленькими картинками, — Ванюшка после узнал, что это — конфеты. Часто и подолгу любовался он «картинками», ему хотелось иметь хотя одну из них, но попросить у дяди Андрея он не посмел. Раз, проходя мимо

Ф. Д. Недфедов

лавчонки, мальчик остановился, чтобы полюбоваться на свои картинки; за прилавком никто не сидел, — и неудержимое желание овладело им взять картинку; переступил порог, протянул ручонку к банке и достал одну, как вдруг чья-то рука схватила его за волосы, приподняла кверху, и загремел голос:

— Ты это что делаешь, а?

Он замер от страха. Дядя Андрей потряс и опустил.

— Сирота ты, а за какие дела принимаешься, — проговорил. — Пойдем-ка, я сведу тебя к старухе.

Ванюшка ничего не понимал, только плакал и на все вразумления отвечал одними и теми же словами:

— Мне не конфетки, а картинки любы...

Деревня дня с три только и говорила, что о поступке Ванюшки; товарищи как-то особенно на него посматривали, точно на зверька какого; бабушка утешала его, но наказала, чтобы вперед он без спроса никогда и ничего чужого не брал, что это перед Богом грех и перед добрыми людьми стыд. В деревне перестали о нем говорить, товарищи по-прежнему с ним играли и бегали. Скоро дядя приставил Ванюшку к делу: взял на перевоз в помощники и положил жалованья по полтиннику в месяц.

— Смотри, Ванька, — сказал, — служи честно, деньги, кои без меня с приезжающих или пешеходов чужих станешь получать, — отдавай мне до копеечки, безо всякой утайки. А если я про твою фальшь сведаю, то я тебя взлущую, не в пример лучше, чем дядя Андрей. Помни!

VI

И Ванюшка с ранней весны, как только пройдет лед, и до поздней осени, вплоть до заморозков, дни и ночи жил на реке: забежит домой поесть к бабушке — и опять на перевоз. «Служба» как раз по нем пришлась: на лодке когда случалось перевозить — веслом не трудно было грести, а на пароме, когда скопилось много народа или ставили телеги с лошадьми, за канат тянули сами мужики. Дядя только вначале перевозил, а потом все дело препоручил Ванюшке, потому что летом мужику крестьянствовать надо. Деньги за перевоз Ванюшка без утайки, все до копеечки, отдавал хозяину, а жалованье свое приносил

к бабушке. Случалось, редко, правда, что иногда какой мужичок, возвращавшийся навеселе с базара, зная про сиротство перевозчика и видя, как такой малыш в ненастье и холод, босоногий, в плохонькой одежонке и худых портчишках, откладывал и закладывал затворы, тянул за канат, — расчувствуется до слез и, кроме пятака казенной платы, пожертвует от своего жалостливого сердца малышу копейку. А раз проезжая барыня так гривенник ему пожаловала! И эти жертвуемые и жалуемые деньги Ванюшка отдавал своей бабушке... Бедно, ах как бедно они жили с бабушкой! Зиму коровкою только и питались, потому что жалованья зимою Ванюшка не получал... И вот три года он в перевозчиках... Дядя, хозяин, не обижал племянника — разве, когда выпивши, даст тукманку или «леща». Только вот осенью приходилось терпеть: студеная вода заливалась мальчугану за порыжелые голенища дырявых сапог, ноги от холода жгло и руки коченели, а ночью, лежа в шалаше, он зяб и дрожал... Зато весною, летом...

И по лицу Ванюшки проходить счастливая улыбка. Ему уж рисуется картина весны...

— А не пора ли мне идти? — вспомнил мальчик. — Ровно бы я уж поотдохнул... Али еще посидеть? Тепло, хорошо тут-тка... А звезды-то, звезды-то как глядят!.. Вот весной они не так смотрят, и той, белой-то реки с заводами, не видать тогда. Вишь, по ней сколько звездочек-то махоньких, словно кто их из лукошка просыпал!

И снова та же счастливая улыбка прошла по лицу мальчика; глаза его жмурятся, точно от солнечных лучей. Он видит голубую реку, окаймленную по обеим сторонам свежей, только что распутившейся, зеленою листвою кустов и деревьев; там, где берег круче и лежит тень, — тонкий пар подымается; а где ударяло солнышко — там золотая рябь сверкает. В кустах свищут малиновки, пеночки и другие птички, а под ясным небом заливаются жаворонки... С другого берега кричат: «Перевозчик!» Ванюшка вылезает из шалаша, сбегает на плот, наскоро умывается свежеею водою, крестится на «восход» и отвязывает паром... Солнце все выше-выше поднимается, с деревни прибегают ребятенки, начинается по зеленому лугу беганье, игры, и раздаются веселые крики...

Ф. Д. Недфедов

Вон идет какой-то охотник, с ружьем и сумкою через плечо, впереди бежит собака. Подходит.

— Здорово, ребятки!

— Здорово.

— Вы здешние?

— Вестимо — здешние. А сам-от ты откуда?

— Приезжий. Я из Питера.

— Ой! Так далеко... Как же ты к нам зашел?

— А я тут близехонько от вас живу, рядом, в деревне Дубках поселился... Знаете вы тамошнего учителя?

— Видали.

— Так я у него живу. Сейчас — видите — на охоту иду. Где тут у вас перевозчик?

— А ты на пойму, что ли, хочешь?

— На пойму.

— Так пойдем к лодке. Я перевезу.

— Да разве самого перевозчика нет?

— Ай ты не разглядел? Я самый и есть перевозчик.

Охотник смеется.

— Ну, перевозчик! Э, да лодка-то какая: ты, пожалуй, потопишь еще меня? Гляди, сколько воды в нее налилось. Худая она у тебя?

— Не сумлевайся! Благополучно доставлю. А воду-то я, пожалуй, ковшичком вычерпаю.

Перевоз Ванюшка охотника.

— Сколько за труды тебе следует?

— Две копейки.

— Кому же эти деньги пойдут? Миру?

— Знамо, хозяину.

— Получай хозяйские две копейки! А вот это тебе от меня в награду за то, что не потопил, перевез благополучно.

— Ой! Да что больно много жалуешь?

— Бери.

Пятиалтынный дал! Ушел, в кустах скрылся, и собака за ним побежала, тоже скрылась.

— Кто бы это такой? — переговариваются на луту.

— Слышал? Из Питера сам, остановился в Дубках, стал к учителю на фатеру. — Надо полагать — барин.

— Знамо, барин. Видишь, чай, по обличию и по одежде кто... Выходит, он теперь учителей барин.

Помолчали ребята.

— А что, не выкупаться ли нам, братцы?

— Давайте! Бежим на знакомое местечко.

Вечер. По небу пышет заря. У шалаша, на тепiline, ребятечки пекут картошку. Воздух недвижим и тепел; вверху, кой-где, мелькают серебряные звездочки. Слышно, как струится река, всплескивается рыба. В кустах запевают соловьи; сперва один зашелкал, за ним другой, а там уж по всему берегу и залились, и закатились... Всю ночь поют. Ванюшка засыпает и просыпается под их несмолкаемые песни, а с лугов во всю-то ночь разливается аромат трав и цветов... Господи, как хорошо, весною сиротам на свете жить!..

А лето?... И новые, одна за другой, встают перед Ванюшкой картины. Везде — река, лес, цветы, солнце и тепло... Время от времени появляется у перевоза охотник, учителей барин, говорить с Ванюшкой, расспрашивает его о житье-бытье... Добрый он барин! Жалеет Ванюшку, говорит, что надо как-нибудь получше устроиться, — промысел его ненадежен, а бабушка стара. Барин к ним и в избушку заходил, разговаривал с бабушкой... «Хорошо, если бы барин в училище меня отдал, в люди произвел...» Но это кто? Прошатка Кузьмин... Какое у него лицо злое... А, вон и дядя Андрей идет, сердитый, глазами так страшно поводит...

— А! Тут ты?

Ванюшка трепещет и весь замирает...

— Дядюшка!.. Я не виноват, я ничего не сделал...

Дядя Андрей обжог только глазами и ухватил Ванюшку за шиворот.

— А про картинки-то, видно, ты и позабыл? — загремел мужик.

— Волоки его, волоки, дядюшка Андрей! — кричит Кузьмин сынишка...

Громкий, мучительный стон вырвался из груди Ванюшки, и в глазах его помутилось... Вдруг он как будто услышал голос барина, кто-то поднял его, погода опустил, и он почувствовал, что под ним быстро-быстро так побежала земля.

VII

Уже скоро полдень. Ради великого праздника светит солнце, любовно заглядывая в маленькие оконца бобылкиной избенки. На лавке, прикрытой шубенкой, спал Ванюшка. Старуха беззвучно двигалась по избе, тревожно взглядывая на спящего внука... Луч солнца упал на лицо мальчугана, веки его дрогнули, и глаза открылись; он посмотрел вокруг и увидел знакомое старушечье лицо.

— Бабушка! Да где я?

— Дома, касатик! — обрадовалась старуха и подошла к лавке. — Выспался ли, дитятко?

Внук недоумевал.

— Бабушка! Да ведь я в лесу был, я помню, оттуда не приходил. Как же я дома-то?

— А тебя, родимый, ангелы принесли. Ты в лесу-то заснул, может, и замерз бы там, а Бог-то не попустил, велел ангелам взять тебя и к бабушке доставить. Головка у тебя не болит? Ты здоров? — и она приложила ко лбу внука свою морщинистую руку.

— Да я здоров, бабушка! Со мной ничего не случилось, — и мальчик вскочил, сел на лавке и весело глядел на лицо старухи, на прибранную избенку и ясный, солнечный день, манящий все живое на улицу. — А ты мне скажи, как я домой-то попал?

— Все расскажу, сперва только встань, умойся, да наперед Богу помолись.

Внук спрыгнул с лавки, босиком подбежал к глиняному ручкомойнику, умылся и помолился Богу.

— С праздником, бабушка, тебя поздравляю!

— И тебя с праздником, касатик!.. Ну, а теперь-то оденься и поешь!

Старуха подала внуку новую ситцевую рубашечку и нанковые штаники; поставила черные валеные сапожки и положила на стол хорошую шапку. Мальчик обрадовался, увидав обновки.

— А где ты это взяла? — спросил он.

— Бог тебе прислал.

Нарядив мальчика во все новое, расчесав гребешком мягкие шелковистые волосы и посадив его на лавку, старуха рассказа-

ла, как учителей барин, возвращаясь от обедни домой, услышал близ дороги в лесу ребячий стон, выскочил из саней и побежал на этот стон. Глядит, спит на пне, прислонившись головушкой к березке, мальчик, — испугался, подумал, не помер ли уж мальчик; но видит, теплый весь, а по личику румянец разливается. Взял мальчика на руки, положил в сани и привез к бабушке.

— Ты и в избе, как несли тебя, не просыпался; так сонного тебя мы с барином и положили, — заключила свой рассказ старуха.

— Так это барин обо мне порадел! — воскликнул благодарно Ванюшка. — Он, наш кормилец. Вскоре, как ты с товарищами к заутрене ушел, приехал и он, гостинцы, обновки тебе привез. Дорогой-то, сказывал, он обогнал вас.

Мальчик вспомнил, что произошло с ним накануне, и все радужные краски сбежали с его лица. Старуха заметила перемену во внуке.

— Долго ты спал, — промолвила она. — Ребятенки уж два раза по тебя прибегали. Кузьмин Прошатка с гармонией приходил.

— А он ничего тебе не говорил?

— Да говорил, чтобы ты, как встанешь, гулять к ним поскорее выбегал.

Ванюшка просиял.

— Так давай мне чего поесть, да я и побегу к ним.



Сергей Терентьевич Семенов

Шпитонок^{*}

С. Т. Семенов (1868—1922) происходил из бедной крестьянской семьи, из 14 детей выжил только он. Самоучка, с детства скитался по России в поисках заработка. Писать стал под влиянием народных рассказов Л. Н. Толстого. В конце 1880-х гг. вернулся в родные места Московской губ. и занялся крестьянским хозяйством. Писал в основном зимой, практически все сочинения посылал Толстому на отзыв. В 1900-е гг. путешествует по Европе, общается с революционерами-эмигрантами, принимает участие в крестьянских волнениях 1905 г. С толстовским движением разошелся во взглядах на крестьянский вопрос, активно поддерживал аграрную реформу П. А. Столыпина. После революции занимался общественной деятельностью в деревне. Был убит соседом. Рассказ «Шпитонок» был опубликован отдельной брошюрой в серии издательства «Посредник» (№ 156, 1894, затем многократно переиздан).

^{*} Так зовут в деревне питомцев воспитательного дома. — *Примеч. авт.*

I

Было очень раннее утро. Ночная темнота чуть-чуть поредела, как одна из заботливых хозяек деревни Пуриковой, Маланья Гарина, уже вскочила с постели, накинула на вскосмаченную голову платок, пошатываясь подошла к окну и выглянула на улицу.

На улице было темно и тихо. Хотя на востоке загоралась заря и звезды начинали тускнеть, но в Пуриковой все еще спали.

Время было — вторая половина августа. Везде шло яровое жнитво, во время которого в поле рано не ходят, а ждут, когда сойдет роса, поэтому вставать и не заботились.

Видит Маланья, что светает уже, решила больше не ложиться и отошла от окна, подошла к рукомойнику и стала умываться.

Пока умывалась и молилась Маланья, делалось все светлее и светлее. В избе уже можно было все разглядеть: и постланную на полу широкую соломенную постель, на которой спали большой косматый мужик, муж Маланьи, и двое ребятишек — девочка лет десяти и мальчик лет пяти; и стол, и лавку, и коник, где лежала куча разного тряпья. Помолившись, Маланья подошла к постели и стала толкать мужа ногой.

— Аксен, а Аксен!

— А-а? — заспанным голосом промычал Аксен и, не открывая глаз, начал почесываться.

— Будет дрыхнуть-то, вставай!

— Что такое там? — пробормотал Аксен и, поднявши голову, стал протирать глаза.

— Что? Вставать пора, чай, косу бить надо.

Аксен ничего не сказал, а молча поднялся с постели, подошел к конику, сел на пего и стал набивать трубку. Маланья пошла доить коров.

Когда Маланья, подоивши коров, вернулась в избу, Аксен все еще сидел на конике и курил. Маланья осердилась.

— Ишь надымил, дышать нельзя...

— А ты не дыши, кто тебя заставляет? — выколачивая трубку, проворчал Аксен.

— Не дыши, — вот горазд ты незнамо что молоть-то, а нет того, чтобы поскорее за дело взяться.

— За какое? Коров доить? Пожалуй, без привычки-то все соски пооборвешь.

— Тебя коров доить не заставляет.

— А печку топить — бороду спалишь; это вам потому и борода-то не дано, что печку топить положено.

— Вот и поговори с дураком, — уже совсем разозлившись, сказала Маланья и, процедив молоко, подошла к постели и стала толкать спавшую там девочку.

— Дашка, а Дашка! Дашка!

Девочка что-то промычала, но не очнулась. Маланья взяла ее за плечо и стала трясти.

— Дашка! Тебе говорят-то, вставай!

Девочка опять что-то промычала, но не просыпалась. Маланья совсем из себя вышла.

— Да что ж ты не встаешь-то, дрыхня этакая! — крикнула она. — На вилах, что ли, подымать? Вставай!

И Маланья так тряхнула девочку, что та сразу вскочила на ноги и заплакала.

— Что захныкала? Спать бы тебе все, крапивница! А нет заботушки, чтобы пораньше встать да что-нибудь матери пособить! У, выпороток.

Девочка сразу замолчала и как-то съежилась. Постояв минуту на одном месте, она подошла к рукомойнику и стала умываться.

— Ворочайся проворней да за грибами ступай, беги места-то, пока другие не захватили, — крикнула Маланья.

Дашка нагнулась под лавку и стала что-то шарить там.

— Ты что там еще лазишь?

— Да обуться во что бы, а то холодно, — как-то жалобно пропищала Дашка.

— Я те дам холодно, — крикнула Маланья. — Ишь какая нежная, знать, правда все шпитонки-то на дрожжах замешены. Так ступай: нечего без поры безо времени обувь трепать.

Дашка еще больше съежилась, личико ее сморщилось, глазки слезами заволокло. Ничего не сказала она, а взяла корзинку и вышла из избы.

Маланья стала топить печку. Аксен умылся, обулся и пошел отбивать косу. Отбивши косу, он опять вернулся в избу. У Маланья дымился горячий картофель в котле. Заметив это, Аксен проговорил:

— А, и завтрак готов?

— Готов, — промолвила Маланья, — садись!

Аксен вымыл руки, вытер их об утирку и стал молиться на иконы. Помолившись, он взглянул на спящего на постели мальчика и спросил:

— А как же Николку-то, — будить?

— Пушай его, ишь как крепко спит, — сказала Маланья и с нежностью поглядела на мальчика.

— Да поел бы вместе.

— Ну после поест. Я ему оставлю.

Аксен сел за стол, отрезал себе хлеба, вынул из стола солонку и стал чистить картофель. Маланья поставила чашку на стол и налила в нее молока. Стали завтракать.

Но успели Аксен с Маланьей и по одной картошине съесть, как Николка зашевелился на постели и поднял голову. Увидав, что отец с матерью завтракают, он протер глаза и пролепетал:

— Мама, поесть.

— Поди, поди, маленький, поешь, только умыться надо. Поди — умою.

И Маланья взяла Николку на руки, поднесла к рукомойнику, умыла, утерла и посадила за стол. Мальчик взял кусок хлеба.

— Картошеньки хошь? — сказал Аксен и подал Николке картошину.

Мальчик pokrutil головой.

— Не хочу картошки, коку хочу, — пролепетал он.

— Коку? О, миленький, сейчас, — сказала Маланья и, погла-

див по голове мальчика, вышла из избы и принесла из горенки яйцо. Открыв заслонку, она положила его в печку и проговорила:

— Вот сейчас испечется, подожди маленько.

Мальчик стал хлебать молоко.

Позавтракали. Маланья живо собрала все со стола и вынесла из избы. На столе осталась только небольшая горбушка хлеба и несколько картошин. Это Маланья положила в стол и сказала Николке:

— Николушка! Это вот няньке вели поесть, когда из лесу придет, да вели ей скорей перебирать грибы да в поле к нам приходиться с граблями.

Маланья одним духом убрала постель, вынесла пойло поросенку, нацедила кувшин квасу и вышла из избы. У крыльца сидел Аксен и прилаживал к косе грабельки.

— Ну, пойдем, — сказала Маланья.

— Пойдем, — сказал Аксен и, поднявши косу на плечо, пошел через улицу.

— А ведь роса-то сегодня очень холодная, девке-то нашей знобко будет, — сказал он.

— Ну, авось не околеет, живая душа, — молвила Маланья, шагая за мужем.

II

Даша только вышла из избы и сошла с крыльца, как почувствовала, что роса так холодна, что босиком идти трудно; но воротиться в избу и сказать об этом матери (как звала Маланью Дашка) она не решилась. Она знала, что все равно Маланья не даст ей обуви, а еще, пожалуй, пинком наградит; поэтому она, не раздумывая, прямо побежала в лес.

Лес от деревни был не более как в версте, но Дашка не пробежала и половины пути, как почувствовала, что ноги ей совсем охватило холодной росой: их и щипало, и кололо. Дашка, чтобы согреть их, побежала из всех сил.

Когда девочка прибежала в лес, то ноги ее прозябли до костей. Они так больно ломили, что Дашка еле могла сдержаться от слез. Добежавши до первой елки, она бросилась под нее.

Под елкой травы не было, а был насыпан игольник, поэтому не так холодно было. Дашке стало полегче, и она села под елкой, поджала под себя ноги и теплотой своего тела стала согревать их. Ноги согрелись немного, но Дашке не легче стало от этого: они «разошлись с пару» и так защемили и заломили, что Дашка уже не могла сдерживаться больше и заплакала в голос.

— О, батюшки! Ой, больно! — хватаясь за ноги ручишками и корчась всем телом, голосила Дашка. — У-у, родные мои.

Но ноги от этого не переставали ломить. Они как в огне горели. Сердечко Дашки от этого разошлось. Ей стало и больно, и досадно на Маланью, что она ее разутую в лес выгнала. «Ишь, ей обувки жалко, а не жалко меня-то. Небось Николку так не выгнала бы», — подумала она.

И Дашке стало так горько и обидно, что она еще больше расплакалась. Ей вдруг представилось, как обходились с ней все время Аксен с Маланьей и все люди, и это еще больше надрывало ей сердце.

III

Вывезли Дашку из воспитательного дома в небольшую семью; взяли ее потому, что свой ребенок умер, на его место и взяли. Там ее думали и вырастить, но вскоре кормилица Дашки опять родила, потом через год еще. Ребята остались живы, и Даша стала в тягость, и стала кормилица ей место приискивать...

Отдали ее Маланье. Девочка горько плакала и кричала, когда ее взяла Маланья и повезла к себе. Привезла ее Маланья домой, хотела приласкать, дала ей баранку, но Дашка вывернулась от Маланьи, не взяла и баранки, а бросилась к двери и закричала, обливаясь слезами:

— Мама, мамушка... Мама!

Маланья, видя, что девка не на шутку разошлась, велела Аксену попробовать унять ее.

— Ты что ж это орешь-то, а? — притворно сердито крикнул Аксен. — А хочешь прутом? Замолчи лучше.

Дашка испугалась, затряслась и сразу притихла. Маланья посадила ее на печку. Дашка долго там всхлипывала, пока не обессилела; потом она крепко заснула. Проснулась Дашка,

огляделась кругом, вспомнила, где она, и опять в слезы. Маланья стала было опять утешать ее, но Дашка и слушать ее не хотела; отпихнула она прочь ее и закричала:

— О мама, о родная!

Маланья рассердилась.

— Я тебе дам маму, какой там еще маме кричишь, я тебе мама, слышишь! А будешь плакать — волку отдам.

Дашка опять забилась в угол, но не перестала плакать. Стала понемногу привыкать она к новому месту. Но так привыкнуть, как к родному, она не могла, все ей вспоминалась прежняя matka, и она тосковала по ней, на Маланью же с Аксеном волком глядела. Они также к ней ни любви, ни жалости не чувствовали: взяли они ее, как и почти всех «шпитонков» берут, из выгоды. Они только что отделились тогда от отца, нужды у них было много, ну и взяли, чтобы деньгами за нее нужде помочь. Сразу заложили они Дашкин билет, удовлетворили кое-какие нужды свои, а про Дашку и забыли, ни рубашонки, ни одежонки ей порядочной не справили. Держали они ее в чем попало, а кормили впроголодь. На то, что она тосковала, никто не обращал внимания. И сидела она в уголке где-нибудь или на печке. Помешает она Аксену или Маланье, дадут ей подзатыльник, перейдет она в другое место. Так и слонялась она целый день из угла в угол.

На первых порах, как привезли Дашку, стали было забегать в избу к Аксену ребятишки и девчонки, забегут и станут Дашку или на улицу звать, или в избе затеют играть, но Маланья живо отучила их.

— Куда вы пришли-то? — крикнет она на них. — Ребенка смущать? Убирайтесь, наша девка вам не товарка, у вас-то отцы и матери есть, они вас и балуют, а наша шпитонок, кто ее справлять-то будет? Ступайте вон.

Так росла Дашка загнанная и запуганная. Слезлива она была так, что от малейшей причины плакала. Больше всего за это ее не любила Маланья.

— Эх ты, — говорила она, — нюня этакая, все сердце надорвала; когда ты только поумнеешь-то?

Пошел третий год, как Дашка у Аксена с Маланьей жила, нужды у них поубавилось за это время, и они стали думать от-

дать Дашку кому-нибудь, да случилось так, что Маланья сама забеременела и родила. Дашка ей стала нужна как нянька. После того, как родила Маланья, жизнь Дашки еще хуже пошла. До этого с нее хоть ничего не спрашивали, а тут заставили ее нянчить маленького, качать его, жевать соски, бегать на речку с пеленками. Зимой еще не так трудно было: Маланья сама дома сидела, больше сама с ним занималась, но настало лето, начались работы, стала Маланья из дома уходить, — и пришлось девочке по целым дням с Николкой сидеть. Мальчик был уже порядочный, разойдется, расплачется, не знает, что и делать с ним, Дашка. Как его утешить? И в люльку-то его положит, и опять вынет, — начнет по избе с ним ходить, он плачет, и она с ним, и таскать-то его тяжело, и досадно, что не уймется ничем, и боится, чтобы мать не узнала, что орал у ней. А Маланья если узнавала, то не давала спуску: ты что ж, скажет, дура, не можешь ребенка уходить? И даст ей или тумака хорошего или за волосы дернет.

Чем больше вырастал Николка, тем хуже становилось Дашке. Мальчишка балованный, гневливый, от всякой малости раскричится так, что не унять его. Только Дашка отвернется на минутку, из люльки после него убрать или пеленку замыть, а он уж разорался.

Не любили Дашку ни ровесники, ни большие; все видели, какое житье ее, и все думали, что так и надо. «Что ж, — думали многие, — чего ж еще ой? Ведь она шпитонок».

Николка стал подрастать, начал кое-что смыслить, стал ходить, говорить. Дашка думала, — чем больше Николка будет, тем легче ей станет. Не тут-то было: мальчик вышел капризный, избалованный, нянькой стал всячески помыкать; разозлится иногда, царапает ее, начнет кусать. Маланья глядит на него и только посмеивается.

— Так, так ее, сынок, хорошенько, вперед умней будет.

Маланья говорила это в шутку, а Дашке было больно; но отбиваться от Николки она боялась и волей-неволей должна была все переносить на себе. Стал больше подрастать Николка, стало Дашке еще хуже с ним, приучился он драться с нею, стал матери на нее наговаривать: то бьет она его, то объедает. Дашке это не спускали.

Один раз Николка под беду ее подвел. Пошла она раз весною с Николкой к пруду. Стали бегать там на бугре, цветы рвать. Вдруг Николка вздумал взойти на кладки, с чего белые полошут, и оттуда ноги помыть. Дашка побоялась, как бы не свалился с кладок, стала его уговаривать не ходить туда. Николка обозлился, рванулся от нее и от этого не удержался на досках и упал в воду. Дашка как увидела это, так чуть не обмерла от испуга. Бросилась она на кладки и закричала во всю мочь:

— Николка утопился! Николка утопился! Батюшки мои!

Крик Дашки услышала одна баба, подбежала к пруду, поймала Николку за рубашонку и вытащила. Николка был без памяти. Баба отнесла его домой. Маланья как увидела мальчика мокрого и недвижимого, так чуть на ногах удержалась. Бросилась она к нему и вместе с бабой начала приводить его в чувство. Когда Николка опамятовался, то Маланья стала расспрашивать, как он в воду попал. Николка сказал, что его нянька столкнула.

— Это что ж, он надоел тебе, что утопить его хотела? — набросилась Маланья на Дашку. — Ах ты, подлая тварь, вот я тебе покажу дворянство.

Дашка поняла, что ей теперь немало вольется, пощады ей нечего ждать, и сердечко ее похолодело.

Стала она думать, как бы избежать наказания, и решила убежать из дома.

Выждав, когда Маланья вышла из избы в горенку за сухой рубашкой Николке, Дашка потихоньку тоже вышла из избы, пробралась на огороды и оттуда через поле бросилась в лес. Прибежав в лес, Дашка забралась в густой чащарь и засела там. Долго она сидела, ничего не думая, и только дрожала от волнения. Потом в голове ее зародились мысли, стала она думать, что дома делается: «Небось там ищут меня, мамка сердится; пусть поищут, а я не пойду туда, буду здесь сидеть».

И она дальше забилась в чащарь и свернулась калачиком. Ей было приятно, что она избежала наказания, а что дальше будет, ей еще не приходило в голову.

Долго сидела Дашка довольная, что так сделала, пока ей не захотелось поесть. Она долго крепилась, но голод взял свое,

и Дашка вышла из чащаря, побрела по лесу и стала рвать ствольник и щавель на лужайках и есть. Наелась Дашка до оскомины и нарвала было в запас себе, и хотела опять спрятаться в чащарь, как на нее наткнулись мужики, которых выгнали искать ее. Они схватили ее и повели в деревню.

Маланья встретила Дашку с перекосившимся от гнева лицом. Она молча схватила ее за руку и потащила за двор, где у них был небольшой садик. Там она наломала прутьев из крыжовника и стала хлестать ее. Дашке никогда так больно не приходилось. В ее тельце впивались острые шпильки крыжовника и, отламываясь, оставались там. Она благим матом кричала, что она не виновата, но Маланья ничего не слыхала. Она оставила ее только тогда, когда прутья все измочалились и она сама устала. Дашка повалилась на траву и, корчась от боли и рыданий, осталась тут. Когда Маланья стегала Дашку, то за загородкой стояли мужики и бабы и глядели на это. Все они стояли молча, жалости к девочке ни у кого не было. Маланья всем рассказывала, что Дашка нарочно толкнула парня в воду, поэтому все и считали, что стегают за дело. Только одна старуха не вытерпела и пожалела было Дашку. Она бросилась к Маланье и хотела у ней отнять девочку, но Маланья тут уж сама бросила и ушла из садика. Ушли за нею мужики и бабы; старуха осталась одна с девочкой.

— Эво как бьется, сердечная, — сказала старуха, глядя на Дашку. — Небось сердечко зашло. Дорвалась до тебя эта ведьма-то. И что это за люди, что у них к чужому дитю жалости нет?! — и старуха хотела было поднять Дашку с земли, но Дашка не вставала.

— Вставай, дурочка. Пойдем, в избу сведу, — сказала старуха.

— Никуда я не пойду, я умру тут, — захлебываясь от рыданий, пролепетала Дашка.

— Не умрешь, коли Бог смерти не пошлет, — сказала старуха. — Хоть бы лучше помереть тебе, потому что уж что твоя жизнь? Как ты сама не законная, так и жизнь твоя такая...

Дашка и тогда и после думала, отчего она незаконная и отчего ее такая жизнь, но своим умом она еще не могла решить, и только после эта же старуха разъяснила ей, кто такое она и почему зовется «шпитонок». Дашка узнала, что у ней, может

быть, есть родная мать и, может быть, еще живет в Москве богато. Она очень удивилась этому.

— Что ж она не возьмет меня к себе? — спросила она старуху.

— Как же ей взять тебя, может быть, она тайно тебя родила, чтобы никто не знал. А может, она в чужих людях живет, так где ж ей держать тебя? — сказала старуха.

Девочке это было понятно.

— Так, зная, ей не жалко меня, коли так?

— Где жалко! Она, чай, о тебе и не думает: родила, стащила, и ладно. Може, она после тебя еще пятерых родила да также сволокла.

— Так зачем же она родит-то?

— Так, родится... — сказала старуха. — Впрочем, не все одинаковые, бывают и жалостливые, находят своих деток.

— Матери находят?

— Да, разыщут, или с собой возьмут, или сюда наезжают, проводывают.

— И батьки находят?

— Нет, не слыхала, да разве у шпитонок есть отцы? Они небось и не знают и не думают, что у них дети есть.

Узнавши это, Дашка стала часто думать и желать, чтобы ее мать нашлась. Приехала бы и увезла куда-нибудь, где жизнь Дашки не такая была бы. И в таких думах Дашка забывала свою горькую долю. Зато еще тяжелее ей было, когда приходили эти думы. Видела она, что этого никогда не исполнится, что только думать об этом можно...

IV

Сидит Дашка в лесу и перебирает в памяти свою горькую жизнь. Ноги у девочки давно отошли, но сердце ее больно щемило, в горле у нее пересохло от рыданий, а она все плакала, плакала. Глаза у ней опухли и покраснели. Голова сильно болела, знобило. Однако Дашка вспомнила, зачем пришла в лес, и быстро вскочила на ноги. В голове ее еще сильнее застучало, но подумала, что это от слез, и пошла по лесу. Солнце давно уж обогрело землю, роса осталась только в тени деревьев. Дашка

уже не чувствовала холода и проворно бегала от елки к елке и нагибалась под них, ища грибов.

Но грибов ей на это утро мало попадалось. Должно быть, их выбрали, пока она сидела под елкой. Дашка испугалась, как ей прийти домой с пустой корзиной. Опять сердечко ее заныло, голову еще сильнее заломило. Дашка пошла тише. Озноб прошел, но вдруг все тело ее в жар бросило, руки у ней онемели, колени задрожали, она еле могла идти.

«Домой надо идти, — решила девочка, — что ни будет, что ж ходить?» И ее тянуло домой, захотелось прилечь, и она пошла вон из леса.

Пришла Дашка в избу, поставила корзинку под лавку и легла на коник. Николка, игравший около печки, увидав ее, крикнул:

— Нянька, мама тебе поесть велела да в поле приходите, грабли с собой взяли!

Дашка ничего не сказала, а накрылась зипуном с головой. Ее опять бросило в озноб, и голову страшно ломило.

— Что же не идешь-то, дура? — лепетал Николка. — Она те, мама-то, задаст!

Дашка всхлипнула и застонала. Николка замолчал и удивленно вытаращил глаза.

Между тем время приходило к половине дня. Аксен с Маланьей в поле уже докашивали третью полосу овса. Маланья то и дело обертывалась на деревню, поджидая Дашку, но ее было не видеть. Маланья сначала удивлялась, отчего нейдет до сих пор девка, потом стала злиться.

Когда докосили третью полосу, Маланья завязала последний сноп и сказала Аксену:

— Ну, ты тут таскай снопы да крестцы клади, а я пойду домой за обедом да узнаю, что там энта дура-то делает.

— Ладно, ступай, — молвил Аксен.

Маланья побежала ко двору. Ее разбирала досада, что девка не пришла в поле. Она представляла себе, что ее могло задержать дома, и ничего не могла придумать.

«Разве грибов много принесла, ну и не перебрала еще», — подумала Маланья, и при этой мысли досада ее маленько поулеглась, и она спокойнее зашагала к деревне.

Придя домой, Маланья быстро окинула избу взглядом и вдруг заметила валявшуюся на лавке пустую корзинку и самое Дашку, лежавшую на конике под зипуном. В один миг Маланью охватила сильная злоба, голос у ней сразу пресекся в гортани, и на лице краска выступила.

— Ты что же это, подлая, валяешься тут? Тебя в поле ждут, а ты дома дрыхнешь. Ах ты лежебока проклятая! — хрипло проговорила она.

И Маланья подошла к лавке и сдернула зипун с Дашки. Девочка подняла голову, испуганно взглянула на мать и хотела было сказать, что у ней голова болит, но Маланья не дала ей и рта разинуть, а схватила ее за косенку и стащила с коника. Дашка запищала.

— Молчать, отродье поганое, — крикнула Маланья, — живо собирайся в поле... Ах ты, дармоедка чертова.

И она дала Дашке пинка в спину и пошла к Николке. Дашка, шатаясь и обливаясь слезами, пошла из избы за граблями.

Приласкав Николку, Маланья полезла в печь и достала горшок щей и только что хотела вылить их и глиняный кувшин, чтобы нести в поле, как ей послышался колокольчик. Маланья поставила горшок и подошла к окну. Колокольчик слышался недалеко. Выглянув в окно, Маланья увидела едущего вдоль улицы на паре рыжих сытых лошадей, запряженных в тарантас, полного господина в очках и в фуражке с кокардой и живо отскочила от окна.

— Батюшки, объездной! — воскликнула она, опрометью бросилась к двери и закричала: — Дашка, а Дашка! Иди скорее в избу!

Дашка вошла с опухшим лицом и еще всхлипывая.

— Умывайся скорей, к объездному пойдем, — крикнула Маланья, бросилась к небольшому сундучку под лавкой и стала вытаскивать из него белье для Дашки.

— Ну, умылась, что ли? — спросила она, и когда девочка подошла к ней, то Маланья живо стащила с нее грязный набойчатый сарафанчик, накинула чистое ситцевое платице и повязала желтенький платочек. Платице было коротко и узко Дашке, но еще крепкое. Сшито оно было давно и надевалось на Дашку, когда приезжал объездной да разве в большие годовые праздники.

Нарядивши девку, Маланья велела глядеть ей повеселее, взяла за руку и повела к объездному.

Объездной надзиратель объезжает округ в два месяца раз и осматривает питомцев сам, взрослых спрашивает молитвы, учащихся грамоте проверяет в ученье и, найдя все в порядке, подписывает билет, по которому получается жалованье за питомцев. Если он находил что-нибудь не в порядке, то мог не подписать билет и этим оттянуть получку, или оштрафовать, или совсем отнять питомца и передать в другие руки. Поэтому все, у кого были питомцы, старались так сделать, чтобы объездному не к чему было придраться. Они приносили и приводили питомцев чистенькими, хорошо одетыми, больших подбадривали и научали, что отвечать. Большею частью объездной беспрепятственно подписывал билет, но этот раз он был почему-то очень придирчив. Одну бабу разругал за соску, другой не подписал билет за то, что семилетний мальчик у ней не знал ни одной молитвы. У Маланьи сердце дрожало, как бы не придрался и к ней. Хоть Дашка и умылась, но все еще было заметно, что она плакала. Да и вид-то у ней такой грустный был. Маланья вздрогнула, как объездной крикнул:

— Дарья Петрова!

Она подпихнула девчонку к объездному и стала глядеть, что будет. Объездной взглянул на Дашку и спросил:

— Богородицу знаешь?

— Зна-а-ю, — не сразу и шепотом сказала Дашка.

— Читай!

Дашка потупила голову и стала читать молитву, растягивая слова. Голос ее был сишный, объездной плохо разбирал.

— Громче читай, — сказал он.

Дашка вдруг остановилась и всхлипнула. Объездной сердито взглянул на нее и взял за подбородок.

— Это что такое? Да ты плакала?

Дашка разрыдалась совсем.

— О чем? Кормилица, ты ее обижаешь?.. Как ты смеешь казенного ребенка обижать? Тебе за него жалованье платят.

— Я, барин, кажись, ничего, ей-богу, — стала оправдываться Маланья.

— Как ничего? Я вижу. Я и раньше слышал, что ты дурно с ней обращаешься...

— Что, она тебя бьет? — спросил объездной Дашку.

— Б-б-бьет! — еле вымолвила девочка и еще пуще разрыдалась.

— Ну вот! Ах ты, негодница! Да я тебя под суд отдам. Я тебя выучу, как питомку обижать. Три рубля штрафа. Слышишь?

— Барин, простите, Христа ради: это она вам сдуру наболтала.

— Ни слова, а то больше запишу. Ах, каналья, да я тебя...

Маланья взяла Дашку за руку и вышла из избы, где объездной остановился. Только она очутилась на улице, как стиснула изо всей силы руку девочки и, сверкая глазами, прошипела:

— А-а, ты жалиться на меня? Постой, я те задам!

И она чуть не волоком потащила Дашку вдоль деревни, к своему двору.

Войдя в избу, Маланья, не выпуская из рук ручонку Дашки, сняла с колышка висевший на нем ременный чересседельник, с железным кольцом на одном конце. Дашка, увидавши это, вдруг вся затряслась и посинела от испуга. Сегодня и то немало пришлось ей вынести. Она и так была вся больна. Дрожа как в лихорадке, она опустилась на колена перед Маланьей и завопила:

— Мамушка, милая, прости, Христа ради... не трожь меня... лучше еще когда, мамушка, милая.

Она вся обливалась слезами, на нее жалко было глядеть, но Маланья остервенела и, кроме своей злобы, ничего не хотела ни видеть, ни слышать. Она взмахнула чересседельником, и конец с кольцом впился в худенькую спину Дашки...

Когда Маланья вернулась в поле, то Аксен был такой сердитый, что только она подошла к полосе, как он крикнул:

— Какого ты черта шлялась там до этих пор? Ты бы уж вовсе не приходила...

— Ты бы поскорей сходил, коли шустер больно. Там небось объездной приезжал, к нему ходила.

Аксен сразу осел и уже мягким голосом спросил:

— А Дашка-то что ж не пришла?

Маланью повело от вновь вспыхнувшего гнева.

— Дашка... Надейся на нее. Ведь она, дрянь, что сделала! Объездному пожалиась на меня, что я бью ее. Теперь штраф на нас записали.

— Ну, ты?

— Ей-богу. Ведь такая-то негодная девчонка, кажись, взяла бы да убила ее. Вот как она меня доняла.

— Да отдать ее кому-нибудь, шут с ней совсем; теперь Николка один посидит, не маленький.

— Отдать как? Жалко ведь, работница год от года. Маленькую держали, а теперь и того нужней.

— Да греха-то с ней что.

— Ну, теперь, може, поумнее будет, — поучила я ее, забудет, как жалиться.

— Хорошенько бы ее надо... вот погоди, я до нее доберусь, — сказал Аксен и принялся за обед.

V

Но Аксену добраться до Дашки не пришлось. Когда они вечером пришли домой из поля, то Дашка лежала без памяти и бредила. От нее пытало как от печки. Дыханье из груди вылетало с хрипом. Она то и дело металась по полу, где она лежала, и колотилась. Аксен перенес ее на лавку. Всю ночь Дашка почти не спала. Она бормотала бессвязные слова, просила пить и стонала. Утром, когда Маланья топила печку, Дашка спала. Спала она тоже беспокойно. Маланья и Аксен сурово глядели на нее, но ни слова между собой о ней не говорили.

К тому времени, как идти в поле, Дашка проснулась, но подняться с лавки не могла. Маланья взглянула на нее и спросила:

— Есть-то будешь, что ль?

Дашка pokrutila головой.

— Ну, не хошь, как хочешь, — сурово проговорила Маланья и, спрятав все, как вчера, пошла в поле. Николка тоже не захотел дома сидеть и побежал на улицу. Дашка осталась одна в избе.

Долго лежала она неподвижно, глядела в потолок и ничего не думала, только отгоняла рукой мух с лица. Потом спина у ней занемела, ей стало больно, и она перевернулась было на бок. Но тут она почувствовала, как все тельце ее ломило, в го-

лове шумело, а рубцы от вчерашней стежки как огнем зажгло. Трудно стало Дашке, и она громко застонала.

— О, батюшки мои, о-о! — причитала Дашка, и горькие слезы катились из глаз ее.

Боль в теле как поднялась, так и не унималась.

Дашке что дальше, то тяжелее было, она все громче и громче стонала...

Только к вечеру будто бы немножко полегче стало, перестала она стонать, начала думать:

«Господи! Нет у меня ни одной души родной... Да как же это жить-то так? Ведь это хуже собаки. Уж лучше бы умереть, коли так. Вот если бы, как у других, были бы отец с матерью, братья, сестры, или хотя одна мама была бы, нашлась бы, приехала из Москвы и взяла меня, ну тогда бы... А что вдруг правда бы моя мать нашлась, — мелькнуло в голове Дашки. — Приехала бы, взяла меня, — вот как бабушка Марья про Настьку Федосееву рассказывала: приехала, привезла ей гостинцев, одежину, платье, взяла в Москву и держит у себя, жалеет, говорят, грамоте учит. Вот бы и меня так, вот тогда хорошо бы было...»

И Дашка так замечталась, что и про болезнь забыла; хорошо и радостно ей было, счастливая улыбка играла у ней на устах.

Между тем тельце ее горело в жару. Но временам поднималась невыносимая боль в голове и в избитых членах, и вдруг все ее думы и мечты рассеивались как дым.

Вечером, когда Аксен с Маланьей пришли из поля, Дашке совсем было плохо.

Ее положили под образа.

— Пожалуй, не отмотает девка, — проговорил Аксен.

— Ну, не отмотает, так нечего делать, убытку немного, — молвила Маланья.

— Да вот, как ты говорила, — работница-то год от года.

— Ну, понадобится, так другую возьмем, этого добра много.

— Так-то так, — сказал Аксен и задумался. Подумав немного, он вздохнул и стал набивать трубку.

Ночью Дашка лежала смирно, только раза два принималась тихо стонать. Утром, со светом, она кончилась.

День, когда Дашку везти хоронить собрались, был праздничный. К Аксенову двору собралось много народа глядеть, как по-

везут покойницу. Аксен запряг молодую сытую лошадь в новую телегу, накла сена и покрыл его рогожкой; потом он пошел в избу и вскоре, вместе с одним мужиком, вынес оттуда новую домовинку с телом Дашки, которую они поставили в телегу. За гробом вышла из избы Маланья. Она была сердитая и ни на кого не глядела. Подойдя к телеге, она положила в нее узелок с хлебом и сказала Аксену:

— Ну, трогай.

Аксен взялся за вожжи, народ закрестился, и многие вслух проговорили:

— Ну, дай Бог ей Царство Небесное, Рай Пресветлый.

Лошадь тронулась. Маланья пошла за телегой пешком, с кувшином в руке, в котором была кутя на помин Дашки. Ребятишки и взрослые помоложе отправились за ней.

— Бабушка, а бабушка, — спрашивал одну старуху мальчик лет четырех, сидевший у ней на руках, — куда это ее повезли-то?

— На погост, — отвечала старуха.

— Как нашу Аксютку?

— Да.

— А что ж по нашей Аксютке-то плакали, а по ней-то нет?

— Наша-то родная была, а это шпитонок, что по ней плакать, благо бог прибрал.

— А что это шпитонок, бабушка?

— Ну, много будешь знать, скоро состаришься, — сказала старуха и пошла прочь от Аксенова двора. Прочие, стоявшие тут, тоже стали расходиться.



common place

издательская инициатива /
волонтерский DIY-проект

Наши книги всегда можно купить в независимых магазинах
«Фаланстер», «Смена», «Все свободны», «Бакен»,
«Факел», «Пиотровский», «Подписные издания»
а также заказать с доставкой на сайтах izd-siyanie.ru
vse-svobodny.com

Больше информации о проекте на сайте common.place

Серый мужик

**Народная жизнь в рассказах
забытых писателей XIX века**

Редакторы — Маргарита Спиричева, Платон Пахомов

Научные редакторы — Алексей Вдовин, Андрей Федотов

Обложка — Евгения Ставицкая

Подписано в печать 03.09.2016

Формат 84x108/32

Тираж 500 экз.

Заказ № 161

Издательская инициатива «common place»
commonplace1959@gmail.com

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
Тел.: +7 (495) 221-89-80